

Вадим Чекунов

ТИРАНЫ

СТРАХ

Автор идеи
Константин Рыков



ЭТНОГЕНЕЗ

Издательство «Этногенез»
Москва, 2013



«Аргументы и Факты»
Москва, 2013

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
ЧЗ7

*Книга издана при поддержке
деловой газеты ВЗГЛЯД, ДНИ.РУ, RUSSIA.RU*

Чекунов, В.

ЧЗ7 Тираны. Страх / Вадим Чекунов — М. : Издательство «Этногенез», 2013. — 384 с.

Описывая эпоху Ивана Грозного, вникая во все ужасы того времени, нельзя отделаться от негодования не столько от мысли что мог существовать Иван IV, сколько от того, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования.

Именно поэтому одни из самых ужасных злодеяний опричнины, изображены в книге с максимальной исторической достоверностью, ведь стоит вспомнить слова одного из бунинских персонажей, как нельзя лучше подходящих к событиям в книге: «В старину... все жутко было».

Суровая зима 1570 года. Опричное войско, во главе которого сам царь Иван Васильевич, выступает в поход на новгородскую землю. Царь, которого больше боятся и чтут, чем любят, уверен в готовящейся измене и полон решимости ее пресечь. Методы его яростны и жестоки. Пощады нет никому — ни случайным встречным, ни монастырям, ни деревням, ни крупным городам. Повсюду за войском в черных одеяниях лишь кровь на снегу да следы пожарниц.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
ЧЗ7

ISBN 978-5-906338-04-4

© Рыков К., 2013
© Чекунов В., 2013
© Издательство «Этногенез», 2013

ЭТНОГЕНЕЗ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАЗЛ

Такого еще не было. Знакомьтесь — это «Этногенез». С полным правом этот проект называется самым грандиозным в истории литературы! Каждая его книга — отдельная увлекательная история, каждая серия — новый поворот сюжета. Вас ждут затерянные миры и их секреты, захватывающие приключения, путешествия во времени и пространстве — в настоящее, прошлое, будущее. С каждой прочитанной историей у вас появляется возможность самим складывать, словно мозаику или пазл, удивительную вселенную «Этногенеза».

ЧТО ТАКОЕ «ЭТНОГЕНЕЗ»?

Почему, по убеждению Артура Кларка, магия и технология неотличимы?

Почему человек начал искать пути к достижению будущего, лишь обретя прошлое?

Какими путями осуществляется развитие человечества, какие средства используются?

Как удастся простому кочевнику покорить полмира, а никому неизвестному лейтенанту-артиллеристу стать императором и кумиром миллионов?

Нищий художник-неудачник вдруг открывает в себе дар убеждения необычайной силы и взмывает к вершинам власти. Но этот дар направлен во зло, и что сумеют противопоставить ему те, кого новый вершитель судеб обрекает на смерть?

Откуда приходят в наш мир воины, политики, ученые, художники, писатели, которым суждено не просто оставить след в истории, а изменить ее ход? Жестокие диктаторы, безудержные авантюристы, фанатичные террористы и гениальные философы — чем отличаются они от обычных людей?

Возможно ли разгадать тайну их «сверхспособностей» — феноменальную память, необычайную выносливость, выдающуюся силу, а порой и просто откровенно мистические свойства?

Известный историк-этнограф Лев Гумилев в поисках ответов на эти вопросы разработал

теорию пассионарности, основу которой составляет идея об избыточной биохимической энергетике тех, кому суждено перевернуть мир.

Литературный сериал «Этногенез» продолжает и развивает идеи выдающихся ученых А. Кларка и Л. Гумилева. «Этногенез» — это оригинальная версия эволюции человечества, и лучшие современные авторы-фантасты представляют на суд читателей свои романы-объяснения.

Все книги проекта связаны между собой. Собранные воедино, они раскрывают перед читателем захватывающую картину человеческой истории. Как зародилась разумная жизнь, как она развивалась и есть ли у нее шанс на выживание — об этом и рассказывает «Этногенез».

Почему проект «Этногенез» — это не просто интересные книги и качественная литература?

Мы любим нашу историю. На страницах книг по новому оживают такие выдающиеся люди как Чапаев, Иван Грозный и многие другие. Надеемся, что частица нашего интереса к мировой истории, благодаря ее живому изложению, передастся и вам.

Мы пишем о вечных ценностях, но современным языком. По отзывам наших читателей, книги проекта читаются ими на одном дыхании. Некоторые из них даже говорят о том, что наши книги вновь вернули им интерес

к чтению после долгого перерыва. Возможно читатели слишком добры к нам в оценке нашего труда, но нам приятно думать, что хоть отчасти это так.

И наконец, проект «Этногенез» — живой сериал: сюжеты и их герои рождаются практически на ваших глазах. Литературная мозаика складывается именно сейчас, когда вы читаете эти строки. Для авторов и создателей сериала очень важно мнение читателей — мы стараемся работать, чтобы вам было интересно.

Читайте, верьте, участвуйте!

Царство без грозы — конь без узды.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«ЦАРСКИЕ ПИРОГИ»

Зимний лес тих и угрюм. Едва рассвело, но солнца не видать. Сумрачная пелена сменила ночную мглу. Небо цепляет макушки елей, скатывается по их темным лапам, сливается с сизыми сугробами. Ни звука. В снежном безмолвии зреет и близится угроза — пока далекая, едва различимая, но неотвратимая, она истончает лесную тишину, наполняет тревогой.

Вот тяжело сорвалась с ветки ворона, с холодным шорохом посыпались комья снега. Суматошно треща, волной пронеслась над дорогой сорока. Рыхля сугроб, вскидывая задние лапы, рванул в чашу заяц. Разбежалось лесное зверье прочь от дороги. Лишь любопытная белка хвостатым огненным пятном метнулась на ель повыше, ухватилась за ствол, замерла, прислушиваясь.

Все ближе скрип полозьев да чуткое лошадиное фыркание. Едет длинный обоз по узкой лесной дороге, растянулся на несколько верст. Пар из

ноздрей, вороние гривы, попоны на крутых боках. Лица всадников пощипывает морозец. Мохнатые шапки, скуфейки, добротные сапоги. Дорогое шитье проглядывает из-под грубых черных кафтанов. Сабли, пики, топоры, колчаны и пищали.

День короткий. Путь — далек.

В голове обоза, в пошевнях, сутулится бледный человек. Кустистые брови насуплены, морщины сбегая от крупного, словно клюв хищной птицы, носа к редкой всколоченной бороде. Вокруг запавших глаз — коричневые пятна. Взгляд устремлен в спину возницы. Руки в собольих рукавицах сжимают богато украшенный посох. Темнеют в утреннем сумраке драгоценные камни, вьется тонкая костяная резьба вокруг них. Тяжелый набалдашник увенчан грубой фигуркой — то ли пса, то ли волка, не разобрать.

Рядом с пошевнями, иногда увязая лошаадьми в снегу, держатся два всадника, оба в черных одеяниях. Тот, что постарше, — рыжебород, широколиц, коренаст. Карие глаза его, с прожелтью, зыркают настороженно то на седока в санях, то по сторонам дороги, ощупывая каждый ствол у обочины.

Всадник помоложе — костью тонок, лицом весел, в лихо заломленной скуфейке, то и дело улыбается белозубо, озирается с любопытством.

— Гляди, Григорий Лукьяныч, — вдруг закричал молодой, тыча плеткой куда-то вверх. — Борода твоя по ветвям скачет! Улю-лю!

Стянув рукавицу, оглушительно свистнул в пальцы.

Белка, осыпая с еловых лап снег, задала стрекача.

Обозники, что были поблизости, захохотали. Лишь тот, кого называли Григорием Лукьянычем,

ощетинился бородой, впрямь похожей цветом на беличий мех, и вновь покосился на седока в санях.

Тот, казалось, ко всему окружавшему был равнодушен. По-прежнему смотрел неотрывно, почти не мигая, в спину возницы. Лишь по тому, как подрагивал в руках крепко сжатый посох, можно было угадать — нелегко на душе у седока. Тяжел груз, тяжелы думы, а не сбросишь, не отвернешься.

Рыжебородый Григорий Лукьяныч вдруг привстал на стременах, вглядываясь в изгиб дороги.

— Васька, зубоскал собачий, а ну вперед! — утробно крикнул он шутнику. — Кого волокут, глянь-ка!

Васька недоуменно уставился в утренний полумрак.

— Так нет же никого. Показалось, поди...

Но тут из-за стволов и впрямь возник дозор — пятеро молодых, из недавно набранных, во главе с Федькой Басмановым. За конем Басманова, прихваченный веревкой за руки, волочился по снегу человек в овчинном тулупе, без шапки, с разбитым лицом.

Васька, подивившись звериной чуткости напарника, подал коня вперед, подскакал к дозору. Слов было не разобрать, лишь пар от дыхания клочками слетал с губ всадников да беззвучно раскрывал кроваво-черный рот связанный пленник.

Сидящий в пошевнях человек вдруг глянул искоса на рыжебородого и приподнял правую руку.

Тот, как верный пес, привыкший угадывать лютые желание хозяина, встрепенулся.

— Сто-о-о-ой! — раскатилась вдоль дороги его зычная команда

Обоз замер. Стылая тишина воцарилась над лесом, нарушаемая лишь редким кашлем всадников да лошадиным всхрапом.

Рукавица седока в санях повелительно шевельнулась.

— Сюда его подавай! — с готовностью крикнул рыжий бородач. — К государю!

Васька соскочил с коня, выхватил из-под кафтана нож, склонился над схваченным. Перерезал веревку возле рук, оставив их связанными, ухватил за ворот тулупа и потащил, страшно скалясь, к царским саням. Пленный, подвывая, таращил глаза и дергал ногами. Дотащив несчастного до передка пошевней, Васька толкнул его вперед, наподдав ногой. Человек повалился ничком в снег, завозился беспомощно.

— Подсоби-ка ему, Малюта! — обронил царь.

Глаза государя ожили, наполнились веселым любопытством.

Григорий Лукьяныч, по прозвищу Малюта, соскочил с коня и в одно мгновение оказался возле пойманного. Придавил ему спину коленом и рывком приподнял голову за волосы.

Царь склонился чуть вбок и вперед, разглядывая лежащего.

Пленный, отплевываясь розовым снегом, увидел, кто перед ним, и дышать, казалось, перестал.

— Кто ж ты таков? — неожиданно тихо и ласково спросил царь. — И чем живешь, родимый?

Пленный лишь таращился молча.

Малюта сильно дернул несчастного:

— Не видишь, кто перед тобой?! Отвечай, собака, когда государь тебя спрашивает! Да без лишних хвостов, а как на духу!

Пленный, будто очнувшись, сипло выдавил:

— Илюшка я... Илюшка Брюханов... из Ершовки ведь... к брату Никитке в Сосновое ехал... Да чем мы живем, царь ты наш батюшка! Пеньку продаем да лыко... на тверской базар возим да в Медню посылаем... Раньше до самого Новгорода возили, так лошадей почти всех волки у нас подрали, куды теперь!

— А знал ты, Илюшка, о царском указе? — перебил его Малюта, вытягивая свободной рукой из ножен саблю. — Знал ты, что уж три дня как проезд по дороге не велен ни боярам, ни холопам, ни единой живой душе, окромя государя и войска его?

— Даже волки с медведями в послушники воли государевой идти побоялись, а этот, смотри-ка — знай себе, скачет куда-то! — подхватил Васька, покачивая головой. — Да от нас не уйдешь! От Малюты, было дело, половина бороды сбежала, по деревьям ускакала, но уж тебя-то мы ухватили!

Царь коротко рассмеялся, довольный остротой:

— Грязной Васька-то у нас среди братии — один из первых ловчих будет! Даром что чуть не псать...

Худородный Малюта довольно крикнул. От внимательного взгляда его не укрылось, что Васька, дворянин думный, на миг потемнел лицом от обиды. Однако Грязной быстро совладал с собой. Потешно приосанился и поддел носком сапога перепачканную кровью и снегом бороду пойманного.

— Шут ты, Васятка, — не удержался Малюта. — Шут, а не ловчий.

Подъехал недобро ухмыляющийся младший Басманов и двое верховых за ним.

Царь задумчиво гладил меховой рукавицей край пошевной.

Схваченного начала бить крупная дрожь. Он по-прежнему лежал на снегу, лишь голова была задрана Малютиной пятерней.

— С тверскими, с новгородскими, значит, торговлю водишь... Поди, живешь богато, кушаешь вкусно. А любишь ли ты, Брюханов Илюшка, пироги? — хитро прищурился царь, повозившись в санях и устроившись поудобнее.

Мужик растерянно скосил глаза на стоящих рядом опричников.

— Да как же не любить, государь. Кто ж не любит-то...

— А с чем любишь? — Лицо царя лучилось живым любопытством и озорством.

— Так с разным, государь... Только не до пирогов ведь теперь, голодно живем. Какое у нас богатство, помилуй!

Царь, посмеиваясь, откинулся в санях, махнул рукой:

— Ну, так и быть. Угостите-ка его, да нашими пирогами!

Малюта сунул голову пленного в снег. Васька Грязной подмигнул неведомо кому, взмахнул саблей и опустил ее на ноги несчастного. Не успела еще брызнуть из раны кровь, как обрушил свой клинок и Малюта.

Схваченный, первые мгновения не чувствуя боли, попытался приподняться, но не смог и вдруг закричал, истошно и пронзительно.

Засмеялись вострепнувшие обозники. Качнулись в стылом воздухе острия пик. Царь же вдруг помрачнел лицом и сложил руки на посохе, исподлобья наблюдая за расправой.

Басманов и верховые, соскочив с коней, уже теснились рядом с обрубленным почти по пояс

мужиком. Заметались мохнатые шапки, белыми полосками мелькнули над ними сабли.

— Руби ослушника, руби в пирожные мяса! Кроши, не жалей!

В несколько взмахов отсекали ему руки — по кисти, затем по локти, напоследок по самые плечи. Отлетела и голова, покатила было в сторону царских саней, но один из опричников ловко пнул ее назад, а другой тут же рассек пополам сабельным ударом.

— Что, Илюшка, хороши тебе наши пироги? — выдыхая пар, жарко выкрикнул Грязной. — И брата твоего угостим, как поймает, не бойсь!

Деловито кхекая, точно заправские молодцы из мясного ряда, опричники делали свое дело.

Летели в стороны горячие брызги, куски плоти, лоскуты одежды. Хлюпали и чавкали в темной жиже сапоги царских слуг, тонуло под ними белое крошево костей.

— Ну, будет! — вдруг обронил негромко царь. — Поозорничали, пора и в путь.

Малюта, первым услышавший царскую волю, распрямился, отер от кровавых брызг лицо и замер.

— Тпру! — хлопнул он по спине ближайшего из подручных. — По коням!

Поддев концом сабли длинный кусок мужичковой требухи, Васька ловко перерубил его на лету и вдавил в снег. Шагнул в сторону, набрал в горсть свежего, незапачканного, ухватил губами, пожевал. Остатком умылся, как водой. Его примеру последовали остальные.

Обоз тронулся дальше. Лошади нервно всхрапывали и косились на грязное месиво на снегу. Ко всему привычные опричники молча покачивались

в седлах. Лишь безусый возница Егорка Жигулин, проезжая на санях с провиантом в самом хвосте обоза, перекрестился и вздохнул, дернул вожжами, торопясь прочь от страшного пятна. Сколько их еще будет впереди, в какие озера и реки они сольются, каким морем затопят — об этом Егорка догадывался. Царский гнев велик и ненасытен, немало крови уйдет, чтоб унять его жар...

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОХОТА

Разогретые неожиданной потехой, Васька Грязной да Федька Басманов переглядывались, перемигивались, предвкушая новые скорые забавы. Дай только доехать, добраться до изменников! Малюта Скуратов держался в седле чинно, хмурил густые брови, зыряка из-под них на царя да на обочины.

Царь Иван сидел в санях, зябко кутаясь в шубу. Румянец возбуждения, разгладивший было его лицо, исчез. Снова потемнели тяжелые складки возле рта, а нос будто заострился пуще прежнего. Царь недовольно покосился на опричников.

«Ишь, псы... Загубят любую душу, а тяготу греховную нести не желают. Господи, укрепи! Знаю, что грешен. Кровь-то, на снег пролитую, всем видно. А кто бы разглядел, как мое сердце обливается...»

Тяжко. Нет рядом никого, кому можно довериться. Нет того, кто утешит — без лести и собачьей преданности.

Малюта всем хорош. Но кто он? Верный пес. Не более того.

А где все близкие?

Душат воспоминания. Давно не юнец он, но спасения от старой боли нет. Будто и не прошло многих лет. Словно не царь он всесильный, а нищий оборванец, изгнанник — навеки один.

Никого рядом нет.

Нет матери. Отравили.

Нет Ивана Овчины, сумевшего заменить отца.
Заковали в железо и уморили голодом.

Убили дьяка Федора Мишурина, друга князя Бельского, — отрубили голову.

Бельского тоже извели — за то, что на совесть опекал царевича.

Умерла Анастасия. Поднесли его кроткой жене чарку с ядом.

Умер брат Юрий, божья душа.

Митрополит Макарий, венчавший Ивана на царство и браки, тоже умер.

Умерли Сильвестр и Адашев — самые близкие люди юности.

Мертва и вторая жена, дикарка Мария.

Пусто вокруг.

Только боярская злоба и петля измен.

Предал царя лучший друг его, Андрей Курбский. Сбежал к заклятым врагам. Да не с пустыми руками — поднес польскому королю дар, грозящий земле русской невиданными бедами.

В новгородском гнезде снова вызрела измена — чудовищная, губительная...

«Господи... Вседержитель! Видишь ты всё... На что толкают меня! Чем душу мою погубить хотят!»

Холод и угрюмость зимней дороги тяготили Ивана. Он прикрыл глаза, уносясь воспоминаниями прочь, подальше от снега и слуг своих. Туда, в прошлое, где был он еще жив душой...

...Мелькнуло лицо Анастасии — понимающее, ласковое. Обрадовался было Иван, посветлел

лицом, но тотчас вздрогнул. Исчезла Настя, и возникла перед ним Мария. Взглянула черными глазами, как обожгла, усмехнулась.

Поднялись, словно из ниоткуда, стены путевого воробьевского дворца, тяжелая зима сменилась легкой золотистой осенью.

Сбежала Мария Темрюковна с крыльца, стремглав, будто и не царица вовсе:

— Велишь подавать коней, государь? Едем ли?

Смеется Иван, любит белую кожу лица ее да ладной фигурой в черкесском платье. Тонкая, порывистая. Черный кафтан украшен бордовым бархатом, серебряными застежками. Смоляные волосы скрыты легкой шалью. Не любят ее бояре, шепчутся тайком за спиной государя. Да есть кому донести в уши государевы речи их мерзкие. А скоро и спрос будет. Не довелось Ивану уберечь свою Настеньку, зельем супругу его извели... Ну уж до «Темрючихи», как промеж собой ее кличут, не доберутся. Скорее, она их сама загрызет. Зубки-то у царицы молодые, острые. Это мужа-государя она ими ласково покусывает, а врагам — спуску не даст... Мимолетным видением пронеслись перед царем жаркие сцены минувшей ночи — алые губы, не сдерживающие стоны, дикие темные глаза, разметанные смоляные волосы, сильные стройные ноги, крепко объявшие его, бесстыдный властный шепот, переходящий в сладкий крик, острые ногти впиваются в спину Ивана, белоснежные зубы хватают за плечо, кусают до крови, до восхитительной муки доводят... Царь тряхнул головой, гоня нарастающий морок похоти. Этак недолго и охоту отменить, заново с молодой женой в спальне до следующего утра затвориться.

— Едем, Машка, едем!

Мария ловко взлетает на коня. Горячит его, носится по двору, хохочет нервно, запрокидывая голову. К Ивану подводят вороного скакуна. Узда в золотых насечках, попона расшита жемчугом. Грива расчесана, шерстка выскоблена, мышцы играют, подрагивают нетерпеливо. Иван вдевает ногу в стремя, хватается за луку, весь порывистый, возбужденный. Вот царь в седле уже, усмехается в густые усы, веселит плетью коня, кружит вокруг своей супруги. На Иване зипун белого атласа, с обнизью камней драгоценных, бархатная чуга с канительной нашивкой, золотой кушак да горлатная шапка.

— Покажу тебе нашу охоту! — задорно кричит Иван.

— Ай, покажи, научи! — блестит глазами царица, радостная, взбудораженная — довелось вырваться из дворцовых палат, на простор и волю. С восхищением смотрит царь на дикарку-царицу, как она ловко управляет конем, как непохожа она на местных баб, какой упрямой волей светится ее точеное лицо.

Хлопочут вокруг сокольники, кричит их начальник, тащат клетки с птицей, проверяют опутенки, долгики. Готовят рожки да барабаны, ведут коней, собак. Шум, гам, суета, блики факельных огней, собачий лай, людской смех. Потеха готовится.

Воробьево покидали еще затемно. Ехали не торопясь, дышали ранней прохладцей, перешучивались. Иван, молодой и сильный, любовался Марией. Подъезжал вплотную, стремя к стремени, держался рядом, улыбаясь. Вдруг склонялся к нежной шее жены, щекотал бородкой, шептал озорные

слова. Царица опускала глаза, словно стыдилась, но неожиданно поворачивала лицо к Ивану и звонко хохотала.

Небо светлело на востоке. Бледнели и гасли звезды одна за другой. От летнего царского дворца дорога лежала вниз, в долину извилистой Сетунь, мимо мелких деревенок и чуть тронутых желтизной березовых рощ. Беленым холстом стелился над речкой туман. Разбегалась по небосклону прохладная синева, высветляла холмы да поля меж ними, сглаживала морщины оврагов. Дух захватывало от широты и бескрайности земли московской, от красоты ее. Царь то и дело поглядывал на жену. Та, распахнув нездешние, темно-горячие глаза, завороченно смотрела на раскинувшиеся перед ней просторы, цокала языком и вдыхала тонкими ноздрями воздух новой своей родины.

— Что, Машка, хороша земля-то у нас? — шурился в улыбке царь, покачиваясь в седле.

— Ай, хороша, государь! — откликнулась жена, ловко выговаривая русские слова. — Хороши горы наши, но такой красоты нет. Только тут найти можно!

Царь, поглаживая ус, довольно хмыкал:

— У вас-то на каждой горе свой князь сидит, стережет ее да на других напасть норовит. А у нас, сама видишь, — раздолье. В этом и сила наша. Раздольны русские, но едины.

Процессия, зная пристрастия царя, двигалась к пологому безлесому холму, что разлегся между Сетунью и узкой речушкой Филькой. Иван всадил каблуки в конские бока и пустил галопом, обгоняя головной отряд стрельцов из охраны. Мария, коротко взвизгнув, пригнулась к луке седла

и помчалась следом, стремясь зайти вперед. Легкая ее фигурка словно летела по воздуху.

— Врешь, Машка, не возьмешь! — заодно крикнул Иван, скаля зубы и охаживая плетью аргамака. — Куда тебе!

— Ача, ача! — позабыв от азарта русский, Мария на свой манер подбадривала скакуна.

Кони неслись во всю мощь. Стучали копыта, трепыхались конские гривы. Слезались глаза, ветер сек лицо и резал уши. Мелькала темная, пока не расцветенная солнцем трава. На вершину влетели вместе. Осадили взопревших коней и перевели дух.

— Москва! — восхищенно обронил царь, глядя на открывшийся с холма вид.

С высоты было видно, как поднималось над городом светлое и кроткое осеннее солнце. Первые лучи выкрасили края тонких облачков в серебряный цвет.

Еще не ясно различимые, далекие, выплывали из зыбкой дымки купола цервей. Там, впереди, нежился в рассветных лучах златоглавый Кремль. Соборы, башни, высокие стены с зубцами, дворцы. Рядом Китай-город с добротными бревенчатыми домами, в два житья каждый. Следом, широким полукольцом, тянулся Белый город. Повсюду сады, палисадники. Тут и там высились стены и кресты монастырей. Дремали пока Пушечный и Колымажные дворы, пустыньны были Пожар с Торгом. Но пройдет час, и закипит в них работа, начнется купля-продажа, оживут улицы и площади.

— Москва... — повторила вслед за мужем Мария.

Может, вспомнила, как прибыла она в стольный город впервые, вместе с отцом и братом — дикая и пугливая княжна с далеких кавказских гор. Вспомнил и царь, как широко распахивались

темно-карие глаза княжны на прогулках по городу. Как остолбенела она, разглядывая с кремлевской стены бурлящий Пожар, заставленный лошадьми, телегами, ларями, всевозможными шатрами, добротными или наскоро сооруженными прилавками. Всевозможный люд, принаряженный по случаю праздника, толкался и гудел на площади. Деловито и шустро мельтешили скоморохи, сбитенщики, блинники. Раздавался над всем Китай-городом колокольный перезвон. Клубился дым, стояла пыль столбом, вились всевозможные запахи. Неслись выкрики торговцев, свист, смех, лошадиное ржанье, пороссячий визг, птичий гам... А тканей сколько! Воздушные и белоснежные кружева, персидский алтабас, легкая тафта, узорчатая камка, рытый и золотный бархат...

— Отсюда, Машка, с горы этой, всякий приезжий городом полюбоваться может, да церквям поклониться, — пояснил Иван жене. — Потому и название у нее — Поклонная.

Мария фыркнула в кулак, крутанула коня.

— Разве это гора!

Вскрикнув на свой манер, диким коротким возгласом, погнала коня вниз, к ожидавшим у подножия охотникам и стрельцам.

Царь, покачав головой, ударил пятками аргамака и пустился следом.

Туман над Сетунью быстро редел. Повсюду алмазно вспыхивали капли росы.

Впереди, на крутом правом берегу реки Москвы лежало Крылецкое. Над домами и лесом возвышался новый храм Рождества Пресвятой Богородицы, возведенный по личному указанию Ивана. Стены из светлого дерева и легкие, точно летящие купола,

а над ними — резные кресты. Глядя на них, царь наложил на себя крестное знамение, и люди его вслед за ним радостно поклонились храму. Краем глаза Иван покосился на царицу и едва сдержал усмешку — бывшая полудикая горянка, хоть и принявшая православную веру, равнодушно покачивалась в седле. «Как была Кученейкой, так и осталась», — подумал Иван, отмечая, что вовсе не огорчается. Влекла его именно эта дикость, необузданность, своевольность супруги. Нравилось Ивану сцепиться с ней в еженощной полушуточной борьбе, переплестись руками, ногами, побороть яростные удары, толчки, укусы, подчинить бешеную бесстыдницу себе, прижать, поверженную, к супружескому ложу и насладиться сполна. А иной раз поддаться специально, упасть самому и лежать изумленно, поражаясь очередным выдумкам неистовой черкешенки...

В низине, насколько хватало взора, раскинулись во все стороны поля и луга. Указывая кнутовищем, Иван пояснял жене — вон там, чуть далее, засели в травах птахи. Не ведают своего часа, неминуемого. Глаза царицы жадно пытались высмотреть будущих жертв охотной потехи. Мария даже привстала в стремени, вглядываясь в синеющий перед ними луг с озерцами. Иван рассмеялся и велел кликнуть главу «статьи». Прибежал начальный сокольник Васька Быков, ладный малый в красном кафтане и желтых сафьяновых сапогах. Снял парчовую шапку. Выслушал царские слова, поклонился, кинулся исполнять.

Вот несут к ним клеть с пернатыми охотниками. Сидят на шестах, в кlobучках — дымчато-сизый кречет и темнокрылый сокол.

— Научи-ка, любезный Быков наш, мою супругу вашему ремеслу! — улыбнулся царь. — Да смотри, все секреты раскрой, не утай ничего от царицы!

— Слушаю тебя, государь-надежа! — склонился в поклоне глава соколиной статьи. — Все как есть расскажу!

Тайком, полным озорства взором царь окинул Марию. Та сидела на коне, подбоченясь, с лицом столь важным, надменным и торжественным, что Иван чуть было не расхохотался. Прятал улыбку в бороду и Васька Быков, надевая на руку царицы прочную кожаную рукавицу.

— Вот, смотри, государыня, красота какая! — Васька осторожно пересадил сокола к Марии. — Видишь, как тяжела, хоть и невелика с виду. Сила в ней огромная!

Мария восхищенно вглядывалась в хищные черты сидевшей на ее руке птицы. Сокольник и царь удивленно переглянулись, отметив, как уверенно горянка держала охотника. Сокол, по-прежнему в клубучке, крепко вцепился в толстую кожу. Мария не удержалась, цокнула языком от восхищения:

— Красавец какой!

Быков улыбнулся:

— Красавица!

Мария вопросительно изогнула брови, и сокольник пояснил:

— Женской породы она, таких мы и зовем «соколами» — лучшие добытчицы именно они. Видишь, крупная какая, сильная! А мужички у них помельче, их мы «чегликами» кличем. Впрочем, и они резвы, как до дела дойдет.

Мария прислушалась к легкому звону и приподняла руку, рассматривая птицу. Сокольник продолжил пояснения:

— Вот тут, матушка государыня, бубенчик на хвост присажен, чтобы разыскать легче было. А еще, видишь, на лапу суконные кольца надеты — это опутенки называются. А в них ремешок продет, другим концом, смотри, к перчатке твоей крепится. Должик это. Его мы перед тем, как клубочок с головы снять, отстегнем — когда напуск делать станем.

— Сними сейчас колпак этот! — приказала Мария.

Быков повиновался, аккуратно освободил сокола от бархатного, расшитого жемчугом клубочка. Увидев свет, птица повертела черной головой и приоткрыла загнутый клюв, уставившись злым темно-карим глазом на царицу.

— Хороша! — восхищенно произнесла Мария.

Иван с любопытством смотрел на двух хищниц, находя между ними много общего. Обе хороши! Сильны, красивы, своенравны. Таким угодить попробуй сумеи!

Быков, словно вторя мыслям царя, продолжил:

— Еще как хороша! Чай, не кошка или псина... Таковую не погладишь, не потетешкаешь, не прижмешь к себе. В этом ее прелесть вся. Не потому не поиграешь с ней, что ударить может, а по той причине, что ей тетешки эти не нужны. Гордая птица. Это собака человеку служить приучена, дичь загонит и ждет, для хозяина оставляет. С соколами иначе все. Тут приказами ничего не выйдет. Сокол добычу бьет для себя. А уж отдавать тебе — это как сумеешь договориться, тут все на равных. Упаси Бог силой или обманом забрать! Считаю, потерял птицу.

— Волка взять сможет? — раздувая ноздри и не отводя глаз от сокола, спросила Мария.

Быков усмехнулся:

— Нет, матушка, сокол для другой добычи. Утку бить сегодня ему.

— А этот? — кивнула Мария на вторую птицу, покрупнее, все еще сидевшую в клобуке и на клетки.

— Кречет-то? — пожал плечами Быков. — Лису возьмет, а волка не будет. Не его зверь, ему это ни к чему. На волка разве что беркута напустить можно. Так то уже не соколиная порода, это ведь орел! Когти у него подлиннее твоих пальцев будут.

Мария бегло взглянула на пальцы левой руки.

— Вот так беркут схватит волка, и восемь ножей тому под шкуру войдут! — раззадорился рассказом и сам сокольник, замахал руками, изображая то крылья, то лапы птицы. — У волка зубы тоже как кинжалы, и жилы крепкие, и шкура каленая, но боя промеж ними никакого не будет. Или сразу серому конец, или перехватит беркут его вот так... — сокольник крепко сжал свои пальцы, — с лютой силищей, что только ему и дана! И снова восемь ран сделает, глубоких и страшных! Но, врать не стану, не всякий беркут на волка пойдет. А сам по себе — так вообще никогда. Сначала обучить как следует надо, бить такого матерого зверя. Тут и хитрость нужна, и терпение.

Мария, столь же горделивая, сколь и любопытная, как все горцы, поборолась с собой и не выдержала.

— Как учить надо? Расскажи, обещал секреты! — потребовала она, возбужденно облизнув губы. Быков пожал плечами:

— Так секретов особых нет. Чучело из шкуры волчьей мастерим. А чтобы азарт в птице был, в глазницы чучела свежего мяса кладем...

— А откуда у тебя птицы эти? Сам ловил? — не унималась Мария. — Сокола ты поймал?

— Дашку я неподалеку отсюда, возле Кунцева взял. Приучал потом потихоньку. Тут главное, чтобы с рук еду взяла. Коль приняла, то можно и за учебу браться. Учишь ее подходить к тебе — сначала совсем вблизи, аршин или два. Потом десяток аршин одолеть надо. Потом еще длиннее подход делать учится. А чтобы привыкала к тебе, по несколько часов ее на руке носить надо. А первые дни так вообще без отдыха, не спишь, с руки не спускаешь. Вот уж самое, пожалуй, тяжелое и мучительное в нашем деле. Плечо отваливается, а терпи, носи. Зато характер закаляет, силу развивает — все от птицы берем.

— А если еду не возьмет? — спросила Мария.

Быков усмехнулся:

— Голод не тетка, обычно берет. Ну а если попадется такая, что ни в какую, — лучше не мучить, пустить восвояси.

Иван, краем уха слушая разговор жены и сокольника, оглядел окрестности. Широкий луг с озерцами, вдали — неровная гряда деревьев, начало соснового бора. Высокое небо в разбросанных по нему почти неподвижных облаках. Воздух напоен прохладой, светом и радостно-тревожными запахами осени.

— Ну, хватит разговоры вести! — нетерпеливо произнес царь. — Пора и веселью быть!

На руке его уже была надета расшитая золотом рукавица. Быков снял с клетки кречета и пересадил на руку Ивана.

Охота началась.

Оглушительно лая, кинулись в луговую траву собаки, поднимать из укрытий дичь. Далеко-далеко раздались птичьи крики, донеслось хлопанье крыльев. Взлетели и потянулись над лугом испуганные утки, уходя в сторону леса.

Сокольники, к тому времени уже разойдясь по лугу, принялись делать первые напуски — подбирали с руки птиц, и те стремительно уходили ввысь. Группа охотников расположилась у лесной кромки и выпустила соколов, отсекая уткам путь к спасению. Утки заметались, шарахнулись снова к воде. Освобожденный царский кречет шумно взмыл с рукавицы, в одно мгновение превратившись в крохотную точку. Подкинула своего сокола и Мария. Задрала голову, наблюдая, как набирает высоту крылатый охотник.

— Видишь, государыня, — снова подал голос Василий Быков. — Кречет «на хвосте» в высоту уходит, ровно что пуля из пищали, а твой сапсан «на кругах» поднимается. У каждой породы своя повадка.

— Все как у людей у них, да? — не отрывая взгляда от птицы, что с каждым кругом взбиралась все выше в небо, усмехнулась Мария.

— Все, да не все. Нет у них забот да грехов человеческих, — вздохнув, перекрестился Быков.

— Грехи грехам рознь! — рассмеялась царица.

Развеселился и царь:

— Видала, Машка, какие у меня сокольники? Чисто архиерей! С такими и духовник не нужен!

Подумав, царь добавил:

— Кстати, через неделю в Суздаль поедem, на богомолье в монастырь, грехи отмаливать. Будь готова.

Мария, оторвав взгляд от забравшегося уже в самую высь сокола, посмотрела на мужа и кивнула. При этом не удержалась и напоказ зевнула. И вновь запрокинула голову, выискивая в высокой синеве птицу.

«Дикарка, как есть дикарка!» — восхитился Иван, поглаживая рукоять плети. Уже не раз приходилось пускать ему в ход эту плеть в попытках обуздать буйный норов супруги. За то, что к малолетним царевичам Ивану и Феденьке неласкова и никудышная мачеха им. За то, что золотой крест-складень, подарок его на крещение, когда из Кученей стала Марией, носит без почитания, а будто одну из монет в своих украшениях. За многие дела провинные гуляла плеть Ивана по узкой спине, тонким рукам и ногам жены, да толку мало. Любит Машка боль, не боится ее. Во всех проявлениях любит — и принять, и другому причинить всегда рада. А не может когда — так хоть глазком на мучения взглянуть. Повадилась на казнях присутствовать — глазищами, что горящие угли, вливаться в казнимого, каждое движение его жадно ловить и страшно улыбаться при этом. Анастасия — та видеть-слышать не могла, на Иване висла, отговаривала его от очередной потехи медведной или псовой, от спуска в подвальную пытошную, куда тот любил заглянуть — «нутро человежье почуять». Да что там! Даже охотничьих забав разделять с Иваном не желала. Котенка приласкать, кенара вертлявого покормить, с щенком, псарями принесенным для нее, поиграть — тут Настенька резвилась, как дитя. Пару раз все же удалось Ивану вывезти ее на охоту, но и на ней забавы жена предпочитала детские. Мария же — другое дело. Она из

краев, где к оружию с младенчества приучаются. Отец ее, черкесский князь, дочку воспитывал наравне с сыном. Салтанкул в седло, и Кученей следом. Княжеский сын кинжалом колоть и резать учится, и дочь княжья в умении не отстает. Охоту Мария любит всем сердцем, мила эта забава ей. Премудрости охоты вторая жена Ивана постигала быстро и принимала без труда. Добычу жалеть нечего: преследуй, стреляй, поражай!

А кстати. А ну-ка.

— А ну-ка, оставь нас с царицей! — задумчиво обронил Иван.

Быков поклонился и поспешил удалиться, зашагал по влажной траве, сбивая росу желтыми сапогами.

Иван, вплотную подъехав к замершей в седле супруге, запрокинул голову, высматривая соколов. Кьяк-кьяк-кьяк-кьяк-кьяк — доносился с высоты возглас кречета, чертившего широкие круги. Некоторые птицы уже вовсю делали ставки — заходили на высоту, на мгновение словно замирали в воздухе и темной молнией неслись к земле, падая на добычу. Промахиваясь — так как в основном в дело вступил нетерпеливый молодняк, — снова устремлялись вверх.

— Во-он твоя Дашка, возле кромки лесной! — указал Иван жене.

Та фыркнула, скосив на него темный глаз:

— Откуда ж тебе знать, что это она? Далеко ведь!

— По полету вижу. Не спутаю Дашку ни с кем, — терпеливо пояснил Иван. — Видишь, по-над лесом не летает, держится открытого места? Соколу в лесу делать нечего. Ветви с листвой его полету мешают. А вот ястребы, тем деревья не помеха, они вертлявые.

Между тем в воздухе рисовалась чарующая картина. Соколы, каждый по-своему, в соответствии с породой и выучкой, ловко били уток. Их стремительные атаки завораживали. Утки, как могли, уворачивались, метались над лугом. Отчаянная гонка, неумолимое преследование, сложенные серпом крылья и смертельные удары, от которых летело во все стороны перо, — вот что наполнило утренний воздух...

— А хочешь... — Иван поколебался миг, но после решительно продолжил: — А хочешь, Машка, сама утку сшибить?

Мария пожала плечами.

— Сама так сама, почему нет. Но не здесь уже. Тут разлетелись высоко, далеко. Вели лук подать. Новое место найдем, могу сама.

Иван полез за пазуху.

— Нет, не стрелой. А сама, понимаешь? Сама!

Мария не понимала и не особо прислушивалась, завороченно глядя на соколиные атаки. Шея ее вытягивалась, лицо словно твердело в момент падения птиц на жертву, руки непроизвольно вздрагивали.

Царь извлек из одежды маленький мешочек, наподобие порохового кисета. Покачал за шнурок перед лицом царицы. Та, словно кошка, зыркнула и мгновенно схватила.

— Что там? — Одной рукой Марии было неудобно открыть мешочек — ведь на правой по-прежнему красовалась толстая кожаная перчатка сокольника.

— Посмотри! — рассмеялся царь.

Мария потрясла мешочек, пробуя вытряхнуть его содержимое на землю, но горловину надежно

перетягивал шнур. Тогда Мария сжала мешочек в кулаке, попыталась угадать на ощупь, что же там такое. На миг лицо ее изломилось гневом. Иван был уверен, что она швырнет мешочек ему обратно, но его жена была насколько гневлива, настолько и упряма. Помогая себе зубами, она умудрилась развязать шнурок и двумя пальцами выудить спрятанный внутри предмет.

— Что это? — Мария удивленно посмотрела на вспыхнувшую от утреннего солнца вещицу. Повертела ее в руке. — Холодная!

Иван кивнул:

— Сожми крепче, попробуй согреть.

Но своенравная жена, казалось, пропустила мимо ушей слова мужа. Она продолжала вертеть ловкими пальцами добытый из мешочка предмет и даже взвесила его на ладони. Смоляные брови ее сошлись к переносице. Мария о чем-то напряженно размышляла.

— Такой же, как у отца! — наконец сказала она.

Иван весело хлопнул себя по ноге, залился смехом:

— Ну, Машка, ты вспомнила! Был у князя черкасского похожий, верно. Да только ведь привез он его мне вместе с тобой! Или забыла про свое приданое?

Еще пуще развеселился Иван, вспомнив, как не легко давался горскому князю Темрюку чуждый обычай — не получать за дочь, а отдавать вместе с ней часть нажитого. Да еще какую! Размером невеликую, но ценности такой, что и подумать страшно. Однако князь понимал — как ни ценна вещица его, ни хранить, ни использовать ее долго не сможет. Слишком мало сил у него, слишком могущественные враги у него. Попросил князь для

себя и всей своей земли русское подданство. Породнился с царем и принял его защиту, не выдвигая никаких условий.

Три тысячи детей боярских отбыли по приказу царя вместе с Темрюком в его горный край. А следом еще несколько тысяч воинов прислал Иван. Принялись за постройку крепостей на новых рубежах государства.

— Не забыла! — сердито огрызнулась царица. — Я не старуха какая, из ума выжившая! Когда отец тот подарок тебе готовил, говорил: есть у русского царя подобное. Теперь вижу сама — есть.

Мария положила вещицу на ладонь и поднесла к самым глазам. Казалось, осеннее солнце оживило предмет — он словно вспыхнул холодным свечением.

— Это не серебро, — уверенно сказала Мария. — Уж я точно знаю. Что это?

Иван пожал плечами.

— Медведь, — просто ответил он. — Или не видишь сама?

— Твой талисман? Отец рассказывал — урусы как медведи: неуклюжие с виду, ленивые в душе, и никогда не знаешь, что ожидать от них, — тщательно выговаривая слова, Мария с вызовом глядела на мужа.

— Нет, я Медведю этому не молюсь, — продолжал веселиться Иван. — Царские обереги обычные — крест да икона, как у всех православных. А эта вещица другой породы. Покойный митрополит Макарий иначе как «бесовскими зверюшками» и не звал подобное. А иерей Сильвестр в них благодать видел. Только, все говорил он, не каждому та благодать передается.

— Мне передаться сможет? — алчно спросила Мария, зажав фигурку Медведя в кулаке.

Иван, подражая жене, восхищенно цокнул языком:

— Ай, молодец! Не упустишь ни своего, ни чужого!

Мария зло и обиженно насупилась, но кулак не разжала. Неожиданно конь ее заржал, встал на дыбы. Опустился, твердо стукнув копытами, закрутился на месте, скаля зубы, и вдруг кинулся грудью на вороного аргамака царя. Иван едва успел отвести своего коня от удара. Отскакал, развернулся, сменяя улыбку на удивление. Конь Марии стоял неподвижно, лишь подрагивал ушами, и сама царица замерла в седле, отрешенно глядя куда-то вдаль. Иван подъехал вплотную, наклонился, заглянул жене в глаза. Испуганно перевел взгляд на ее руку.

— Машка, дура! — загремел его голос. — Где Медведь?!

Поодаль озадаченно топтался Быков, не решаясь приблизиться. Крик царя насчет Медведя сбил сокольника с толку, он непонимающе оглядывался.

Мария очнулась и посмотрела на свою пустую руку:

— Не знаю... Выронила...

Иван соскочил с коня, кинулся в траву.

Сокольник не выдержал, подбежал, упал на колени рядом:

— Случилось что, государь?

Царь, лихорадочно шаря в траве, дернул щекой. Глаза его безумно таращились, лицо побледнело.

— Ищи, Васька, ищи! Не сыщешь — на кол сядешь! Так и знай!

Быков и спрашивать не решился, что же искать нужно. Распластавшись, запустил пальцы в еще мокрую от росы траву, принялся ощупывать прохладную землю.

— Да как ты его уронила-то? — задрал бороду Иван, глядя на притихшую Марию. — Куриная лапа твоя! Удержать не смогла?!

Та виновато пробормотала:

— Испугалась. Душа ушла из меня. Конь украл ее! Голова кругом пошла... Я в коня чуть не превратилась! Тут вот обронила.

Иван снова взялся за поиски.

— Не конь виноват. Медведь так тебя... — проворчал царь, и в тот же миг его пальцы наткнулись на холодный металл. — Ми-и-ишенька мой... — Иван подцепил фигурку, положил на ладонь и бережно укрыл другой, словно пойманную бабочку. — От отца ведь память.

Царь, не вставая с колен, прижал руки к груди и уставился в небо, не обращая внимания на мельтешащих в высоте птиц.

— Господи, спасибо тебе! — зашептал Иван. — Знак это твой, Господи! Не бесовские они зверюшки, коль не позволил Ты утерять!

Внезапно Иван осознал, что стоит, сложив руки, словно католик на молитве. Смутившись, поднялся и глянул на лежащего неподалеку сокольника.

— Чего разлегся-то? — гаркнул Иван.

Быков, ни жив ни мертв, молча поджал ноги и втянул голову в плечи.

— Эка черепаха, — невольно хмыкнул Иван.

Мария, от чьего зоркого взгляда не укрылось, что гроза миновала, расхохоталась. Сбросила

в траву тяжелую рукавицу. Стегнула коня по морде плетью в отместку за пережитые волнения и галопом помчалась по лугу.

Иван, подходя к своему аргамаку, оглянулся на замершего в траве сокольника.

— Ты жив ли, Быков?

Всхлипывая, Быков пополз к ногам царя, по мокрой траве.

— Не губи, государь! Всем сердцем, тебе преданным, молю! Не губи...

Дрожащими пальцами сокольник тянулся к носкам царских сапог.

— Да вставай уже, — вздохнул Иван. — Собирай людей. Поедем в Кунцево.

Васька Быков вскочил и опрометью бросился исполнять царское повеление.

Загудели сигнальные рожки.

Иван вскочил в седло и тронул коня вперед, догоняя Марию. Фигурку он сунул в кишень на поясе — мешочек, видимо, царица тоже обронила, да и пес с ним.

Сокольники спешно созывали птиц, собирали в ягдташи добычу.

Заливисто лая, сбегались со всех сторон к свистящим псарям их питомцы. Выстраивалась стрелецкая охрана.

— Все в сборе?

Пересекли молодую дубовую рощицу, прошли бродом мелкий быстрый ручей. Далее ехали вдоль заросших орешником оврагов.

Мария правила конем насупившись, всем видом показывая, что желает побыть одна. Иван, покачиваясь в седле, усмехался и поглаживал рукоять плетки.

На подъезде к селу, когда уже показалась над желтеющим березняком колокольня церкви Покова, Иван примирительно сказал:

— Хватит дуться, Машка. Велика ль беда — муж дурой назвал?! Тебя не ругать, а пороть нужно...

Мария повернула к нему делано-надменное лицо. Пожала плечами:

— Так выпори, если сумеешь.

— Разве не умел раньше? Или сомневаешься теперь? Повод есть?

Так, чтобы видел лишь один Иван, Мария показала на рукоять своего ножа, что висел на поясе.

Иван кивнул:

— Вот за нож хвататься умеешь, сомнений нет. Черкесская кровь! Ты бы все, что муж дает, так крепко держала!

Глаза Марии вспыхнули.

— Что положено — удержу. Я жена хорошая!

Иван громко, до слез в уголках глаз, рассмеялся.

— Дикарка, охальница! — шутливо замахнулся он на жену. — За это и люблю тебя!

Мария едва заметно изобразила ему пальчиками такой знак, что царь пуще прежнего зашелся раскатистым смехом. Отсмеявшись, указал на появившуюся из-за деревьев церковь:

— Чудные вещи на русской земле бывают. Вон видишь из белого камня стоит какая красавица? А прежде, еще до деда моего, говорят, была тут другая церквушка. Так в одну ночь ушла под землю, с крестом вместе. Будто и не было ее. Колдовское место, не иначе. Новую церковь-то поставили, а место все равно проклятым называют. Вокруг полным-полно чертовых пальцев рассыпано, острых камешков таких. От зубов и головной боли

ими местные лечатся. Такой уж народ у нас — и на Бога, и на черта надеется.

— И эта тоже провалится? — с любопытством спросила Мария, разглядывая церковь.

Иван нахмурился:

— Эта — стоять будет! Вера наша крепнет из века в век, и сила государственная растет. Крепнет Русь. Врагу не взять, чертям не одолеть. Врага побьем, чертей, если надо будет, на службу возьмем.

Мария хмыкнула:

— Главное, муж-государь, вам, русским, самим себя не перегрызть.

Царь кивнул:

— Хоть и баба, а мыслишь верно. Для того я и царь, чтобы держать в узде. Чтобы не учинили бояре над страной грабеж да разбой, не разбежались под крылья жадных до нашей земли стервятников — а таких со всех сторон хватает. И с запада, и с юга, и с востока — отовсюду клюнуть норовят, урвать.

— Врагов у тебя много снаружи. А в своем доме еще больше. Бояре твои не только меня костерят. Спят и видят, как бы с тобой справиться. Тебе не сторожей вот этих... — Мария презрительно кивнула на ехавших неподалеку стрельцов, — а настоящих верных кунаков надо. Как у моего отца охрану сделать, из лично проверенных. Лично преданных. Чтобы неусыпно с тобой рядом были. Любое твое слово исполняли.

Иван с интересом посмотрел на жену.

— Занятные вещи говоришь. Вернемся во дворец — расскажешь, как у вас заведено. И братца своего, Михаила Темрюковича любезного, позови, скажи — разговор имеется. Хватит ему от безделья

маяться, по улицам шататься да к людям московским цепляться. Послушаю и его.

Лицо Марии зарумянилось.

— На то я и жена твоя. Помогать, чем могу. Но и ты мне, государь, расскажи кое-что.

— Что же знать хочешь? — спросил Иван, догадываясь и без ответа.

Мария потрепала гриву своего коня.

— Хороший конь. На таком царице не стыдно сидеть. Очень хороший. Но всего лишь конь.

— К чему клонишь?

Мария, начиная сердиться, крепко сжала поводья, пальцы ее побелели.

— Не мог он душу украсть. А ведь украл. Превратил меня в себя. Точно приросла к нему. Будто в голове у него оказалась. Видела, слышала — все по-другому, не как обычно. Дышала по-другому. Ног не чуяла своих, зато копытами в землю бить смогла.

— Чуть меня не сшибла, — спокойно согласился Иван. — Только конь тут ни при чем. Не он меня ударить хотел — а ты. Конь лишь послушался. Не узде повиновался, не плети, не ударам пяток твоих — а помыслам. Хотела налететь на меня, строптивца дикая? Было так?!

Ошарашенная Мария не нашла с ответом.

Ехали молча, приближаясь к раскинувшемуся среди неглубоких оврагов лугу, за которым виднелась полоска воды, вся в камышовых метелках.

— Молчи, молчи, — Иван глянул вперед. — Вот и лужок подходящий. До обеда как раз уложимся с потехой, да потом домой. Что, Машка, побьем уток еще? Сама сумеешь?

Мария кивнула:

— Вели лук подать. Побью!

Царь покачал головой и сунул руку в поясной кишень.

— Дам тебе вещицу получше. Смотри, в этот раз не урони!

Мария испуганно шарахнулась в седле, натянув поводья — конь ее тоже дернулся.

— Не бойся ты так, — успокоил Иван. — Держи этого Медведя крепко.

Любопытство пересилило нерешительность Марии, она протянула руку к лежащей на ладони мужа фигурке.

— С конем у тебя случайно так вышло. Сейчас вообще про коня забудь, не думай. Фигурка — непростая. Ты и сама поняла уже, верно?

Мария кивнула.

— Медведь позволяет в душу зверя заглянуть. Да не просто так, а повиновать его себе можешь. Все, что прикажешь, исполнит зверь. Любой, какого выберешь.

— Как на Торге медвежатники, что ли?

Царь рассмеялся:

— Не царское это дело, на площади плясать да косолапого просить показать, как баба блины печет. Там наука другая, больше схожа с той, про какую Быков тебе рассказывал. А фигурка вот эта — она сразу подчинит, любого зверя.

— Почему такая холодная? — спросила Мария, сжимая кулак. — Что за серебряный лед?

Иван пожал плечами:

— Об этом не думай. А думай, какого зверя выберешь и как будешь понукать им.

Вновь пустились по лугу охотничьи псы, возбужденным лаем поднимая из травы уток.

Сокольники снимали птиц с клетей, пересаживали на перчатки. Соколов освобождали от клубочков, отстегивали, подкидывали в воздух.

— Ай, руку колет! — тряхнула кулаком Мария.

— Словно мураши побежали, да? — ободряюще кивнул ей Иван и хохотнул. — Держи крепко, чтобы не разбежались!

Мария, испуганно закусив губу, уставилась на свой стиснутый кулак.

К царской чете торжественно шагал Быков с птицей на руке, за ним спешили два рядовых сокольника, несли рукавицы и клеть.

— Государь, желает ли царица и на этом лугу удачи попытать? В Крылецком-то Дашка отличилась среди всех и здесь готова потрудиться на славу!

Быков, чуть было не ставший жертвой царского гнева, непредсказуемого и непонятного ему, от пережитого был еще возбужден. Глаза его блестели, голос подрагивал, но лицо сокольника сияло радостью служения. На левую руку государыни Быков снова надел рукавицу, водрузил сокола и отошел, кланяясь.

Мария вопросительно взглянула на мужа.

Царь, хоть и был готов, невольно вздрогнул. На миг показалось, что вместо его жены сидит на коне другая. В той же одежде, с той же тонкой фигурой, но с иным лицом. Из-под черных бровей вперился в Ивана диковинный взгляд разноцветных глаз. Хотя и доводилось Ивану видеть такое прежде, но то сплошь люди русские, их глаза изначально были голубыми или зелеными, и создавалось впечатление, что поменялся лишь цвет одного глаза, а другой ярче только стал, словно с раскрашенного стекла пыль смахнули. Такими и Настины очи

были, когда ей доводилось забавляться с фигуркой Медведя, — яркими, как трава и небо погожим утром. Мария же, горская азиатка, дикарка с иссиня-черной гривой волос и угольными глазами, преобразилась разительно. Исчезла из ее взгляда ночная бездна, пропал темный омут, скрылась бездонная колодезная чернота — все то, что Ивана пугало и манило одновременно. Теперь холодно светилась под густыми бровями пара чужих глаз — как два осколка витражного стекла, зеленый и голубой.

Оправившись от удивления, царь кивнул.

Крепко прижимая Медведя к ладони тремя пальцами — Ивану была видна серебристая голова фигурки, — Мария, хищно улыбаясь, свободными указательным и большим сняла с птицы клобучок. Сокол резко повернул голову из стороны в сторону, огляделся и выжидательно присел на рукавице, напружинив мощные лапы. Мария отстегнула петельку должика и с силой, будто кидая тяжелый камень, подбросила птицу. Уже в воздухе, над головой царицы, сокол раскрыл аспидные крылья, хлопнул ими, взмывая выше, и принялся делать круг над лугом. Мария неотрывно следила за ним, все ее тело напряглось, лицо будто окаменело. Глаза широко распахнулись, губы, наоборот, сжались и побелели.

Иван знал, что ощущает сейчас Мария.

Что видит она, тоже знал.

Сокол повиновался безупречно. Мария парила над лугом, с невероятной высоты разглядывая открывшийся ей вид. Необычный, будто подсмотренный через особый стеклянный шар, в котором все слегка закруглилось. Желтоватые поля, зеленые луга, темные морщины оврагов, пестрые

перелески — все было одновременно и далеко, и очень близко. Тускло сверкали ручьи и озерца. Непостижимым образом Мария могла разглядеть каждую рыбешку в воде. Обнаружив крошечную фигурку Ивана — и свою собственную, рядом, — Мария полюбовалась с высоты, попутно отметив, что виден каждый стежок на их одежде, каждая жемчужина на конских пополах была перед Марией как на ладони. Пораженная такой остротой птичьих глаз, она приказала соколу взмыть еще выше. Но и оттуда ей открывалось дрожание каждого листа на дереве, каждое шевеление травы. Заметен был даже ход солнца по небу. Мария, задыхаясь от остроты ощущений, приказывала соколу выполнять вираж за виражом — то небо, то земля оказывались перед глазами. Мария чувствовала словно сжатую внутри нее самой силу.

— Смотри Машка, разлетится вся дичь! — неожиданно раздался голос Ивана возле самого уха.

Мария вздрогнула и обнаружила себя вновь рядом с мужем, на коне, посреди луга.

Чуть поодаль она увидела и Быкова, обеспокоенно смотревшего в небо. Сокольник был явно озадачен неожиданным поведением подопечной птицы.

— Засмотрелась? — понимающе прищурился Иван. — Не зевай! Сокол — птица серьезная!

Мария лишь фыркнула в ответ. Найдя взглядом сокола — тот, освободившись от непонятного ему контроля, уже проделал одну ставку, но неуспешно — лишь скользнув ударил крупного селезня и снова делал круг, набирая высоту, — Мария вновь подчинила его себе.

Иван, тронув коня, объехал вокруг замершей в седле Марии, внимательно рассматривая ее.

Остановился напротив, заглянул в лицо, в яркие разноцветные глаза, устремленные мимо него в небесную высоту. Царь вспомнил, что так же замирала и смотрела ввысь, словно вознося молитву, кроткая Анастасия. А там, в синеве, кувырчался под самым солнцем веселый жаворонок. И с высоты его полета любовалась Анастасия широкими полями, сверкающим узором реки, кудрявыми рощами на раскинутых повсюду пологих холмах, маковками церквей, едва видных... А бывало, посреди лесной дороги, завидев среди ветей ловкую белку, упрашивала Ивана остановиться. Звонко смеясь, зажимала в ладони серебристую фигурку, заставляя белку скакать по ветвям, выплясывать затейливо. Не боясь, белка подбегала к коню Ивана, запрыгивала, цеплялась за попону, карабкалась выше и выше, пока не усаживалась на плечо царя, смешно распушив хвост.

Никогда и ни в чем Мария не походила на прежнюю жену Ивана. И в охотничьей потехе выбрала она себе под стать хищного ловчего. Выражение ее лица тоже было далеко от молитвенного или озорного — лишь жестокий азарт проступал в чертах.

Прямо над головой Ивана, едва не сбив с него шапку, стремглав пролетел селезень — вытянув шею, он отчаянно мельтешил крыльями, стараясь держаться ближе земли. Судя по всему, опытная птица хорошо знала соколиные повадки и слабости. У самой тверди соколу нападать опасно, промах грозит гибелью.

Сокольники напряженно следили за полетом утки и ее преследователя.

Царь не успел разглядеть, что за сокол решился на удар, — так быстро все произошло. Миг —

и колыхнулось облачко перьев, полетело безглавое утиное тело вниз.

— Сильно вдарил! — возбужденно и с облегчением выкрикнул Быков. — Снес башку!

Дашка — теперь было видно, что это она, — не выпуская из когтей обрубок утиной шеи, на конце которой болталась раскрывшая широкий клюв голова, плавно опустилась на поднятую Марией перчатку.

Царица тяжело дышала, лицо ее порозовело, лоб покрылся мелкими каплями. Счастливо-безумным взглядом — Иван вдруг отметил, что такой же у нее бывает в спальней, когда она кричит, словно дикая кошка, — посмотрела на царя. Ликуя, Мария держала перед собой птицу, наблюдая, как та клюет добычу.

Помимо воли Иван вспомнил слова черкасского князя Темрюка, когда тот привез в Москву свою дочь. «Смотрите, как бы она ему шею не свернула!» — усмехнулся тогда невестин отец.

Отдышавшись и передав подбежавшему Быкову сокола, Мария подъехала к мужу поближе. Иван протянул руку.

— Не отдам! — решительно мотнула головой Мария. — Мой будет!

Не успел онемевший от такой дерзости царь протянуть руку к плети, как его конь дико всхрапнул, поднялся и заплясал на дыбах — Иван едва успел вцепиться в гриву, — опустился и тут же взметнул круп, явно норовя скинуть наездника под копыта.

— Стой, убьешь! — вскрикнул Иван Марии. — Перестань, дура!

Краем глаза он заметил, как бегут к ним со всех сторон слуги, завидя неладное.

— Стой, сучье отродье! — едва держась на коне, закричал царь.

Мария, хохоча, не унималась — царский аргамак свирепел с каждым мигом. Все тряслось и вертелось перед взором Ивана. Пальцы царя ослабили хватку, грива выскользнула из них. Вскрикнув, Иван полетел с седла.

Удар был весьма ощутимым — царь приложился всей спиной, так что небо померкло и будто колокол зазвенел в голове. Хорошо, что густая трава смягчила падение.

Мария соскочила с седла, подбежала, опережая царских людей, и склонилась над неподвижно лежавшим мужем:

— Не зашибся, муж мой, государь? Жив ли?

Найдя в себе силы, Иван сипло выдавил:

— Ты что же творишь...

Поцеловав его в лоб, Мария прошептала в ухо:

— Ты мне еще и про другие предметы все расскажешь. С отцовского Волка начнешь.

Иван выругался беззвучным шепотом и прикрыл глаза.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«ГОЙДА!»

Обоз остановился.

Царь открыл глаза, поежился. Лес, сугробы, рваный войлок облаков да позднее зимнее солнце пустяшной монеткой прилепилось к небу.

Внизу, под холмом, у замерзшей реки, среди снегов и деревьев притаилась деревня. Зарылась поукромнее, как блоха в исподнее.

— Сосновка, как есть, — указал кнутом Малюта. — Там, где у Брюхана брательник-торгаш живет. Вон тот двор, как пить дать, его и будет, большой самый. Наторговал с крамольниками-то... Что прикажешь, государь?

Царь молча вглядывался в темные срубы. Над заснеженными кровлями плыл белесый слоистый дымок. Деревенские собаки, почуяв чужаков, подняли лай. Две бабы у длинной полыньи поставили на лед ведра и приложили ладони ко лбам.

Конь Малюты беспокойно переступил, мотнул головой и прынул ушами. Малюта уже понял, в чем причина. Осторожно глянул в сторону саней, чтобы убедиться в догадке.

Так и есть.

Правую рукавицу государь скинул и положил ладонь на вершину посоха. Лицо его побледнело. Словно в тяжелом раздумье царь поглаживал

набалдашник с хищно блестящей фигуркой Волка — теперь она была четко видна. Губы Ивана сжались. Застывший взор был направлен в сторону деревеньки. Брови тяжело сошлись над переносицей, космато нависли над глазами, пряча их. Но Малюта знал — они сейчас стали точно изумруд и сапфир с царского посоха. Буйной зеленой яростью и стылой смертной синевой сквозил взор великого государя. Горе тем, на кого он падет.

Собаки неожиданно сбились с голоса. Лай притих, перешел в скулеж. Завыла одна, следом вторая... Мелькнули испуганные бородатые лица на крыльце зажиточного дома. Бабы, позабыв о ведрах, торопливо взбирались по обледенелому откосу берега.

Царское войско замерло в ожидании.

— Дюжину послать, остальные тут подождут, — сквозь стиснутые зубы произнес наконец царь.

Больше не проронил ни слова. Лишь крепче сжал свой посох.

Но и этого было достаточно.

С полуслова понимать, чего желает государь, — обязанность слуг.

— Гойда! — молодым голосом крикнул Васька Грязной.

— Гойда! — густым ревом ответила братия.

В пляске взвихренного снега помчались по склону холма черные всадники, гикая и свистя.

Малюта по охранному долгу остался при царе.

Подъехали ближе к саням и оба Басмановых. Отец, Алексей Данилович, с непроницаемо хмурым лицом, поросшим бородой медового цвета, вглядывался вслед небольшому отряду и поглаживал рукоять сабли. Старший Басманов был крепок

статью, несмотря на годы. Сидел на коне сутуловато, но весьма надежной посадкой — опытный старый воин. Сын его, Федор, хоть и унаследовал ладное сложение, зато выделялся в государевом войске голым лицом, капризным ртом и вздорным поведением. Под стать ему и конь — вертлявый жеребец-четыrehлетка со злыми лиловыми глазами. Царь Иван в Федоре с недавних пор души не чаял, приблизил и обласкал своей милостью. Все остальные предпочитали держаться от такого любимчика царя подальше. Пугал опричников взгляд этого человека — липкий, наглый и опасный.

Кривя в улыбке рот, младший Басманов вертелся в седле, бросал взгляд то на отца, то на занесенные снегом крыши деревеньки.

— Будь здесь, — коротко и сухо, будто ветку надломил, приказал ему Алексей Данилович.

Федор шумно вздохнул и обиженно закатил глаза.

Малюта неодобрительно покосился на обоих. Так и норовят влезть промеж ним и государем, встрять повсюду, выказать верное служение. Алешка-то еще ладно, воевода все-таки заслуженный. А сын его... Того и гляди в царской спальне свои порядки заведет.

Старший Басманов, на правах приближенного, почтительно склонился с коня к царю.

— Справятся ли, государь?

Иван не удостоил его ответом. Бледный, с крепко сжатыми губами, царь застыл в санях угрюмой темной глыбой. Лишь рука подрагивала на вершине посоха.

Малюта едва заметно усмехнулся. «А не лезь, не суйся понапрасну. Царю виднее, какие приказы отдавать».

Басманов распрямился и цепко глянул в сторону соперника.

Но Малюте уже было не до того. Замерев в седле, он жадно вглядывался в происходящее внизу.

Всадники подлетели к ближайшему двору. С хриплым лаем выскочили из-под ворот собаки, замесались, преодолевая страх. Пытаясь ухватить конские ноги, подскакивали вплотную, но тут же отбегали, приседали на лапы и скалили клыки. Тут же одну из псин поднял на пикку ближайший всадник, перекинул обратно за изгородь. Других вмиг потоптали конями и покололи. Грязной, по-татарски свесившись с седла, изловчился и рубанул лохматого черного пса, снес ему кудлатую башку. Через миг спрыгнул с коня, подхватил со снега собачью голову, хохоча, повернул оскаленную ее морду к запертым воротам и, кривляясь, пролаял:

— Гав, гав, гав! Дай поесть, хозяйushко!

Ворота уже ломали, били топорами, не дожидаясь. Щепились добротные доски. Мелькало темное железо, звенело, вонзалось, рушило преграды.

— Гойда! — зычный крик дюжего бородача Субботы Осорьина сквозь треск и шум.

Ворвались во двор, пробежали мимо приколотого пса, заскочили на добротное крыльцо и вышибли одним махом двери. Сквозь длинные сенцы — внутрь, в широкую избу. Там, под божницей у стола, замерли, перекошенные страхом, хозяин с женой и тройкой ребятишек. Младшего, сосунка еще, баба прижимала к себе, двое постарше прятались за нее. Хозяин, коренастый мужик в серой холщовой рубахе, завидя опричников, обомлел и упал им в ноги, заголосил неожиданно высоким голосом:

— Родимчики мои! Не погубите только! Нет у нас ни умысла злого, ни какого другого преступления...

— Ты Никитка Брюхан будешь, Илюшкин брательник? — перебил его Грязной, подойдя ближе. Псиную голову он поставил на чистый пустой стол, мертвыми глазами оборотил на хозяев. Сам же взглянул на иконы в божнице, снял с головы скуфейку, перекрестился.

Хозяин, краем глаза заметив это, осмелел, подполз к Васькиным сапогам.

— Я буду это, голубчики хорошие... Да разве вина на мне есть какая... Мы люди торговые да честные! Гостям любим рады, а уж царским-то людям...

Договорить Никитка не успел.

По знаку Грязного подскочили сподручные, Федко и Петруша. Пнули несколько раз по лицу и бокам, подхватили под руки, потащили к двери. Хозяйка лишь успела коротко вскрикнуть, перед тем как приколот ее ножом Василий. Осела на пол, все еще сжимая в руках запеленатого ребенка. Старшие дети, держась за ее рубаху, громко заплакали. Кричал и младенец.

— Омелька, подь сюды! — крикнул Грязной.

К нему, тяжело ступая, подошел огромный, медведеобразный Омелян Иванов.

— Отделай приплод, без остатка! — приказал Грязной, прихватил со стола собачью голову и направился к выходу.

Тем временем над деревней, еще недавно дремавшей в зимней тишине, летели крики, стоны, плач. Несколько домов уже подожгли. Разгорался, трещал и клубился вдоль улицы пожар.

Со всех дворов согнали мужичков да стариков. От слуг царевых никто не скроется, всех сыщут. Выставили в снег на колени, в два ряда, чтобы было возможно пройти между рядами двум пешим. Баб же с детишками и старухами сгрудили на берегу, неподалеку от темной полыни. Плыли над замерзшей белой рекой пар от воды и бабий вой вперемешку с детским плачем.

Опричники, затылками чуя государев взгляд сверху, из обоза, времени не теряли.

Первым решили отделать Никитку Брюханова, как главного виновника.

— Ты, стало быть, родня послушника, нарушителя указа государева? — склонился над брошенным возле остального мужичья Никиткой высокий, ладный фигурой опричник Тимофей Багаев.

Никитка, задыхаясь, глотал морозный воздух:

— Голубчики, голубчики мои родные... Ежли что натворил Илюшка, так он обещался приехать... Ни сном я, ни духом ведь... Вот он уже скоро будет... С него и спрос держите...

Крепкое лицо Тимофея было бесстрастно:

— И тебе будет. Скидывай с него одежду!

Сильные руки сорвали с Никитки рубаху, портки.

Плача и трясясь всем телом, мужик попытался ухватиться за сапоги Тимофея, но тот без раздумий махнул саблей и отступил, чтобы не запачкаться.

Пронзительно крича, Никитка принялся перекатываться в снегу, тыча вверх обрубленную по запястье руку. Белыми осколками торчала в разрубе кость, заливалась кровью. От раны шел пар.

— Уд срамной ему отсеки! — со смешком подали совет обступившие место казни сотоварищи Тимофея. — Ишь как верещит, точно заяц!

Стоявшее на коленях мужичье в ужасе склонилось, чтобы не видеть.

— Плетей ему лучше всыпать! — подал голос Егорка Жигулин.

Опричники оживились:

— А и верно малец говорит! Дать по полной ему! Шелепугами его отходим, за милую душу!

Множество рук потянулись к заткнутым за пояс плетям и нагайкам.

Никитка, не переставая кричать, пытался отползти. Цеплялся целой рукой за снег и помогал себе локтем искалеченной. За ним следом тянулась алая полоса.

Вжикнули в воздухе сыромятные ремни, разодрали кожу Никитки, и он замер, осекся, задохнулся криком. Захрипел, поджав ноги. По работе опричников было видно — дело им знакомое, привычное. Чтобы не мешать друг другу, с двух сторон лупили нещадно несколько раз и отступали, освобождая место другим.

Грязной, помахивая в воздухе собачьей головой, как поп кадилом, кричал:

— Гойда-а-а!

Когда спина Никитки стал похожа на месиво из давленной вишни — он затих. Опричники, шумно дыша, остановились.

— Руби ему башку! А то эти заждались! — кивнул Грязной на ряды мужичья.

Над Никиткой снова склонился Тимофей Багаев, огляделся деловито.

— Омельянушка, ну-ка, поди подай вон то бревнушко! — нарочито ласково обратился он к замершему рядом великану. — Вон тот столбик от ворот принеси-ка нам.

Омелька развернулся всем телом, чтобы глянуть, куда указывал Тимофей. Урча что-то в бороду, прокосолопил к разбитым воротам Никиткиного дома и ухватился за обтесанное дерево. Растопырил ноги — каждая толщиной поболее столба.

— Не сдюжит, — предположил Грязной, поглаживая шерсть на собачьей голове. — Земля от мороза как камень.

Тимофей прищурился:

— Омелян и не такое выворачивал.

Высоченная подпора, обхваченная огромными лапищами опричника, покачнулась. Омелян покраснел от натуги, дернул сильнее. Зарычал по-звериному, потянул на себя и выворотил столб вместе с кучей мерзлой земли. Обернулся, довольный, скаля крупные зубы и сверкая глазами. Кровля ворот, оставшись без опоры, покосилась, затрещала и рухнула, гулко стукнув Омельку по темечку. От удара от кровли отлетели полицы, сломались пополам. Омелян удивленно замер. Потрогал невредимую голову и обронил свое излюбленное:

— Ишь ты...

Опричники загоготали, будто позабыв, для чего они ворвались в деревню.

— Ну, буде! — прикрикнул Грязной. — Дел полно!

Омелька подхватил выдранный столб и поднес его, сбросил возле Тимофея.

— Благодарствую, Омелюшка! — шутливо склонил голову Тимофей, затем подцепил забитого до беспамятства Никитку за волосы и подтянул к бревну. Примостил поудобнее голову, вытащил топорик и деловито оттюкал голову от туловища.

Васька Грязной тут же подскочил, схватил ее свободной рукой, потряс перед собачьей башкой в другой руке:

— Узнаете ли друг дружку?

Остекленевшие глаза глядели друг в друга.

Дурачась, будто выбирая товар, Васька покачал в руках, точно на весах взвешивая, обе головы. Рассмеявшись, выбрал песью, а ненужную — Никитки — швырнул за спину, угодив в склоненную спину одного из мужичков.

— Ну что, Федко, — окликнул Суббота Осорьин товарища, скинув короткий тулуп и поигрывая топориком. — Поиграем чутка? Чья-то возьмет на этот раз?

Федко Воейков, кривоногий рябой детина, усмехнулся черной пастью, сплюнул в снег.

— Да где уж тебе угнаться за мной... Проиграешься ведь опять.

— Ну это еще мы глянем! — хищно оскалился Суббота, перекидывая из руки в руку оружие.

Опричники столпились вокруг, оживленно переговариваясь:

— На сей раз Воейка не сдюжит!

— Да куда там Субботе, проворности нет у него!

— Замах-то у обоих резок...

— Вострота против силы!

— Тут другое, тут точность важна!

Петруша Юрьев, худой малый с птичьим лицом, озадаченно глянул на мужичье, объятые заячьим трепетом. Похватали их, кто в чем был — кто в исподнем, кто в сермяге, пара стариков и вовсе без порток оказалась.

— Надо, чтобы поровну. — Петруша, шевеля бескровными тонкими губами, пересчитывал

склоненные мужичьи головы. — Их тут два десятка и семь в придачу.

Суббота согласно кивнул:

— Так дели на каждого, по дюжине. А лишних вон туда давай.

Сильной рукой указал на гомонящих у берега баб.

Пару трясущихся от страха стариков и одного плешивого мужичка опричники сволокли вниз, бросили к ногам заголосивших еще громче баб. Трое, с пиками, остались стеречь, остальные поспешили назад.

Полыхало больше половины дворов, треск и жар стояли по всей деревушке.

Смертным надрывом ревела в горящих клетях скотина.

Федко Воейков уже надел на руку петлю, ухватил крепкий ремень потверже. Покрутил в воздухе тяжелым билом. Глянул на Субботу.

— Ну?

Суббота подошел к крайнему в ряду мужику. Поднял топор над его всклокоченной головой. Желтыми сполохами отражалось в отточенном лезвии пожарище.

Суббота встретился взглядом с Федко и выкрикнул:

— Гойда!

В тот же миг топор мелькнул в воздухе и раскроил голову приговоренного. Не успело повалиться в затоптанный снег тело, как брызнул кровяной сноп из головы еще одного мужика — хватил его кистенем Федко и тут же взмахнул снова, и еще один повалился, а следом другой, уже от удара Субботы.

— Гойда, гойда! — по-разбойничьи заревели глотки, и в реве этом потонули вскрики обреченных.

Топор Субботы, словно коршун, падал на несчастные головы, страшный темный клюв вонзался во лбы и затылки. Проворный кистень Федко не отставал — взлетал, мельтешил, крушил кости. Брызгами, комками летели во все стороны кровь и мозги. Падали тела, дергались, сучили предсмертно ногами. Молодой парнишка, поставленный в ряд к Субботе, не выдержал, закричал. Вскочил с колен и рванул прочь, но угодил в руки зрителей-опричников. Со смехом вытолкнули его обратно, аккуратно под удар. Суббота с хрустом вогнал парню топор под ключичную кость, пнул в живот ногой, высвобождая оружие. Не тратя времени, метнулся к следующей жертве. Паренек, бледнея, осел, ткнулся лицом в грязный снег.

Смертным вихрем пронеслись над несчастными. Разгоряченные, замерли возле последних упавших. От одежды Субботы валил пар, шапка сбилась на затылок, волосы прилипли ко лбу. Рябое лицо Федка покраснело, глаза азартно блестели.

Опричники одобрительно загомонили:

- Ничья не взяла! Оба молодцами!
- Отделали на этот раз вровень!
- Кабы молодой не стреканул, то быть Субботе в победителях!

Кистень покачивался в опущенной руке Федка, с железного яблока-била падали в снег тягучие капли. Весь кафтан и сапоги Федка были перепачканы мозговым крошевом.

Обтерев топор об одежду одного из зарубленных, Суббота широко улыбнулся, поднял оружие, потряс им над головой:

- Ну, стало быть, в другой раз! Уж тогда точно!
- Федко ухмыльнулся:
- Мели, Емеля...

Егорка Жигулин уже подрос, подогнал впряженную в розвальни бурую лошадку-мезенку. Смахнул рукавицей с одежды Воейкова и Осорьина ошметки. Покачал головой, разглядывая предстоящую работу.

— Подсобим мальцу, — подмигнул окружающим Суббота, поправляя шапку. — Васька, Тимоха, Петруша — давай! Федко, бери Кирилку и Богдана, ступайте отделайте остальных скоренько.

Федко и его подручные сбежали, оскальзываясь, к низу берега. Федко крикнул охранникам с пиками:

— Сажай в воду всех скопом!

Толпа баб и детей завывала в голос, заволновалась на льду. Плешивый мужичок, которого приволокли недавно, пополз на четвереньках прочь. Один из стражей подбежал, ткнул его пикой в бок, пихнул к краю полыньи. Выдернул пикку, задрал окровавленное острие, подбежал к раненому и ногой толкнул в воду. Тяжелый всплеск был едва слышен за воем и плачем. Кирилко с Богданом времени не теряли, толкали баб в спины и бока, били по лицам кулаками, рукоятями сабель. Им на помощь поспешили стражники — перехватив пики, теснили, как овец в загон. Упала в полынью, вслед за мужичком, одна баба. Вторая, третья...

Вдруг из объятий ужасом толпы метнулись в сторону три невысокие фигурки. Опрометью кинулись к другому заснеженному берегу.

— Куды?! — страшно выкрикнул Богдан.

Размахивая саблей, опричник бросился следом, но поскользнулся, упал, носом зарылся в снег.

— Стой, чертово отродье! — отплеываясь, завопил он и оглянулся на Кирилку. — Что застыл?! Уйдут ведь!

Кирилка встрепенулся.

Рассекая воздух, вслед беглецам полетел топор, но, не задев никого, ушел в снежный нанос посреди реки.

— Пес криворукий! — выругался на товарища Богдан.

Троица ребятишек отчаянно мчалась через замерзшую реку.

Рябой Федко, до этого стоявший безмолвно, расшвирипел:

— Стрелой бейте, остолопы!

Кое-как поднявшись, Богдан схватился за сафьяновый сайдак.

— Юрка-а-а! — раздался вдруг звонкий крик из толпы. — Беги, сыночка-а-а!

Один из опричников, долговязый Третьяк Баушов, оскалился и ткнул пикой наугад в толпу.

— Ванюша-а, Ванечка-а мой! — раздался другой возлас.

— Ма-ашка! — подхватила еще одна баба. — Бегите, деточки-и-и!

Богдан, тряся запорошенной снегом бородой, уже достал лук. Вложил стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Выругался, цапнул еще одну стрелу, прицелился тщательней.

Дети почти добежали до торчащих из снега голых веток прибрежных кустов, как одного из них клюнула пущенная стрела, ударила в плечо, повалила.

— Ва-а-анька-а-а! — зашлась в крике мать подстреленного мальчика.

Дети замешкались возле упавшего, попробовали подхватить и вытащить со льда. Новая стрела пролетела так близко от лица одного из них — девочки лет десяти, — что бабы, обреченно наблюдавшие,

охнули и закричали. Дети оставили раненого и выкарабкались на берег. Проваливаясь в снег почти по грудь, скрылись за ветвями.

— Ловить, что ль? — озадаченно глянул на Бога-на Третьяк.

Снова выругавшись, длинно и грязно, Богдан махнул рукой:

— Сами подохнут, на морозце-то...

Ища поддержки, Богдан повернулся к Федко. Тот после некоторого раздумья согласился:

— Или от голода. Один черт им конец будет. Давай живет толкай этих!

Федко повел рукой в сторону деревенских.

Опричники налегли древками пик на толпу.

С новой силой раздались крики, плач, тяжелые всплески.

Полетели в воду и два старика, избежавшие участи пасть от топора да кистеня. Столкнули целую ватагу малолетних детей. Студеная вода схватывала обручем, тяжелила одежду, скрадывала вдохи, волокла течением под лед. То и дело показывались руки, сжимающие младенцев. Выныривали из черноты бледные перекошенные лица, хватали воздух. Кто сразу под воду не уходил или пытался цепляться за острое крошево края полыньи — получал удар тупым концом пики в голову, в крике захлебывался и тонул.

Вскоре вода перестала бурлить. Немного подергалась мелкими пузырьками, колыхнулась льдинками, успокоилась. На льду остались оброненные платки, рукавицы, чей-то маленький валенок и кровавые разводы.

Богдан задумчиво посмотрел на полынью, потом перевел взгляд на свою промокшую от брызг одежду.

— В следующий раз по уму надо, — сдвинув шапку на лоб, принялся он ворчать. — Мальцов вязать к бабам, а которые без детей, тех по несколько штук связывать. Так и сподручнее, и быстрее.

Кирилка Иванов сбегал за упущенным топором. Вернулся, часто дыша, сбил рукавицей шапку Богдана, хохотнул:

— Быть тебе головой!

Федко, покусывая ус, наблюдал, как сподручные поддевают пиками оставшуюся на льду одежду и топят ее в полынье.

— Живо, живо! — прикрикнул он для порядка. — Все наверх, дел полно!

Чертыхаясь, Богдан поднял с мокрого льда шапку, отряхнул о колено, натянул на башку и поспешил за товарищами.

Наверху споро шла работа.

Тимоха с Петрушей таскали порубленных мужичков в раздобытые Жигулиным сани, складывали как дрова. Им помогал Омелян, на лице которого играла непонятная улыбка. Толстые губы Омеляна тянулись, подрагивали, а глаза блуждали, как у деревенского дурня. Быть бы ему посмешищем среди опричной компании или в роли медведя у скоморохов, да каждый знал, каков Омелян в кулачном бою и что он может сотворить с человеком.

Омелян таскал в каждой лапище по труп и легко закидывал их на кучу. Лошадка подрагивала, махала хвостом и выворачивала голову, будто выискивая среди своей поклажи бывшего хозяина.

— Утащит всех-то? — с сомнением взглянул на лошадку и на растущую гору в санях Грязной, держа у груди, как баба ребенка, собачью голову.

— Так вниз же! — удивился возница. — Известное дело!

Грязной удовлетворенно кивнул. Обернулся к братии:

— По коням!

Закинули на сани последнего мужичка. Жигулин подошел к впряженной лошадке, потрепал бурую холку.

— Ты уж не серчай...

Вытянул засапожник и полоснул лошадиную морду, норовя по выпуклым влажным глазам. Животное всхрапнуло, дернулось. Егорка чуть отступил и уколол ножом в бок. Обезумевшая лошадь рванула, натянув постромки. Сани тронулись под уклон, толкнули всей тяжестью. Жалобно крича и взбрыкивая, лошадь слепо понеслась вниз со своим страшным грузом. Немного не рассчитал Жигулин. Вынесло сани не в полынью, а чуть обочь, но, к радости опричников, накренило, перевернуло, ухнули сани набок возле самой полыньи и с треском продавили истончившийся лед. Мелькнули в ледяных брызгах конские ноги, куски оглоблей, вскинулись мертвые головы. Исчезло все в потревоженной вновь воде.

Братия покидала деревню, спешила к дороге, к восседавшему в санях государю и ожидавшему войску.

Черной ватагой пронеслись вдоль пылающих домов, без оглядки. Взметая снег, выскочили на дорогу.

Государь отпустил набалдашник посоха, спрятал озябшую руку в рукавицу. Сполохи пожара отражались в фигурке Волка и глазах самодержца, принявших свой обычный цвет — тяжелого зимнего неба.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БУНТ

Царский обоз двинулся дальше.

Позади клубилась черным дымом Сосновка. Чернели кровавые пятна на снегу, чернели обугленные деревяшки и печи, чернела полынья на реке. Болталась у седла Грязного черная собачья голова, скалила желтые клыки, смотрела стылым мертвым взглядом — не выбросил ее Васька, привязал к луке, ехал да поглаживал, потешая войско.

Только одному государю не весело. Когтили душу боль и сомнения, трясла тело знакомая лихорадка. Отведя глаза от пожарища, от густых черных косм дыма, что вплетались в морозные сумерки, Иван отложил подальше от себя диковинный посох с Волком на вершине и опустил голову. Вслушивался в себя, всматривался в душу, сквозь черноту злобы пытаясь угледеть знак — что на верном пути он. Не было ответа ни в душе, ни в заснеженном мире. Лишь пожар за спиной.

Пожар! Сколько их было и будет еще!

Иван не выдержал, обернулся из саней. Черные фигуры ратников его войска, а за их спинами — дым и пламя. Как тогда, далеким и жарким летом, когда было государю всего-то семнадцать лет...

...Так яростно Москва не пылала еще никогда. Вихри огня носились по городу, обращая все

в головни и пепел. Некстати разыгравшаяся буря подхватывала языки пламени, раздувала и без того нестерпимый жар, с ревом ветра соединялся рев бушующего пожара. Людские крики переходили в животный вой, мало кому удавалось найти спасение.

Тучи жирного густого дыма закрыли собой все вокруг. О спасении имущества никто и не помышлял. Люди носились по улицам, обезумевшие от жара, страшные, черноликие, с обгорелыми волосами, в дымящейся одежде. Некоторые вспыхивали, валились на землю, истошно кричали и затихали, превращаясь в головешки. Другие, задыхаясь, тащили родных, но выпускали их и сами падали рядом. Горели Тверская, Мясницкая, Покровка, полыхал Арбат. Исчез в пекле Китай-город, рухнул всеми постройками — деревья не стало, а камень крошился, не выдерживая огненной стихии. Сгорели все лавки с товарами, все дворы. Занялся верх Успенского собора. Начали взрываться пороховые склады в Кремле, земля сотрясалась, дыбились и комьями взлетала в раскаленный воздух. Не стало царских палат, исчезло в огненной пляске казначейство... Гулко упал большой колокол Успенского собора, отовсюду потекла расплавленная медь. Обвалились своды Оружейной палаты. Побежали резвые языки огня по кровлям обоих кремлевских монастырей — Чудова и Вознесенского, повалил из узких окошек дым, мелькнули руки чернецов, хватавшие прутья решеток, но вскоре там загудело дикое пламя, прервало крики и зывания к Божьей милости. Из дверей Успенского собора, надсадно кашляя, показались митрополит и протопоп. Макарий прижимал к груди образ Богородицы, пригибался, словно пытаясь

телом защитить икону от роя жгучих искр, наполнявшего клубы дыма. Протопоп, едва не теряя сознание, спешил за ним следом, спасая книги, что успел ухватить. На середине площади митрополит вдруг споткнулся, рухнул и выпустил из рук икону. От удара о землю святыня подпрыгнула, и от нее, как показалось спешащему на помощь протопопу, откололась пара кусочков — блестящих и причудливой формы, в виде зверушек. Но митрополит, собрав последние силы, подполз к ним, накрыл широкими рукавами, дотянулся до иконы, завозился в пыли и пепле. Вскоре он поднялся и поспешил вместе с протопопом прочь от огня.

Укрывшись в тот день в воробьевском дворце, на крутом берегу Москвы-реки, Иван с ужасом взирал на огромное зарево. Не было дня тогда над Москвой — скрылось небо под тучами, черная сажа легла повсюду. Не было и ночи — так было светло от пожара. Лишь к утру, пожрав все, что мог, огонь утих.

Адашев Алешка, постельничий, уже разведал для государя новости. Народу сгорело много сот, не одна тысяча даже. Москвы нет, казны нет, продовольственных и оружейных складов тоже нет. Одно пепелище на много верст во все стороны.

— Что митрополит Макарий, жив ли?

— Жив, но слаб. Спускали его с городской стены на веревке. Оборвалась веревка, сильно расшибся митрополит. Свезли в Новоспасскую обитель.

Иван размышлял недолго.

— К нему поеду. Благословение возьму, чтоб Кремль с Москвой из пепла поднять, отстроить заново.

Адашев приоткрыл дверь из покоев и передал приказ царя — готовить коней.

С собой Иван взял лишь немногих — Адашева, воеводу князя Воротынского и его отряд, да нескольких бояр из тех, кому доверял.

Мчались во весь опор вдоль Москвы-реки, глядя на задымленный противоположный берег. Едкий дым застилал все вокруг, саднил горло, выворачивал грудь. Едва пробивалось солнце, окрестные деревья выступали из серой пелены, словно гигантские тени погибших погорельцев, тянули руки-ветви, покачивали макушками-головами.

По наплавному мосту перебрались через реку. Рысью поскакали к Крутицкому холму. Вскоре уже перед ними забелели монастырские стены, выплыла из дымной завесы круглая толстая башня.

Воротынский соскочил с коня, подбежал к воротам. Их уже отворяли монахи — государя тут ожидали с утра. Воевода подналег на тяжелую створу, поторапливая чернецов.

— Живей, живей!

Оставив свиту и коней на монастырском дворе, Иван поспешил за сухощавым игуменом по узким лестницам и низким переходам в келью, куда принесли ночью занемогшего митрополита.

Игумен остановился возле двери, отворил ее и отступил, пропуская царя.

Иван шагнул в келью, рассчитывая увидеть Макария и кого-нибудь из монахов-лекарей, да пару послушников на подхвате, и замер, удивленный.

Вместо лекарей возле ложа Макария царь обнаружил своего духовника — благовещенского протопопа Федора Бармина, а за его спиной бояр Федора Скопина-Шуйского и Ивана Челяднина. Склонились гости митрополита, расступились.

Иван подошел к ложу. Макарий был в сознании, хотя и бледен до крайности.

— Государь... — прошелестел митрополит бескровными губами. — Беда, государь!..

— Знаю, — угрюмо ответил Иван. — Затем и прибыл. Благослови на отстройку заново.

— Благословение получишь, государь. Но быть беде за бедой, покуда не изведешь причину. Иль не видишь, как часто Москва гореть стала?

— Что за причина?! — крикнул царь, позабыв, что стоит возле ложа больного старика.

Митрополит прерывисто вздохнул. Слабо повернул голову к стоявшему сбоку протопопу.

Царский духовник оглянулся на бояр. Те насупились и угрюмо выставили бороды. Через миг заговорили все трое, перебывая друг друга:

— Не случайно Москва сгорела-то!

— Чародейством и злоумыслием пожар сделан был!

— Свидетелей множество...

— А колдовство было самое что ни на есть богомерзкое!

— Человечину разрезали, вынимали сердца из тел...

— Вымачивали сердца в околдованной воде...

— А потом, с бесовскими заговорами, окропляли этой водой углы домов да стены городские...

— Оттого и пожар случился!

— Точно в тех местах загорелось, где колдунов видели — кого в человеческом облике, а кого и птицей!

Оторопев, царь перекрестился, шагнул ближе к ложу Макария. Взял его слабую руку, сжал.

— Правду ли говорят? — спросил Иван, пытаясь заглянуть в глаза старика. — Чей умысел?

Митрополит тяжело дышал, на бледном лбу проступили капли пота. Глаза он утомленно прикрыл.

— Государь, народ неспокоен... — едва слышно прошептал Макарий. — Глинские виной пожару.

— Анна с сыновьями ворожила! — поддакнули бояре. — Свидетелей тому много!

Протопоп Бармин вздохнул и принялся креститься:

— Тяжкий грех! Столько душ безвинных в огне погибель нашло!

Скопин-Шуйский, сокрушенно качая головой, напоказ рассуждал вслух:

— Как бы не вышло чего... Народ в отчаянье великом. Многим уже и терять нечего, кроме жизней. Да и жизнями такими дорожить не станут...

Иван выпустил руку митрополита. Молча шагнул к двери и уже от нее обернулся. Лицо его искалось гневом.

— Народ, говорите? С каких же это пор вы о народе беспокоиться стали? С колдовством я разберусь. Москву отстрою. Ваше дело — не вступать! Глинских трогать не смей!

Хлопнув дверью, царь оставил собравшихся в тягостном молчании.

Первым нарушил его князь Скопин-Шуйский.

— Ну, смотри, государь, — задумчиво произнес он, по обыкновению, будто размышляя вслух. — Как бы ты не запоздал с разбирательством.

— Господи, спаси! — испуганно перекрестился Бармин. — Господи, помоги!

Бросив взгляд на холеную руку протопопа, боярин Иван Челяднин усмехнулся:

— Ты проси Господа, а мы обратимся за земной помощью. В народ пойдем!

Макарий закашлялся на своем ложе. Приподнял руку, призывая.

— Царя не трогайте, — умоляюще взглянул митрополит на бояр и протопопа. — Юнец совсем еще государь. У Глинских ищите. Не мог Василий утаить от них, где свои вещицы хранит...

Макарий снова принялся кашлять и хрипеть. Собравшиеся терпеливо ждали.

— У Ивана если и есть какая зверюшка, то безделица, — отдышавшись, продолжил митрополит. — У Глинских же должно быть немало вещей поважнее. А Ивана пощадите, не губите!

Троица поклонилась митрополиту и покинула келью.

Прощаясь с подельниками, князь Скопин-Шуйский, не изменяя своей привычке, сказал будто самому себе:

— Ну, это уж как выйдет...

Разговоров этих, случившихся, когда Иван уже покинул келью занемогшего митрополита, царь слышать не мог. Но через несколько дней догадался, что неспроста собирались бояре.

...Анастасия в одной рубашке сидела с ногами на постели, обхватив колени. Она с тревогой вслушивалась в долетавший до покоев гул, в то время как Иван шагал из угла в угол, иногда замирая на месте и тоже прислушиваясь.

Гул — недобрый, опасный — креп, нарастал и приближался. Царю донесли с самого утра еще — в Москве взбунтовался черный люд. Натворив бед

и злодеяний на пожарище, толпа вооружилась чем смогла и двинулась в Воробьево. Прознали, где царь и родня его, Глинские.

И вот разъяренная чернь уже у ворот путевого дворца. Здесь удалось укрыться от огня, но удастся ли защититься от толпы. Вся надежда на стрельцов да на Бога.

Иван взглянул на жену. Задержался взором на почти детском, испуганном и бледном лице. Приметил часто бьющуюся голубую жилку на тонкой шее. Глянул на хрупкие руки и крепко сжатые пальцы... Сердце его проваливалось от страха — не за себя, а за не успевшую ни пожить, ни родить наследника юную царицу. И его, Ивана, в том вина, случись что. Он выбрал ее, вопреки боярскому недовольству, вовлек в страшную и тяжелую дворцовую жизнь.

Анастасия вскочила, подбежала, босая, к Ивану. Схватила за плечи и заглянула в глаза.

— Молиться! Иванушка, нужно молиться! Господь убережет!

Обернулась к тускло сиявшему иконостасу, истоиво перекрестилась. Снова ухватила за Ивана:

— Страшно мне...

Иван приобнял жену, подбодряя:

— Не бойся. Я слуга Божий. Не оставит Господь верного слугу своего.

В дверь постучали.

Стук неожиданно напугал и царя, и царицу. Анастасия уткнулась головой в плечо мужа, точно пытаясь спрятаться, переждать. Иван растерянно глядел жену по русым волосам, кусая губы и бросая взгляды на дверь.

Снова раздался стук, дольше и настойчивее.

Иван осторожно отнял от себя руки жены, отстранил ее, усадив на постель, и подошел к двери. Прислушался. Если бы за дверью таились бунтовщики или заговорщики, нелегко им обмануть чуткий слух молодого царя.

— Дозволь войти, государь! — приглушенно раздался голос постельничего, Алешки Адашева.

Иван помешкал. Враг всегда хитер и коварен. Быть может, верному Адашеву приставили к горлу нож... Или того хуже — уже не верный он вовсе слуга, а один из заговорщиков, явившихся по душу государя и его родни...

В потайное смотровое окошко, скрытое железной виноградной лозой искуснойковки, была видна лишь фигура постельничего. Но доверять и тут нельзя — кому надо, тот вызнает вид из окошка и смекнет, где спрятаться, чтоб при удобном случае ворваться неожиданно.

Вот для того и висит непременно, в любом царском дворце, перед дверями в покои государя клетка с заморским кенарем. Птаха малая, вертлявая, толковая. В мирное время знай себе скачет взад-вперед или высвистывает затейливые коленца — многим из них Иван сам обучает, для развлечения. А случись нужда, как сейчас...

Иван взглянул на красный угол палаты и решительно подошел к иконе Спасителя. Анастасия радостно встрепенулась, готовая соскочить с постели и упасть вместе с мужем на колени перед образами. Но Иван вместо жаркой молитвы под недоуменным взглядом жены снял икону, ухватился пальцами за край наборного оклада. Вытянул крепежный гвоздь из нижнего угла, отогнул податливый золотой лист и хорошенько потряхнул.

Анастасия испуганно ойкнула и зажала себе рот. На постель выпал синий бархатный мешочек на шнуре. Иван отложил образ Спасителя, взялся за шнурок. Потянул — и на подставленную им ладонь легла блестящая фигурка Медведя.

Анастасия смотрела во все глаза. Царица явно не понимала, что делала эта грубоватая на вид вещица среди икон в их спальне.

«Молчи!» — знаком показал Иван и быстро вернулся к потайному окошку, высмотрел сквозь густую ковку клеть с кенарем под самым сводом потолка. Птаха, словно чуя беду, беспокойно металась, вспархивала, прыгала по жердочкам, билась о прутья.

Иван поймал взглядом желтый скачущий комочек, вперился в него... Ощутил, как знакомо кольнуло ладонь, пробежал будто холодок по руке, передался телу, и в тот же миг Иван стал птицей.

Близко-близко от глаз потолочная балка, каждый сучок можно разглядеть. Частокол прутьев — непривычно толстых, изогнутых. Зерно на огромном блюде да сухой помет под жердью. Первым делом Иван унял бессмысленный скок птицы, остановил мысленно. Сжал цепкими лапами дерево насеста, крутанулся, выискивая лучший обзор. Склонил голову набок, привыкая к необычному виду — будто в стакан венецианского стекла смотришь, все круглится и преломляется диковинно. Птаха подчинялась без труда, легче игрушки из детства — деревянное блюдечко с резными курами, а под блюдом шарик на веревочке. Качай-крути тот шарик, и будут куры постукивать деревянными клювами. Склонив голову кенара еще больше, Иван разглядел весь проход к двери его покоев — никого,

кроме ожидавшего ответа постельничего. Ивану сверху была видна наметившаяся плешь Адашева, его опущенные плечи и даже родинка на левом ухе, которую вдруг нестерпимо захотелось клюнуть.

Иван тряхнул головой — уже своей, человеческой, — и быстро спрятал фигурку в мешочек. Подал знак жене.

Анастасия поспешно накинула шитый бисером парчовый халат.

Иван снял щеколду с двери, отступил в глубину покоев.

— Входи! — как можно тверже приказал он.

Дверь отворилась и Адашев, склонив голову, шагнул внутрь.

Едва войдя, Адашев бросил взгляд на пустое место в иконостасе, потом заметил забытую царем на постели икону и на лежащий рядом с ней оклад, но ничем не выказал удивления.

— Дозволь, государь? — деловито попросил он.

Иван кивнул,

Как и подобает слуге, Адашев кинулся хлопотать, наводя порядок в царских покоях. Повесил образ на место, поправил, смахнул ладонью несуществующую пыль. Лишь затем, снова склонив голову, осмелился сообщить:

— Государь, вести тебе плохие принес.

Иван оглянулся на Анастасию. Та сидела ни жива ни мертва.

— Говори! — крикнул Иван и устыдился своего голоса — звонкого от напряжения, почти мальчишеского.

«Еще чуток — и засвистал бы, как кенар, — не весело усмехнулся в мыслях Иван. — Хорош был бы царь!..»

Адашев распрямился. Взгляд его возбужденно блеснул, на лице проступил нервный румянец.

— Толпа народу огромная, многие вооружены — кто дубьем, кто кистенем, у иных и мечи замечены. Против них стрелецкая полутысяча, включая стреленных. Не устоять долго, если не усмирим. У дворцовых ворот стражу побили уже, ворота сломали...

Адашев замолчал.

Все находившиеся в покоях прислушались к уже совсем близким крикам.

— Во дворе они, государь. На разбой пока не решаются. Требуют тебя на крыльцо.

Анастасия снова ойкнула, на этот раз громко. Не сдерживаясь, заплакала.

— Что хотят? — Иван судорожно сунул синий мешочек за пазуху и застегнул ворот рубахи.

— Известно... — дернул ртом Адашев, поправляя на царе одежду. — Шуйские подучают, не иначе — Глинских требуют выдать на расправу. Кричат: «Смерть колдунам!» И еще вести есть, тоже недобрые...

— Идем туда! — перебил постельничего Иван. — По дороге расскажешь.

Запахнул кафтан, подбежал к жене и порывисто обнял.

— Ничего не страшись, Настя! Страх — для души погибель! Тебе ли — жене государевой, мне ли — царю венчаному, бояться смердов? Они — рабы мои, и я им напомним, ежели позабыли, кому служить должны!

Уже в дверях Иван обернулся:

— Затворись, никому кроме меня не открывай!

Едва он покинул жену, страх, доселе тщательно скрываемый, объял царя с новой силой. Предательски мягкими сделались ноги, тяжкий холод тянул нутро.

Иван украдкой, чтобы не заметил идущий следом постельничий, отер об одежду ладони. Крепко сжал кулаки и, с трудом сглатывая слюну, хрипло откашлялся.

Вот и дворцовое крыльцо.

После полумрака — яркий свет. Сухой зной. Пыль.

Народу на площадь набилось так много и плотно, что с крыльца казалось — вымостили двор людскими головами. Чернели бороды, рты, одежды. Колыхалась толпа, расплескивая ненависть.

Завидев на крыльце царя, толпа взревела, дернулась, забурилась.

Ужас объял Ивана, до самых костей прорезал ледяными ножами.

То и дело выкрикивали:

— Смерть Глинским! Смерть!

— Под корень весь род ведьмачий извести!

— Анну Глинскую выдай нам, колдунью, и сына ее, приспешника!

Адашев склонился к уху Ивана:

— Разорвут бабку твою, как князя Юрия растерзали... Останови их. Но не дай, чтобы подумали, будто боишься их. Пусть убоятся тебя. Ты — царь!

Иван шагнул вперед и звонко крикнул:

— Тихо всем!

Толпа замерла на миг. Пронесся над ней ропот и трепет. Молодой, безусый и безбородый царь стоял перед народом. Руки потянулись было к шапкам, снять их для поклона государю. Но многие продолжали сжимать дубье, ножи и топоры. Горлопаны-заводилы, помешкав, вновь принялись за свое:

— Выдай нам бабку-колдунью Анну!

— И Мишку Глинского подавай, выблядка ее!

— К ответу их!

Иван беспомощно обернулся, ища глазами Адашева. Но тот отвел взгляд, отступил.

Рука потянулась к потайному мешочку на шнурке, за пазухой. Крикнуть бы сейчас псарей... Чтобы лучших, отборных волкодавов выпустили, истомившихся на псарне по вкусу живого мяса и горячей крови. Рвануть со шнурка соблазнительный талисман, скинуть с него шелковую тряпицу, сжать крепко, чтобы впились в кожу острые грани, раскровянили бы ладонь... Лизнуть кровушку, солоноватую, чтоб заволокло горячим туманом голову да глаза, выбрать пса позлее да покрупнее — и чернь пожалеет, что не приняла лютую смерть на пожаре.

Но не годится государю обращаться в пса. Не острых зубов, а грозных слов должны бояться подданные. Перед властным взором трепетать должны, а не перед звериным рыком.

Иван совладал со страхом и искушением, убрал руку от одежды. Протянул ее в сторону толпы, примиряюще:

— Угломнитесь! Царь ваш перед вами стоит. Расходитесь по домам своим!

Едва Иван произнес последнюю фразу, как кровь ударила в виски от осознания только что сделанной ошибки.

Толпа, что колебалась еще мгновение назад — смириться ли, поклониться ли молодому царю и попятиться с его двора, — теперь хищно вызвилась. Прежний ропот сменился диким ревом. Пуще прежнего перекосились лица. Выплеснулись из толпы крики, полные злобы:

— Негоже государю глумиться над народом его!

— Будто не знаешь? Нет более у нас домов!

— По милости ведьмаков твоих, Глинских, остались без всего!

Пешие стрельцы, что выстроились перед крыльцом цепью, едва сдерживали натиск. Передних еще удавалось останавливать древками бердышей и зуботычинами, но задние напирали. С нескольких стрельцов сорвали шапки. Улюлюкая, принялись подкидывать их в воздух.

— Как бы не случилось чего... — тревожно обронил стоявший позади царя воевода Воротынский. — Камни начнут швырять, а то и кинутся всей гурьбой. Уйти бы тебе, государь, от греха.

Лицо Ивана побелело, пошло пятнами.

— От греха, говоришь?! Я ли убоюсь этих?.. — в голосе царя звенели гнев и ярость. — Царю бежать от черни предлагаешь?

Воевода испуганно моргнул:

— Что ты, государь! Ожидаю лишь приказа, чтобы с усердием исполнить. Вели на горлопанов пустить стреленных стрельцов!

Страх воеводы — не перед беснующейся толпой, а перед ним, юным царем — ободрил Ивана.

«Этот боится, так и другие будут!»

Конные уже выстроились справа от крыльца, ожидая сигнала. Лица всадников были злы и решительны. Руки сжимали поводья и нагайки. Лошади пряли ушами, фыркали, в нетерпении переступали ногами.

Толпа, предчувствуя жестокую схватку, раззадоривала себя. Выкрики становились один непристойнее другого. Полетели в сторону крыльца и охраны комья сухой земли. Один такой угодил

воеводе в плечо, ударил и рассыпался в прах, перепачкав кафтан и бороду.

Иван, ожидая, что следующий достанется ему самому, шагнул назад и, задыхаясь, воскликнул:

— Сечь, пока не усмирятся!

Князь Воротынский, хоть и грузен был телом, ловко перемахнул через перила крыльца и мигом очутился на своем свирепом вороном аргамаке. Взмахнул нагайкой, поднял коня на дыбы. На перепачканном лице князя бешено сверкнули белки глаз. Приметив, где беснуются самые ярые крикуны, воевода решительно повел за собой ратников.

Конница налетела на толпу, вклинилась, рассекла. Нагайки охаживали взбунтовавшихся, конские груди и копыта сбивали с ног. Вороной воеводы свирепо клацал зубами, ухватывая за плечи и лица всех встречаемых.

Царь, не унимаясь, кричал с крыльца, грозя пальцем толпе:

— Всех на колени выставить, а кто не встанет — изловить и на дознание! Узнать, по чьему наущению творят!

Толпа, дрогнув было, не поддавалась — заводилы пытались ножами подрезать коням ноги. Протяжное ржание раненых животных раздавалось то тут, то там. Нескольких всадников удалось стащить с седла. Воронками забурлила чернь вокруг схваченных, взметнулись дубинки, мелькнули ножи...

Коню воеводы тоже досталось — метили ножом по глазам, но лишь рассекли лоб. Наполовину ослепнув от крови, он яростно лягался и мотал головой. Князь Воротынский едва держался в седле, уклоняясь от дубинок осмелевших бунтарей. Рука

его потянулась за саблей. Примеру воеводы последовали и другие конные стрельцы.

Из дворца вышел на крыльцо князь Скопин-Шуйский. Бросил быстрый взгляд на двор. В глазах его промелькнула искорка веселого довольства, как у купца в предвкушении удачной сделки. Князь подошел к Ивану. Напустив на себя тревожный вид, склонился к его уху:

— Быть беде, Иван Васильевич! От тебя лишь зависит, отведешь ли беду от себя и от нас всех!

— Говори, что на уме держишь, — ответил Иван, не спуская глаз с ревущей толпы. — Да громче говори, чтоб расслышал тебя.

Скопин-Шуйский распрямился, лицо его вмиг переменилось — сквозь напускную тревогу лучилась радость близкой победы.

— Прислушайся, государь, к голосу народа! Твоего народа! — быстро и напористо заговорил князь. — Выдай им, кого требуют. Или сам казни, после дознания! Но времени нет, государь! Того и гляди — ворвутся во дворец. Выдай им бабку, за колдовство свое пусть ответит перед теми, кого обездолила! Силой не усмирить несчастных, успокой же их справедливым решением. Дай им колдовскую кровь выпустить, утешить души свои страдавшие... А иначе...

Договорить князь не успел — Иван ударил его в лицо. Кулак молодого царя оказался тяжел — не в последнюю очередь благодаря крупным перстням на каждом пальце. Щека князя разодралась, его русая бородка начала темнеть от крови. Иван ухватил Скопина-Шуйского за лицо, с силой оттолкнул от себя.

— Кровью родни откупаться советуешь?! Умойся своей для начала! А надо будет — по горло в ней искупаешься! Со всем своим родом!

Князь, зажимая ладонью лицо, поклонился и быстро попятился с крыльца, в спасительный полумрак палаты.

— Не ты ли и напел митрополиту в уши про колдовство да огонь? — крикнул ему вслед Иван. — Ступай, ступай, далеко не уйдешь. Надо будет — и в пытошную придешь. Доберусь, визнаю, кто наущает и баламутит!

Охваченный яростью Иван поискал взглядом так некстати пропавшего Адашева. Тот вынырнул из-за спин перепуганной дворни. Преданно замер, ожидая приказов.

— Алешка, где черт тебя носил?! — крикнул Иван, сжимая кулаки.

— Тут я был, государь! — Адашев огляделся, будто призывая дворовых в свидетели. — На миг лишь отлучался, оружие взять.

В руках Адашев и впрямь держал два акинака в ножнах. Один из мечей он протянул государю.

— Не доведи господь, конечно... Но ежели стража не сдюжит... Телом закрою тебя, государь! А если паду, защищай себя до последнего.

Иван растерянно взял оружие. Вспомнил про Соборную площадь, куда на днях чернь сволокла тело Юрия Глинского. Умелый и храбрый воин, Юрий Васильевич был и внешне статен, величав. Именно ему выпала честь осыпать Ивана золотыми монетами на ступенях Успенского собора, когда венчался его племянник на царство. Ему же и жене его Ксении довелось стелить постель

молодому царю в день его свадьбы с Анастасией. И вот, лишь несколько месяцев спустя, нет больше князя. О гибели дяди Ивану поведали скупо, Адашев уберег подопечного от деталей. Хоть и вырос Иван до царя, а так и остался в душе постельничего всего лишь ребенком, пусть и венценосным, которого надо беречь. Но обостренное страхом воображение Ивана само дорисовало картину страшной смерти родственника. Трещат под напором бунтовщиков двери соборной церкви, где перед ликами святых в трепете склонился князь Юрий. Врывается чернь, наполняя храм непотребными воплями. Десятки рук хватают жертву, и прямо в церковных стенах свершается кощунство, льется кровь. Не молитвы возносятся под высокий купол, а страшный предсмертный крик. Убитого волокут к выходу, оставляя темный влажный след на полу. Бьется по ступеням голова. Тело тащат мимо озверевшей толпы и бросают посреди мощеной площади. Порванная в клочья одежда, вся в крови... вывернутые, сломанные руки и ноги... запрокинутая голова, разбитое безглазое лицо... Ужас, боль, бесчестие. Позорная смерть. Такая же грозит Ивану. Не от болезни, по божьей воле, не от иноземной стрелы или меча — от разбойничьего дубья и кистеней, от безродных холопов. Не за монастырской оградой, не под соборными сводами упокоится брненное тело, отпустив душу. Будет валяться в грязи двора, неприбранное, изувеченное, растерзанное — словно медведь изорвал...

Иван вздрогнул.

Медведь!

— Мигом в зверинец! Спустить на этих... — Иван судорожно мотнул головой в сторону побоища на площади. — Ерему на них спустить!

Адашев рванул было исполнять повеление, как вдруг остановился.

Оглянулся на царя:

— А справится ли Ерема? Уж больно велика толпа... И со стрельцами как быть тогда, государь?

Впервые за все время Иван так озлился на постельничего, что замахнулся ножнами акинака и едва сдержался, чтоб не ударить.

Адашев без дальнейших слов скрылся в полутьме дворца.

Иван глянул на бушующую толпу и вошедших в раж всадников. Сражение началось уже нешуточное — кровь хлестала с обеих сторон. Стража, не разбирая, рубила без устали. Но толпа, чувствуя свою силу, не отступала. То и дело исчезал под ее ногами очередной стрелец или заваливался с протяжным ржанием конь. Некоторым лошадям, потерявшим седоков, удавалось выскочить на свободный клочок двора, и они стояли там, тяжело двигая израненными боками.

«А ведь прав Алешка! Еремка могуч, да умом все же зверь. Полезет первым делом лошадей драть...»

Решение пришло мгновенно.

Коль не слышны царевы слова, так пусть внимают другому.

Бесполезный меч Иван отшвырнул в сторону. Челядь поспешно расступилась перед бросившимся во дворец царем. Иван поднял руку, жестом приказывая не следовать за ним никому. Скорым шагом, почти бегом миновал несколько палат.

В одной из них он разглядел стоящего у окна князя Скопина-Шуйского с несколькими приспешниками. К щеке князь прижимал тряпицу с лекарством. Заметив царя, все торопливо отошли от окна и склонились, но Иван проследовал дальше.

«Доберусь еще до вас! — мысленно пообещал себе Иван, стремительно шагая по темным проходам. — Доберусь! Но сначала научу, что царя вам не запугать!»

Чем дальше двигался Иван вглубь дворца, чем глуше доносились выкрики и стоны, тем быстрее вытеснялась из души робость. Гнев его словно выковывался под молотом сердца, с каждым ударом крови становясь крепче, страшнее.

Фигурку Медведя Иван достал из мешочка на ходу. Сжал так, что впились в ладонь острые углы. Захолодило кисть, побежали под кожей руки ледяные крошки.

Распугивая своим внезапным появлениям и без того еле живых от страха холопов, царь добрался до дверей к заднему крыльцу. Створки были открыты — стрельцы толпились возле щели, оживленно обсуждая что-то. Завидев царя, стража растерялась. Самый рослый из стрельцов — могучий, огромный Омелян Иванов — раскинул руки:

— Нельзя туда, царь-батюшка!

Охваченный яростью Иван бешено сверкнул глазами:

— Прочь! Кому препятствуешь?!

Омелян, упав на колени — при этом он остался на голову выше царя — умоляюще произнес:

— Дозволь закрыть! Еремка взбесился, видать, кровищу учуял — с цепи сорвался! Клеть выломал, людишек на дворе и конюшне подрал немного.

Иван замер.

— Жив? — спросил он после короткого замешательства.

Омельян кивнул:

— Сам-то жив, ему разве кто сделает что... Андрейку Маурина задрал, кишки ему вырвал, а Данилке Соколову горло прикусил да потом башку оторвал... Из конюшенных еще три человека...

— Что с Адашевым? — перебил Иван великана.

— В страпной избе укрылся, успел.

Иван, крепко сжимая в руке медвежью фигурку, дернул щекой:

— Пойди прочь!

Омельян послушно, не вставая с колен, отполз к стене.

Царь подошел к приоткрытым створкам вплотную. Преодолев желание прикинуться к щели и рассмотреть из безопасного места, что творится на дворе у зверинца, сильно пнул по тяжелому дереву. Дверь резко распахнулась, и царь, выйдя на небольшое крыльцо, осмотрелся.

На истоптанной земле валялось несколько переломанных тел. Не впитываясь в пыль, кровь вокруг них темнела широкими лужами, запекалась, густела. Возле самого крыльца Иван увидел безголовое тело — очевидно, стрельца Соколова. Раздавленная голова служивого лежала неподалеку — словно дыня, телегой перееханная.

Огромный Ерема — бурый, мохнатый, смрадный — возился возле другого измятого тела в стрелецком кафтане. Сунув длинную пасть в живот задавленного, медведь громко чавкал. Звякал обрывок толстой тусклой цепи, болтаясь на шее зверя.

Услышав стук отворенной двери, Ерема рыкнул и поднял густо вымазанную морду. Влажные ноздри затрепетали, резко и часто втягивая воздух.

На Ивана уставились маленькие темные глазки. Ярость плескалась в них, рвалась наружу. Иван, невольно восхищаясь, протянул в сторону Еремы руку с зажатой в кулаке фигуркой. Подчинить разъяренного медведя, опьяневшего от человечины, оказалось непросто. Иван поразился силе звериной воли, хлынувшей навстречу его собственной.

— Подойди ко мне, — негромко приказал юный царь, сверля зверя взглядом. — Подойди!

Медведь мотнул из стороны в сторону здоровенной башкой, разбрасывая сизые длинные обрывки своей добычи.

— Иди сюда и повинуйся! — одеревеневшими от напряжения губами произнес Иван.

Медведь мощно рыкнул и поднялся на задние лапы. Взревел еще громче, огляделся. Иван почувствовал, как слабеет сопротивление зверя. Ерема шумно выдохнул через ноздри, опустился, перешагнул через изодранное тело стрельца и грузно направился к крыльцу. Не дойдя совсем немного, остановился. Опустил голову и застыл мохнатым, перепачканным соломой и кровью холмом.

Иван ясно, насколько позволяли небольшие, налитые кровью глазки зверя, увидел серую пыль, камешки и даже первую, нижнюю ступень крыльца — широкую некрашеную доску. Все, что было чуть дальше, предстало его взору размытым, нечетким. Зато звуки и запахи... Они неудержимо неслись со всех сторон, заставляя ноздри трепетать, шерсть подниматься дыбом, а глотку издавать густой утробный рык. На короткий миг медведь попытался

взять верх и собрался было вернуться к поверженным телам — от них волокно одуряюще волнительным запахом смерти, сочной свежатины... Но Иван развернул медведя мордой прочь, заставил взреветь и прижать уши к массивной голове. Повелевание столь мощным телом завораживало, распирало злым восторгом, наполняло гордой яростью. Длинные и толстые когти царапнули землю, взметнув облако пыли. Тягуче заревев, зверь огромными прыжками помчался прочь со двора, огибая флигеля и пристройки. Медведь понял задачу и больше не противился, а наоборот, держал чуткий нос в напряжении, ловя все более плотные волны запахов — людские, лошадиные...

Иван бежал следом, на ходу привыкая к причудливой картине — то перед ним ходил ходуном медвежий зад и мелькали широкие стопы, то вдруг он переносился взором вперед и тогда видел стремительно приближающийся угол дворца, за которым — ненавистная толпа перед крыльцом.

Когти рвали пыльную землю. Мышцы перекачивались под шерстью. Глотка ревела, пасть распахивалась, обнажая клыки и черные десны. Как влетает в воду огромный валун, слетевший с вершины горы, так ворвался медведь в густую толпу. Сбил, подмял сразу несколько человек. Раздавил. Дернул задними лапами, разрывая слабую людскую плоть, и тут же принялся сокрушать ударами передних лап, ухватывать зубами, вырывать куски мяса с клоками одежды.

— Остановись, государь! Чем упиваешься, чью кровь льешь? — вдруг раздался совсем рядом гневный крик.

Иван вздрогнул и очнулся — возглас был полон такой силы, что мигом сорвал с его глаз кровавую пелену.

Царь обнаружил себя на ступенях крыльца со сжатым что есть силы кулаком. Между пальцев проступала кровь. Грудь ходила ходуном, пот обильно лился со лба.

Отдышавшись, Иван перевел рассеянный взгляд на дерзнувшего выкрикнуть царю обвинение.

Перед ним, сжимая в обеих руках церковную книгу, стоял не кто иной, как настоятель Благовещенской церкви старик Сильвестр. Иерей, исповедовавший ранее царя, был не похож на самого себя — искаженное гневом лицо, пронзительный взгляд страшных глаз... Иван вздрогнул. Глаза иерея не просто пылали гневом, они были действительно страшны. Неземные глаза, нечеловечьи — готов был ручаться Иван. Царь даже встряхнул головой, гоня этот морок прочь, но тщетно — на него по-прежнему смотрела жуткая пара глаз.

Иерей и не думал отступать. Потрясая книгой — теперь царь разглядел, что это Писание, — Сильвестр шагнул ближе, почти вплотную, и закричал:

— Прекрати избиение христиан! Это народ твой! Не остановишь если...

Сильвестр пошатнулся. Его сильно толкнул подскочивший с саблей в руке Воротынский — расстрепанный, окровавленный, оскаленный. Воевода, разгоряченный побоищем, бросил безумный взгляд на Ивана и, не дожидаясь приказа, взмахнул саблей.

Но прежде, чем седая голова дерзкого иерея успела бы отведать воеводиного клинка — случилось невероятное.

— Прочь! — крикнул вдруг Сильвестр, обернувшись к воеводе.

Воротынский замер с занесенной саблей.

— Пошел вон, шелудивый пес! — иерей топнул ногой, глядя на ретивого воеводу.

Тот, поблуднев, отступил на шаг, безвольно опустил руку с оружием, заморгал часто и вдруг попятился.

Сильвестр повернулся к Ивану.

— Остановись! Отзови слуг — всех назад!

Вот от кого лилась настоящая сильная воля. Куда там медвежьему тупому упрямству или царской неумолимой ярости!

Иван, не осознавая, почему подчиняется дерзкому старику, сунул руку за пазуху, нащупал потайной карман и разжал пальцы. Фигурка выскользнула, улеглась в укромной темноте.

Отыскав взглядом воеводу — тот растерянно стоял возле крыльца, — царь приказал уводить войско.

Стрельцам сыграли отход. Измочаленные, окровавленные, они поспешно выбирались из толпы, кидая бешеные взгляды, держа из последних сил оружие наготове, но толпа смиренно расступалась, оттаскивала в стороны неживых, поднимала раненых.

Присмирившего Ерему ухватили за обрывок цепи. Замотали ему морду и потащили обратно в зверинец.

Взоры всех собравшихся во дворе устремились на царя.

Иван уже успокоил нутрянную дрожь, совладав со звериной натурой окончательно, повернулся к народу. Вытер рукавом лицо, вдохнул знойный воздух и выкрикнул со ступеней крыльца:

— Слушайте слово царя! Я, государь-венценосец, прощаю вашу смуту! Верю — по неразумию поддались наущению. Прощаю и тех, кто в зачинщиках усердствовал. Ступайте с миром! У нас общая беда, нам с ней сообща и ладить. Всем погорельцам, кто малоимущий и немощный, будет государева помощь из казны.

— А есть ли она, казна?.. — крикнул было из толпы самый ретивый, неумный, но его быстро одернули, уgomонили затрешиной.

Иван пожал плечами:

— Не тот город Москва, чтобы от пожара оскудеть и не подняться. Прав ли я?

Толпа снова потянула шапки долой, закрестилась, колыхаясь в поклонах:

— Истинно так, надежа-царь!

Народ, дивясь словам царя, принялся расходиться. Постановая и поохивая, толпа принялась вытекать со двора, мимо сломанных ворот и бездвижных тел. Засновали дворовые, растаскивая искалеченных и убитых. Им на помощь поспешили стрельцы.

Иван повернулся к дерзкому старику. Взглянул в его удивительные глаза — под нависшими седыми кустами бровей ярким разноцветьем горели зеленый и голубой огоньки.

Сильвестр, ничуть не смущаясь царского взора, стоял прямо, держа у груди Писание.

— Пройди со мной во дворец, — сухо обронил Иван, покидая крыльцо.

Старик послушно засеменил следом под пристальными взглядами придворных...

ГЛАВА ПЯТАЯ

МОНАСТЫРЬ

... — Государь! — вдруг рыкнул над ухом знакомый голос.

Иван вздрогнул и открыл глаза.

Мертвый лес стеной вдоль дороги. Конский бок в заиндевело попоне. Скрип полозьев. Лошадиные вздохи.

Малюта — весь огненно-медный от бороды и прихваченного стужей лица — склонился с седла к царским пошевням.

— Государь! — снова пророкотал он густым звериным басом. — Не дремать бы на морозце тебе... Не ровен час, застынешь и не заметишь.

Меховая шапка съехала Малюте на глаза, почти скрыв их — сквозь ворс был виден лишь настороженный блеск.

Царь подивился, глядя на приближенного — будто медведь взгромоздился на вороного коня, обрядился в теплый кафтан да заговорил по-человечьи.

«Ни дать, ни взять — того самого Еремы племянник, — усмехнулся Иван. — Хоть верным псом себя называет, а все ж медвежьей стати холоп...»

Скуратов заметил усмешку царя, истолковал ее по-своему.

— Напрасно, государь. От врагов и предателей я тебя уберегу, не сомневайся! Душу положу на это! А от мороза-воеводы смерть коварная, ее не сразу разберешь. Казалось, задремал саму малость — и вот и лежит человек, тверже бревна телом стал.

Иван пошевелил пальцами на руках и ногах, прислушиваясь к ощущениям.

— Не убережешь, стало быть, царя от мороза? — спросил он с напускной строгостью и скинул рукавицу. — Глянь, Григорий, как побелели-то... Даже мех соболиный не спасает!

Иван растопырил перед лицом Малюты озябшие пальцы. Тускло сверкнули массивные перстни на них.

Царский охранник выпрямился и беспокойно заворочался в седле:

— Вели, государь, стоянку делать! Костры запалим!

Царь покачал головой и хитро сощурил глаз.

— А ну как огня бы не было? — с любопытством спросил он.

Не раздумывая, Малюта рванул ворот кафтана. Распахнул до выпуклого живота, схватился за рукоять ножа.

— Брюхо себе вспорю! — срывая голос, воскликнул «верный пес» Скуратов. — Чтобы в трухе моей руки свои грел, умолять буду!

Иван рассмеялся. Нырнув узкой мосластой кистью в рукавицу, нагнулся за лежавшим в ногах посохом.

— Побереги живот свой, Гришка. Дел нам предстоит много. Не пальцы себе спасаем — государство свое уберегаем.

Скуратов задумался. Кашлянул в кулак.

— Я вот как думаю... — осторожно произнес он, испрашивая взглядом разрешения продолжить.

Царь кивнул.

— Они ведь пальцы и есть на руке твоей, государь, — пророкотал Малюта.

— Кто?! — удивился Иван.

— Города эти! — с жаром пояснил опричник, поправил шапку на низком лбу и продолжил: — Москва наша — как ладонь. А тверские, новгородцы, псковичи да остальные — пальцы. Потеряем — ни еду взять, ни саблю удержать!

«Гляди-ка, медведь медведем, а рассуждать берется...» — подивился про себя государь, вслух же сказал одобрительно, скрывая насмешку:

— Быть тебе, Григорий Лукьяныч, главой Поместного приказа, как вернемся!

Малюта вздрогнул. Сорвал шапку и прижал ее к груди — будто мохнатого зверька поймал и придушить решил.

— Смилуйся, государь! — Лицо опричника выглядело не на шутку перепуганным. — Не губи в Посольской избе! Не мое это — под свечой сидеть да пером скрипеть... Уж лучше бросай под Тайницкую башню, на дыбу!

Царь, выдержав паузу, расхохотался.

Засмеялись и оба ехавших позади саней Басмановых — старший ухнул гулко-раскатисто, а младший рассыпался полудевичьим смешком, сверкнув белоснежными ровными зубами.

— Не пугайся, Гришка! — отсмеявшись, утер слезу Иван. — Ты мне возле ноги нужен. Пером другие поскрипят...

Малюта облегченно выдохнул, перекрестился. Зло зыркнул в сторону Басмановых и нахлобучил косматую шапку на свою медвежью голову.

Впереди показался невысокий холм, густо поросший деревьями, между которых петляла и взбиралась на вершину узкая, едва в ширину саней, дорожка. Едва различимые, виднелись над черными верхушками крон светлые резные кресты.

— Монастырь? — повернулся Иван к Малюте. — Это какой же?

Рыжебородый опричник пожал плечами.

— Похоже, Вознесенский...

Основная же, широкая и накатанная дорога огибала холм, подобно речному руслу, и полого стекала в заснеженную долину, терялась в сизом сумраке скорого зимнего вечера.

За едва видной полосой Сестры растянулся вдоль ее берега темный, приземистый Клин.

Царь подал знак к остановке.

Эхом прокатились возгласы по всей длине обоза. Войско встало.

— Старшего Басманова сюда! — приказал Иван, хищно вглядываясь вдаль.

Тотчас с другой стороны саней затоптался, фыркая паром, рослый конь воеводы. Крепко ухватившись за окованную луку седла, его наездник ожидал распоряжений.

Государь замер в санях. По лицу его пробежала гримаса — будто что-то раздирало его изнутри, скручивало и жгло. Глаза Ивана заслезились. Подняв голову к темнеющему небу, царь беззвучно зашевелил губами. Борода его, выставленная острым пучком, подрагивала.

Кряжистый Басманов невозмутимо покоился в седле, роня быстрые взгляды на принявшегося страстно креститься государя.

Малюта ревниво наблюдал за обоими, насупясь и пытаясь угадать, что велит царь, когда иссякнет его молитвенный пыл. Придерживая на груди разорванный кафтан, Григорий Лукьянович мысленно чертыхался — так и чудились ему в позе и басмановском выражении лица небрежение, самодовольство и даже насмешка. Если над ним, царским слугой, насмехается надменный боярин — это полбеды. А ежели над государем и страстями его...

Царь неожиданно прервал молитвы. Вскочил в сани. Опираясь на посох, принялся лихорадочно озираться. Бегающие глаза его обшаривали небо над черным лесом.

— Нет знака! — в отчаянии вдруг воскликнул Иван, вонзив взгляд в Басманова. — Алешка, нету мне ответа и указания! Как... Как быть, Алешка?! Как узнать, что не сбился, что прям путь мой?!

Басманов молчал.

Царь сокрушенно махнул рукой. Плечи его опустились, от всей фигуры повеяло унынием.

— Ну так... — сдержанно вдруг пробасил воевода-опричник, избегая встретиться взглядом с государем. Ладонью, словно бабью выпуклость, он оглаживал блестящую седельную луку. — Известно как... Ты, Иван Васильевич, — государь. Тебе и решать. А мы уж исполним.

Иван скосоротился в ядовитой усмешке:

— Верно говоришь — мне решать!.. На мне вся кровь, на мне все грехи наши! Один я, Алешка! Принимаешь, один! Одному и расплата...

Басманов вскинулся и повел рукой в сторону войска:

— Да как же один, государь?! Да нас погляди сколько с тобой! А расплачиваться — пусть изменники готовы будут. Их судьба!

Испытующе взглянув на воеводу, царь уселся обратно в сани. Тяжело задумался, почернев лицом и разом осунувшись. Запавшие глаза неподвижно глядели в сторону снежной равнины, куда уходила дорога.

— Вот что... — обронил он после долгого молчания. — Веди, Алексей Данилыч, войско на Клин. К темноте как раз выйдете. Я заночую тут, у монастырских. Грехи отмаливать буду. Со мной сотня Малюты и грязновские — все пусть останутся. А ты, не мешкая, выдвигайся. Ждите нас завтра пополудни.

Басманов наклонил голову, показывая, что приказ ясен.

Иван обернулся к Скуратову:

— Едем к чернецам, Лукьяныч! У них и отогреемся!

Малюта ударил в бок коня, развернулся, взрыхляя снег, и ринулся извещать о царском приказе.

— И обозным вели пяток саней с нами оставить! — крикнул ему вслед Иван. — Чтоб было куда подарки складывать!

Царь откинулся в санях и хрипло засмеялся. Облачко пара из его рта устремилось вверх, навстречу небесной волчьей шерсти, затянувшей весь небосклон.

Раздвоенным змеиным языком поползло опричное войско, будто ощупывая холодную равнину да лесистый холм. Черные ленты потянулись к скромной обители на вершине да к тихому ремесленному

городу за рекой, и некому было остановить это движение.

...Первыми на холм влетели удалцы из грязноватой сотни. Окружили монастырь, завертелись на конях, увязая в снегу. Следом подтянулись степенные Малютины люди. С ходу, без лишних слов, деловито принялись ломать ворота.

Опираясь на руку Скуратова, Иван вылез из сарая. Ступил в рыхлый снег, прислушался к звонким ударам топоров и жалобному треску.

Поджал губы. Удрученно покачал головой:

— Все бы твоим ухарям крушить да ломать наскоком... Так ли себя гостям подобает вести?

Малюта растерялся. Недоуменно витаращился на царя, потом бросил взгляд на толпу возле ворот и снова уставился на Ивана.

— Государь... Так мы же... Ведь я думал...

Иван сдвинул брови и тяжелым взглядом окинул монастырские стены.

— От мирской жизни чернецы огораживаются. От соблазнов и недобрых людей стены их защищают. А царю неужели преграду чинить будут? Соблазна и злоумыслия в царе быть не может. Царь на то и царь, чтобы лишь Божью волю исполнять. Монастырь, от государя закрытый, — все равно что от Бога сокрытый. А вы — что же?! Как вы там в песенке своей разбойничьей горланите? «Въедут гости во дворы... заплясали топоры... приколавивай, приговаривай!» Тьху, мерзопакостники!

Царь тер бороду от слюны и налетевшего с ветром снежного крошева.

Малюта засопел, разводя руками и виновато моргая.

— Ишь ты... Пыхтит, чисто медведь!.. У-у! — замахнулся на него посохом Иван, грозно выпятив редкую бороду. — Царским словом учись ворота отпирать!

Скуратов рухнул на колени, увяз почти по пояс и тотчас упал лицом в снег.

— Казни, государь! — глухо прозвучало из-под ног царя.

Иван опустил посох.

— За что же? — спросил удивленно.

Опричник не отвечал.

Царь без раздумий хватил его посохом по широкому откляченному заду.

— Вынь харю-то! Иль ты вздумал с государем холопым своим гузном беседовать?!

Малюта высунул лицо из сугроба. Захлопал глазами.

— За что казнить-то себя велишь? — Глядя на облепленное снегом лицо своего «верного пса», Иван едва сдерживал смех.

— Так ведь... За скудный ум мой! Не сообразил — ломать приказал. А надо было иначе.

— А как же? — живо спросил государь, подрагивая уголками рта.

— Так царским же словом! — переведя дух, старательно ответил Малюта.

Иван многозначительно кивнул. Посмотрел в сторону монастырских ворот — те уже всюю раскачивались. Еще чуть — и слетят с петель створы. Хитро прищурился и спросил:

— Знаешь ведь, про царское слово какая прибаутка есть? В сказках, что бабы ребятишкам говорят?

Скуратов сглотнул, выпалил:

— Что тверже гороха оно!

Царь, не в силах сохранять серьезность, затрясся в смехе.

— Эхе-хех-хе, подумать только — гороха!

Малюта растянул губы и осторожно поддержал государя деланым смешком. В глазах его по-прежнему блуждала растерянность.

— Гороха-ха-ха-а! — продолжал куражиться Иван, повиснув на посохе и вздрагивая.

Неожиданно он замер. Медленно распрямился. На лице не осталось и следа от веселья.

Насупившись, жестом приказал слуге подняться.

Скуратов вскочил, весь перепачканный снегом. Застыл, преданно глядя на государя.

— Все верно ты сделал, Малюта, — сухо проговорил Иван. — Все правильно. Твердость царского слова не горохом надо мерять.

Ток! Ток! Ток! Ток! — доносились от монастырских ворот сильные удары.

Озаренный догадкой, Скуратов выдохнул:

— Топором!

Иван шевельнул бровями, скупно обозначив похвалу.

Между тем в ворота стали лупить чем-то тяжелым.

Бу-бух! Бух!

Ходуном заходили крепкие створы.

Раздался громкий треск и ликующие возгласы.

Царь и его приближенный повернули лица к лесной обители.

Ворота вздрогнули от еще одного страшного удара, дернулись, завихлялись и поплыли, полусорванные. Тотчас еще громче взревели грубые голоса. Забурлило людское месиво, затолкались

промеж воротных опор царские слуги, размахивая оружием и торопясь друг вперед друга пролезть в обитель.

Над мельтешащими опричниками аршина на полтора возвышался Омельян Иванов, кривя страшное лицо в слюнявой улыбке. Похоже, от его удара и разлетелись в прах монастырские запоры.

Малюта сокрушенно наморщил лоб.

— Азарту у ребятишек много, а навыку не хватает, — покачал он громоздкой головой, жалуясь государю. — Не обвыклись еще приступы делать.

— Будет у них время. Научатся... — поежился царь. — Холодит, Гриша, в санях меня. Раньше ездил — кровь гуляла. Теперь — кость ноет. Надо бы сменить на что подобающее. Пойдем, глянем, чем богаты чернецы.

Опираясь на посох и проваливаясь по колено в снег, Иван направился к монастырю.

За частоколом виднелась кровля звонницы и чуть глубже — высился острый шатер церкви. Косматое небо нависало над резным крестом, царапало себе брюхо, и сыпалась оттуда сухая снежная крупа.

Опричники ворвались на монастырский двор и начали крушить все подряд.

Вытаскивали монахов из келейной пристройки. Пинками и ударами сабель плашмя выгоняли из ненадежных убежищ.

Выбежал из часовни настоятель. Застыл на ступенях, опознав в одном из незваных гостей самого царя. Совладав с изумлением, кинулся на выручку братьям-инокам — опричники, как волки в овчарне, налетали на растерянных монахов, сбивали с ног, вязали пенькой. Текло из разбитых носов, кровенели

бороды. Настоятель цеплялся за одежду царских слуг, взывал к Господу и бросал отчаянные взгляды в сторону царя. Иван же стоял возле скособоченных створок ворот и с любопытством оглядывал монастырское хозяйство, намеренно не замечая игумена.

И полечь бы игумену в числе первых — озлобленный его вмешательством, ряболицый Федко отпустил схваченного молодого монашка, потянул из рукава ремешок кистеня, взглядом уже примеряясь для удара... Но Иван, краем глаза заметив, повернулся и крикнул, чтобы не трогали старика.

— Разговор у нас прежде будет! — недобро пообещал государь.

Федко с сожалением спрятал кистень. Настоятеля схватили под руки и оттащили в стоявшую посреди двора монастырскую церковь.

В сопровождении Малюты и десятка его подчиненных в храм направился и помрачневший Иван, перешагивая через связанных и громко молящихся монахов.

Уже на ступенях Скуратов обернулся и указал на стоявший неподалеку монастырский возок:

— Не сечь, не ломать! Царева вещь! Остальным — обращайтесь!

Царские слуги времени терять не стали.

Принялись рубить топорами и саблями выпущенную из хлева животину. Отчаянно, трубно заревев, упала с подрубленными ногами пестрая корова. Завалилась вторая — шумно вздыхая и взмывая, выгнула шею, задрала заднюю ногу. Из распоротого брюха лезли внутренности и валил пар.

Надсадно блеющие козы сбились в углу двора, мелко переступая копытцами.

Заполошно метались по двору куры, попадали под клинки. Летели в воздух птичьи перья и брызги крови.

— Запалить бы! Запалить! — возбужденно орал плюгавый Петруша Юрьев, выбежав из келейной с ворохом монашеской одежды.

— Я тебе запалю! В зад факел вставлю и в лес прогоню! — прикрикнул на него Тимоха Багаев, стягивая пенькой руки очередного монаха. — Не слышал разве — на ночлег тут встанем.

— А-а-ах! — в дурном веселье Петруша бросив одежды себе под ноги, начал исступленно приплясывать, топтать.

Как утес посреди бурной воды, стоял на дворе Омелян, не обращая внимания на творившееся вокруг. По-бычьему наклонив голову-глыбу, великан-опричник неторопливо высматривал что-нибудь подходящее себе для забавы. Вдруг борода его шевельнулась — обычная улыбка стала шире. Омелян обрадованно заурчал и грузно потопал прямоком к трехколокольной звоннице из светлого дерева.

Кирилко с Богданом отвлеклись от рубки монастырских коз, утерли взмокшие лбы и уставились на его необъятную спину.

— Глянь, чего Омелька-то удумал! — усмехнулся Богдан, поправляя шапку.

Кирилко вытер саблю о козью шерсть и кивнул:

— Чем бы дитя ни тешилось...

Расхаживавший вдоль связанных чернецов Василий Грязной тоже заметил, куда направился Омелян, и свистнул Багаеву:

— Эй, глянь-ка! Ну теперь-то малец точно пуп надорвет!

Тимофей наступил на лицо одного из монахов, подышал себе на ладони, согревая. Внимательно посмотрел на звонницу.

Шесть крепких сосновых столбов в три человеческих роста. Сверху двускатная кровля на добротных балках. Перекладины в два ряда. На нижних, в мужичью ногу толщиной, висят малые колокольцы, а над ними, на тесаных бревнах, подвешены пять колоколов поболее. Самый мелкий пудов на шесть потянет, а в «благовестнике», что посредине, все сорок будет.

— Да не... — протянул Тимофей, однако без особой уверенности. — Должен справиться!

Грязной хохотнул, подбежал к нему, протянул руку.

— Об заклад?

Багаев поколебался, но вызов принял:

— Об заклад!

— Что ставишь? — прищурился Василий.

Тимофей помялся в раздумье. Взглянул еще раз на Омеляна, который уже похлопывал огромной ладонью по столбу звонницы, приноравливался, поводил плечами. Решился и рубанул:

— Рубль ставлю!

— Эка... — уважительно подивился Грязной. — Ну, стало быть, по рукам!..

...В храме Иван первым делом опустил на колени перед образами. Посох бережно положил перед собой.

Молился недолго, но страстно — громким шепотом, с обычными для себя вскриками и пугливой оглядкой через плечо. Иногда замирал, будто прислушивался. В такие мгновения взгляд его

метался от икон к потолку, глаза расширились и стекленели — будто там, в черных от лампадного и свечного нагара досках, притаился некто, видимый ему одному. Рот Ивана приоткрывался и скорбным полумесяцем темнел на изможденном лице.

Опричная свита неподвижными истуканами застыла позади, отрешенно наблюдая за молящимся.

Внезапно царь застыл с поднесенными ко лбу пальцами, будто вспомнил о чем-то.

Скосил глаза на стоявшего поблизости игумена.

— Ну а ты что же? — спросил недоуменно. — Отчего не молишься?

Монах, которого крепко держали за руки двое опричников, тихо, но твердо ответил:

— Не могу, государь.

— Что ж так? — Иван опустил руку и по-птичьи повернул голову слегка набок, насмешливо рассматривая старика.

Игумен вздохнул.

— Не люди твои мешают на молитву рядом с тобой встать — тревога за братию, невинно побитую слугами твоими. Государь, вели прекратить надругательства и бесчинства в месте Божьем!

Скуратов сгрел монаха за плечо. Зашипел ему в ухо, срываясь на медвежий рык:

— Как с царем говоришь, чер-р-нец!

Опричники заломили руки игумена, согнули его перед царем.

Превозмогая боль, старик глухо выкрикнул:

— Меня не щади, если воля твоя такова! Братию же оставь, молю тебя!

Иван схватил посох и резво поднялся. Лицо его оживленно подрагивало, молитвенная скорбь окончательно улетучилась, сменилась лихорадочной

веселостью и возбуждением. Легким шагом подбежал к склоненному настоятелю. Засмеялся мелко и рассыпчато, потрясая бородой. Подмигнул Скуратову:

— А я знаю, Гришка, что тебе чернец этот ответит! Он слова Филипки Колычева повторять будет! Не может, мол, узнать царя православного в одеждах этих и в деяниях не узнаёт... Распрямите-ка его!

Опричники ослабили хватку и разогнули монаха перед государем.

— Погляди же теперь внимательней, глупый старик. Может, углядишь что знакомое!

Иван выставил перед собой руку с посохом.

Взгляд игумена скользнул по резным узорам, драгоценным камням и замер на серебристом украшении. На короткий миг лицо его дрогнуло, губы зашептали молитву.

Царь обрадованно вскрикнул:

— Стало быть, узнаёшь вещицу!

Иван вдруг хрипло зарычал, лицо его исказилось. Занеся острый, окованный железом конец посоха, он ударил игумена в ногу, как охотник бьет рыбу острой. Пробив валенок, пригвоздил ступню к деревянному полу церкви.

Настоятель охнул и забился в руках опричников.

Иван захохотал:

— Прав я, выходит! Знаю, что от меня укрываете, — но сыщу! До самых глубоких нор ваших доберусь! Надо будет — под корень изведу вашу братию, а найду!

С этими словами царь схватился за посох второй рукой. Впившись взглядом в лицо игумена, рывком провернул острие.

Монах вскрикнул и уронил голову на грудь. Закусил губу, сдерживая стон.

— Если решил мучения мне причинить, воля твоя, государь... — тихо проговорил старик, подняв голову и снова взглянул на венчавшую царский посох фигурку. — Не притесняй понапрасну других. Ничего из того, что ищешь, тут никогда не было.

Иван в сомнении изломил брови.

— Речам лукавых церковников доверия давно нет. Святое Писание на моей стороне. Изощрялся во лжи Ахимелех, священник, говоря Саулу: не обвиняй, царь, раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого! Но не сумел провести, шельма, — за что и казнен был! Ибо знал об измене, но не открыл ее! И с ним триста пять соумышленников, в священнические ефоды ряженных! И город их — мужчин и женщин, юношей и младенцев, и волов, и овец — всех поразили мечом!

Игумен, не отводя взгляда от наверхия царского посоха, сдавленно ответил:

— Неправедно поступил царь Саул... Великое преступление совершил... Недаром слуги его отказались обгагрять себя кровью священнической — лишь один разбойник решился! Тяжела была и расплата царя израильского... А ты, государь, его путь повторяешь. Разве нет для тебя закона?!

Царь опустил взгляд на ногу настоятеля. Валенок старика пропитался кровью.

— Спрашивал меня Филипка, обуянный дерзостью, — как предстану я, государь, на Суд Страшный, весь кровью обгагранный? О законе и правде кричал! А хоть митрополитом был, одного понять

не сумел — закон у царя только один — Божий! Человеческим законам государь не подвластен!

Оскалясь, Иван крутанул посох в другую сторону.

— Иль ты не человек, государь? — пересиливая боль, кротко спросил игумен. — Не женщиной рожден от мужчины разве?

— Молчи, червяк монастырский! — взревел вдруг Иван, разом растеряв веселье.

Подался к настоятелю вплотную и зашептал, плюя сыростью в лицо:

— Много уж было попов да чернецов, к моей людской кротости взывавших! Только через лукавство ваше погибель царской власти готовилась! По монастырям да церквам укрывалось принадлежащее казне государственной! Легко ли мне человеком быть, долг государев исполняя?

Старик, собрав силы, кивнул:

— Человеком всегда трудно быть. Когда люди твои злодеяния творят — рубят друг друга или пытаются, они же кричат, как звери. Замечал ли ты это? Криком и оскалом человека из себя выгоняют. Потому что не может человек подобными делами заниматься. А зверь внутри человека — может. Монахи или крестьяне, они когда зерно сеют, мед собирают, скотину доят, — они не кричат, но молитву читают.

— Мели, Емеля, твоя неделя!.. — насмешливо протянул Иван, отстраняясь. — Медведь, когда в дупло пчелиное лезет, молитв не возносит!

Вдруг с монастырского двора, прервав беседу царя и игумена, донесся чудовищной силы рык.

Иван вздрогнул. Отнял правую руку от посоха и перекрестился.

Рык повторился — настолько низкий и густой, что дрожь пробежала по нутру каждого из

стоявших в церкви. Заозирались, принялись пугливо креститься и растерянно поглядывать на светлый квадрат открытых дверей.

Там, на дворе, разом закричало множество людей — будто воронья стая метнулась.

Царь рывком высвободил посох из ноги собеседника. Выставил окровавленное острие в сторону выхода.

— Сатана явился!.. — сдавленно хрипнул кто-то из опричников, но осекся под взглядом Малюты.

С напряженным лицом, держа саблю на изготовку, рыжебородый царский «пес» осторожно крался к дверям. За ним робко ступали подчиненные, тревожно переглядываясь и вытягивая шеи.

Со двора вновь раздался давящий уши рык. Следом загомонили, зашумели пуще прежнего. Поплыл поверх криков медный ломкий звон. Рык перешел в протяжный рев — будто медведь попался в капкан. Послышался громкий треск, хруст и ликующие вопли.

Скуратов выглянул из дверей, пригляделся. В сердцах сплюнул, выпрямился и убрал саблю в ножны. Оглянулся на царя.

— Озоруют!.. — пробурчал с досадой на мимолетную свою робость.

Едва Иван перевел дух, в глазах его тут же заплясали огоньки любопытства, и он поспешил к выходу. Выбежал на крыльцо и замер, пораженный.

Монастырская звонница, пару столбов которой выворотили из земли, косо завалилась. Кровля ее разлетелась, колокольные перекладины надломились, а сами колокола сорвались и беспомощно торчали из рыхлого грязного снега.

Сгорбившись и тяжело дыша, возле поверженной постройке покачивался Омельян. Из его носа и ушей текло темно-красным и капало на плечи.

— Ишь ты... — гулко урчал великан, размазывая кровь по носу, щекам и бородище. — Во как... Хы...

Опричники гоготали, восхищенные очередной выходкой малоумного Омельки. Смеялись над проигрышем Грязного. Стараясь хранить непроницаемое выражение лица, Васька вручил сияющему Тимофею тугой кишень, набитый монетами.

— Можешь не считать, у Грязного без обмана, — пробурчал он под общий хохот.

Лишь распластанным монахам невесело было под ногами опричников. Некоторые после падения звонницы закрыли глаза и еще громче принялись твердить молитвы.

— Игумена приведите сюда! — приказал царь, с улыбкой разглядывая учиненный слугами погром.

Вывели настоятеля. Старик поджимал ногу в окровавленном валенке.

Иван широким жестом указал на двор, битком набитый опричниками в черных одеждах.

— Что скажешь, отец настоятель? Моя-то братия посильней твоей будет! Значит, и правда — за нами!

— Скажу то, что сказано уже: «Иные — с оружием, иные — на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!»

Царь повернулся к монаху, испытующе оглядел. Склонился к его уху и, сминая бороду об игуменское плечо, прошептал:

— А ведь стоит мне приглубить Волка... В ладонь зажать да на тебя взглянуть — по-другому запоешь, разве нет?

— Бог от хищника клыкастого митрополита Филиппа уберегал. Если вера моя крепка, и меня спасет, — ответил старик.

Иван засомневался — об одном ли Волке они говорят? Или Филиппу уже в приручителя диких зверей молва занесла? Так и чудотворцем скоро станет...

Раздраженный напоминанием о былом митрополите, Иван отпрянул от настоятеля. Глаза застила пелена злобы, а коварная цепкая память подсовывала и вертела перед внутренним взором картины двухлетней давности.

Воскресная служба в Успенском. Царь, торжественный в своей черной ризе, перед Филиппом испрашивает благословения. Не сразу доходят до разума слова отказа. Филипп страстно обвиняет государя, прилюдно. «До каких пор будешь ты проливать без вины кровь твоих верных людей и христиан?.. Подумай о том, что хотя Бог и возвысил тебя, но все же ты смертный человек, и он взыщет с тебя за невинную кровь, пролитую твоими руками... Татары, и язычники, и весь свет может сказать, что у всех народов есть закон и право, только в твоем государстве нет их!»

Обрывается сердце, шумит в голове, и слепнут глаза от ярости. Стучит посох, и летят, гудят слова Ивана, которые он запальчиво выкрикивает в непреклонное лицо митрополита. «Зря я щадил вас, мятежников! С этого дня буду таким, каким меня нарекает!»

Сказал — как отрезал. «Царское слово тверже гороха...» Назло Филиппу теперь еженощно посылает Иван из Александровской слободы отряды

Грязного, Скуратова, Вяземского в Москву и ее окрестности. Разлетаются в щепы ворота, горят скотные дворы, хлещет людская кровь вперемешку с животной... Туго боярам! Хрипят отцы семейств, воют их жены, обрывается сыновий плач, и криком заходятся дочери... Простому люду тоже не сладко. Не приведи Господь попасться в руки разудалым слугам царя! Голые трупы на улицах лежат неделями, никто не решается хоронить врагов государя. До поздней осени трясется Москва. Сидят взаперти жители, нос лишний раз боясь высунуть. Гадают — не к ним ли следующим в дом начнет ломиться беда... Не их ли смерть с криками и смехом сейчас гарцует по улице...

Против митрополита проводят дознание, учиняют обыски повсюду — и в Новодевичьем, и до Соловецкого монастыря добираются. Ничего не нашли в тайниках монастырских — хоть их все, без утайки, указал настоятель Паисий, едва лишь явился к нему с Волчьим посохом царь.

Привозят соловецкого настоятеля в Москву. Иван собирает духовных, бояр. Перед всеми Паисий призывает Филиппа раскаться и отдать царю колдовские фигурки. Филипп искусно лукавит, отрицает все. Сотрясаясь от гнева, царь накрывает Волка ладонью, сжимает холодную фигурку, и зал наполняется стонами, дрожью, воем — лишь митрополит, бледнее мертвеца, хранит упорство и твердит свое: «От дурного семени плодов счастливых не будет!»

Но верит царь — неспроста эта дерзость Филиппа! Не иначе — колдовской природы, как и прежде у духовных бывало. Да только не отрок уже Иван, а умудренный государь. Поповскому мороку

противостоять сумеет! Для того и сплотил в слободе своих опричных монахов, чтобы отпор дать.

Всем отпор — и клиру, и чернецам, и боярам, их пособникам!

Новые казни, новые озорства опричные. До епископов дотянулись.

Припекло Филиппа — явился к царю для разговора. Сполна насладился Иван, отказав ему в приеме. А снежным морозным утром, в день архистратига Михаила, распахиваются двери Успенского собора, и входят верные слуги Скуратов с Басмановым. Ведут с собой людей при оружии. Алешка обрывает песнопения, громовым басом зачитывает указ о низложении митрополита. Срывают с того одежды, прилежно обыскивают, каждый шов прощупывают. Но хитер оказывается Филька! Нет при нем улики — ни на теле, ни в одежде. Бьют его, осерчав на такое коварство. Одевают в рванину, тащат на паперть. Холодно бренчат заготовленные царскими людьми цепи. Бросают Филиппа на холодный камень. Стучит железо об железо, выглядывают из дверей собора и жмурятся при каждом ударе изумленные прихожане. Закованного Филиппа бросают в дровни и везут по Китай-городу в Богоявленский, где уже ждет его смрадный подвал. Позади, не страшась гнева опричников, бежит чернь — с плачем, криками и мольбой. Не расходится толпа от монастырских стен до самого суда. Костры жгут, ночуют. Смотрят. Тянутся в Москву люди — пошел слух о Филькином чудотворстве. Оковы, мол, с него сами собой упали на третий день...

Злится государь в Кремле. По справедливости бы — пытатель чернеца, да предать смерти. Но тогда

точно уж поклоняться начнут, как великомученику... С глаз долой — из Москвы, в тверской Отроч монастырь, там пусть сидит. Глядишь, одумается...

...Голос игумена разогнал неприятные воспоминания.

— Бог силу человеку придает и хранит его. А все другое — если прибавит, так платить придется такой ценой, что в убытке останешься. Весело вино, да тяжело похмелье.

Иван желчно усмехнулся:

— Складно говоришь, старик. Потому и рыщу волком по вашим обителям — свое забрать желаю. Похмелья бояться — на пиру не веселиться. Это вам, монастырским, мирское без надобности. А сила у нас какая хочешь найдется! Все заберем! Омель-ка! — крикнул царь, перекрывая шум на дворе.

Великан вздрогнул. Беспокойно повертел по сторонам перепачканным кровью лицом, забежал глазами. Подался телом вперед, прислонив огромную ладонь к уху.

По двору пролетели выкрики:

— Тихо!

— Государь зовет!

— Омельянушка, глянь-ка на царя!

— Да поворотись же ты, орясина!

Опричник-богатырь недоверчиво обернулся. За метил на ступенях храма Ивана со свитой и вздрогнул.

— Ишь... — пробормотал недоуменно и потряс головой, болтая красными соплями.

Царь засмеялся:

— Эка ж ты животное! А ну-ка, покажи нам силу настоящую! Тащи сюда «благовестника»!

Взгляды столпившихся на дворе устремились на гладкий темный колокольный бок, видневшийся из-под рухнувшей звонницкой кровли.

Зашелестели голоса:

— Это ж сколько в нем?..

— Сороковник пудов, не меньше...

— Да еще язык в придачу...

— Тут десяток человек нужен, по четыре пуда раскидать на каждого, тогда утащут!..

Васька Грязной воспрял духом, глянул с вызовом на Тимофея:

— Ставь обратно рубль! Надорвет пуп Омелянка!

— А проиграю если? — в сомнение прищурился Багаев и взвесил в руке грязновский кишень.

— Так что ж! — разгорячился Грязной. — Отдашь тогда мое! Не все коту масленица!

Под общий смех, пока Омелян возился с обломками звонницы, раскидывая деревяшки, спорщики ударили по рукам.

— Не волоком чтоб, а от земли поднял! — уточнил Василий, нервно покусывая кончик усов.

— Это само собой, — согласился Тимофей, посмеиваясь.

— И пронес чтобы шагов десять, не меньше! — добавил Грязной на всякий случай, видя, с какой легкостью дурачок ворочает бревна.

Багаев, потешаясь, закивал:

— Ты еще попроси, чтоб колокол в одной руке держал, а другой за язык дергал, да псалмы распевал!

Вытянув из-за пояса топор, Тимофей подошел к согнувшемуся Омеляну. Неловкими пальцами тот пытался поддеть широкие кожаные ремни, крепившие колокол к толстой балке.

— Дозволь, Омелянушка, подсобить!

Багаев наклонился и несколькими сильными ударами перерубил привязь. Зачерпнул пригоршню снега, растер ее по лицу великана.

— Дай-ка умою тебя... к царю ведь пойдешь...

Омельян скосил глаза к церкви.

— Ишь...

Тимофей кивнул:

— Вот тебе и «ишь». Не посрами! Дотащишь — я тебе куль пряников поднесу. Любишь ведь прянички-то?

Толстые губы Омельяна зашевелились в бороде, с трудом вышлепывая слова:

— Пянички... нимоловые...

Багаев хлопнул его по плечу:

— Будут тебе лимоновые! Какие пожелаешь. Только не подведи, родимый!

Улыбающийся Омельян, не обращая больше внимания на Тимофея, сунул пальцы обеих рук в колокольное ухо. Широко расставил могучие ноги. Топнул каблуками, вбивая их в промерзшую землю. Закинул голову и потянул широкими ноздрями воздух. Напрягся всем телом. Разом вздулись жилы на его руках и шее. Побагровело лицо, и закатились глаза. Взревав дико, страшно, Омельян распрямился во весь немалый рост, не выпуская колокола из рук. Металл врезался, утонул краями в мгновенно побелевших пальцах.

Толпа ахнула и заулюлюкала, засвистела.

Царь пристукнул посохом, смеясь и горделиво поглядывая на игумена.

Тот стоял с отрешенным видом, едва заметно шевеля посеревшими губами.

— С такими молодцами горы сверну! — подмигнул Иван старику. — А уж у вас по бревнышку все раскатаю!

Омельян, скаля зубы — желтым частоколом они проглядывали сквозь лохматую бороду, — сделал шаг. Другой. Колокол низко плыл над грязным снегом, едва не задевая краями мерзлые комья. Язык тяжело волочился, оставляя борозду, по которой следом ползла толстая, потемневшая от времени веревка.

Грязной, напряженно следивший за происходящим, встрепенулся:

— Не до конца поднял!

Но его тут же остудили укоризненные окрики:

— Не юли, Васятка!

— Уговору про язык не было!

— Готовь еще кишень!

Шаг за шагом, багровея все больше, преодолел Омельян монастырский двор. Тех связанных, что лежали на его пути, заранее оттащили.

Когда до церковных ступеней осталось всего ничего, зрители начали подбодрять силача, хлопая и выкрикивая, сколько шагов осталось:

— Пять... четыре... три...

Омельян остановился. Колокол сгибал его своей тяжестью. Опричник выгнул спину, захрипел и сделал еще шаг.

— Два! — ухнула толпа.

Качнувшись, он осилил остаток пути одним рывком. Расцепил пальцы и едва успел убрать ноги — колокол рухнул всем ободом возле нижней ступени.

— Гойда! — выкрикнул царь,

Ответным воплем громыхнули выраженные в черное слуги:

— Гойда!

Омельян шумно дышал, мутными глазами обводя стоявших перед ним.

Иван повернулся в игумену.

— Колокола заберу себе. Вам ни к чему они, одну хулу вызванивать умеете. Разве что на прощанье позволю тебе...

Он сошел вниз, наклонился, похлопал стылый металл.

— А что, Омелюшка, — ласково обратился Иван к силачу, дыхание которого унялось и с лица уже сходили сине-багровые пятна. — А поднять повыше и подержать, для отца настоятеля, сможешь ли?

Обомлев от того, что с ним ведет разговор сам государь, тот наклонил по-собачьи голову и будто задумался. Но не было мысли в его глубоко посаженных глазах, одна бездумная муть колыхалась.

Неожиданно игумен подал голос:

— Вели, государь, своим слугам отпустить меня. Стар я и покалечен в придачу. Не убегу и вреда никому из вас не причиню. Хочу ближе этого твоего Самсона разглядеть.

Царь хмыкнул, кивнул и дал знак освободить руки монаха.

Хромая, взмахивая при каждом шаге руками, настоятель спустился со ступеней и подошел к застывшему исполину. Запрокинул голову, всматриваясь в его лицо.

Омельян беспокойно затоптался, поежился и склонился к старику, удивленно пробасив:

— Ишь...

Никто, кроме самих опричников — да и то далеко не все, — не осмеливался так близко подходить к Омельяну Иванову. Разве что по незнанию или глупости, как минувшей осенью двое молодых, из недавно набранных, Егорка Анисимов да Илюшка Пономарь. Напились вина да вздумали потешаться

над тугоумным и с виду медлительным Омелькой. Придумали его, спящего, по лбу винным ковшом ударять и под лавку, на которой он спал, прятаться. Проснулся Омелька — нет никого. Почесал лбище, пожал плечами да уснул снова. Второй раз проснулся, ощупал голову, пробубнил свое неизменное «ишь» и опять захрапел. А на третий раз, не вставая с лавки, запустил под нее руки, ухватил в каждую по шутнику. Поднял над собой да ударил их головами друг о дружку. Отбросил подальше бездыханных и лег спать до утра, безмятежный. Царь, узнав о проступке, долго смеялся. Запретил Иванова наказывать, а на другой день из караульного полка в Малютин отряд перевел. Лошадь ему лично выхлопотал через посольских — французскую, особо крупной породы, мохноногую тяжеловозку. В летучий грязновский отряд Омельян не годился, а вот обстоятельным скуратовским молодцам впору новобранец пришелся, кулаком вышибавший тесовые двери.

Иван, наряду со всей опричной братией, с любопытством наблюдал за смотревшими друг на друга настоятелем и Омельяном.

Игумен не дрогнул под тяжелым взглядом опричника.

— Как же тебя так, несчастный? — спросил он тихим голосом, неотрывно глядя в глаза малоумного.

Омельян нервно фыркнул, подрагивая крыльями носа. Заурчал в бороду — негромко, но с оттенком угрозы.

Игумен успокаивающе кивнул:

— Ничего, дитя мое, ничего... Делай, что велят.

Потеряв терпение, Иван прикрикнул:

— Довольно любоваться друг дружкой! Ну, Омеля, покажи, на что способен!

Польщенный царским вниманием опричник мотнул башкой и принялся шевелить запухшими пальцами, готовясь к новой потехе.

Настоятель обвел взглядом связанную притихшую братию и громко, как мог, сказал лишь:

— Молитесь со мной!

Посмотрев на вновь схватившегося за колокольное ухо Омеляна, перекрестился.

— Мученик твой, Господи... во страдании своем венец нетленный... крепость твою... мучителей низложи... сокруши и демонов немощныя дерзости...

Под рык опричника и гул монашеских голосов колокол дрогнул, оторвался от земли.

Из-под ногтей Омеляна брызнула кровь. Выгнув спину дугой, он тянул кверху медное тело «благовестника». Колокол потряхивало, краем он бился о колени поднимавшего. Не обращая внимания на боль, Омелян тянул. Из носа его снова хлынула кровь, заливая залохмаченный бородой рот. Рык сменился на громкое бульканье и сопение.

— Уронит... — по-бабьи ойкнул кто-то в толпе.

На него цыкнули, сбили оплеухой шапку.

Отплевываясь красным, Омелян рванул колокол и подтолкнул его коленом. Едва удержался на ногах — все тело его повело вперед, вслед за тяжелой ношей. Но устоял и выпрямился.

Игумен, возле которого опасно ворочался колокольный бок, не отступил.

Будто пушечный залп дернул воздух — грохнул единый ликующий вопль:

— Гойда!

Надсадно сипя, Омелян держал «благовестника» перед собой. Колокол висел в его руках как на балке.

— Звони! — приказал царь настоятелю.

Старик скорым шепотом дочитал молитву. Перекрестил тусклую медь и багрового опричника. Взялся за веревку. Качнул язык, разгоняя.

— Исцели его, Господи...

Бо-ом-м-м! — густым одиночным звоном наполнился воздух.

Горло Омеляна заклокотало, будто вода закипела в груди, грозя излиться наружу. Второй удар колокольного языка заставил великана содрогнуться. На мгновение взгляд его прояснился, слетела мутная пелена, в глазах отразились боль и растерянность.

Бо-ом-м-м! — еще раз успел отзываться колокол в ослабевших руках опричника, прежде чем тот выпустил его и завалился на спину.

Толпа охнула — словно ветер пронесся по двору.

Ивана и стоявшего рядом с ним Малюту обдало горячими кровавыми брызгами. Царь успел прикрыться рукавом, Скуратову же перепачкало все лицо.

Иван опустил локоть и разразился смехом.

Встрепенулась, загомонила опричная братия. Полыхнула гоготом.

— Жив ли Омелька? — полюбопытствовал хохотавший царь, вытирая рукав о чье-то плечо.

К упавшему великану подскочил Тимофей Багаев.

— Жив! — облегчено крикнул. — Не зашибло! Сморился от перетуги!

Склонясь над ступенями и чертыхаясь, Скуратов стряхивал с бороды студенистые капли.

— Тимоха, дери тебя леший! Ты что ж одежду государя испакостил? И меня мозгами забрызгал!..

— Да не я! — откликнулся опричник. — Колдун вот, напоследок, видать...

Багаев шагнул обратно, к исходящему смертной дрожью настоятелю. Голова старика была развалена надвое. Опричник взглянул на свой топор. Ногнулся, ухватил потрепанную полу игуменской однорядки, отер с лезвия налипшие седые пряди.

— Гляжу — ворожит! — пояснил он государю. Глаза его возбужденно блеснули. — На Омельянушку нашего морок наводит, того аж перекосило всего...

Иван усмехнулся и кивнул.

Воодушевленный царской благосклонностью, Тимофей пояснил:

— А ну как переметнется он в богомольцы? Полагает, что и впрямь над ним чудо сотворилось... А мы богатыря такого лишимся!

Опричник неожиданно осекся, почувствовав, как на его плечо легла чья-то рука.

Обернулся.

— Дурак ты, Тимоха! «Поду-у-мает»! — передразнил озлобленный новым проигрышем Грязной. — Чего он «подумает», если ему думать-то нечем?..

Васька с размаху впечатал в ладонь Багаева новый кишень. Отошел, раздраженно хрустя снегом.

Царь добродушно рассмеялся вслед незадачливому спорщику. Малюта охотно поддержал, потряхивая животом. Покатывались и остальные.

Тимофей спрятал деньги в кафтан. Поклонился Ивану:

— Молю тебя, государь, не сердчай на преданного слугу своего!

Смех на дворе затих. Все с любопытством смотрели на царя и замершего опричника.

Иван потрепал влажный ворс своей шубы. Поднес пальцы к лицу, словно принимаясь.

— Возможно ли муху убить на дерьме, да рук не запачкать?

Одобрив государевы слова, загудела толпа.

Облегченно выдохнул Тимофей Багаев.

Царь ткнул в сторону пленных монахов вымазанным в крови пальцем:

— Отделать всех, без остатку!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

БЕСЕДА

Едва отъехали от монастыря, как пошел легкий снежок — под тусклым утренним светом опустились невесомые хлопья, ложились на шапки и плечи всадников, застревали в черных гривах коней. Падали они и на рогожи, которыми возницы укрыли монастырское добро. На нескольких санях волокли награбленное. Иконы, лампы, чаши, перевязь церковных книг, ризы, монастырская казна. Оставленными царем простецкими пошевнями горделиво правил Егорка Жигулин. Позади него на возу возвышались «благовестник» и пара малых колоколов, снятые могучим Омельяном с монастырской звонницы. В других санях горой высились монастырские съестные припасы — отделанным чернецам они уже были без надобности.

К обозным саням прибавился неширокий игуменский возок, выкрашенный в черный цвет, — в нем укрылись от ветра царь Иван и неразлучный с ним Малюта.

Рядом качался в седле хмурый против обыкновения Васька Грязной. Опричник покусывал конец уса и размышлял о чем-то. Даже песьей башкой не забавлялся, та болталась возле седла — точно случайно зацепившаяся вещь. Не проигрыш Тимошке Багаеву печалил вечно бесшабашного царского

собутельника. Глубокие тени легли на его обычно самодовольное и озорное лицо. Малютин конь, без седока, шел вслед за возком. Лихие всадники из грязновской сотни, замыкавшие царский отряд, то и дело оборачивались к вершине холма. Лица их были стылы, глаза бессмысленны, как у до смерти опившихся вином.

За спинами опричного войска в безмолвии застыл разоренный монастырь. Распахнутым ртом чернели выломанные ворота. Неподалеку от частокола, на длинной ветви старого вяза, неподвижно висело несколько тел. Вывернув шеи и высунув сизые языки, покойники смотрели вслед царскому отряду. Натекшие под казненными нечистоты прихватило морозом. Снежинки присыпали волосы, плечи и бороды мертвецов.

Бледный и безмолвный, сам похожий на усопшего, сидел внутри возка царь Иван. Сжав посох, блуждал опустошенным взглядом поверх головы своего «верного пса». А тот ерзал широким задом по неудобной скамейке, стараясь не задеть государя коленями.

— Чисто жердь куриная... — недовольно бурчал царский охранник, пристраиваясь поудобнее.

Иван словно очнулся. Весь подобрался, насутился.

— Не к удобствам земным чернецы стремятся, но к спасению! — строго и назидательно произнес он. — О душе, Малюта, о ней надо думать, не о телесном благе!

Скуратов перестал возиться. Пожал плечами:

— Может, и нужно, государь. Но я — в первую очередь о твоём благе думаю. Как уберечь и чем

помочь. А душа моя — в твоём распоряжении. Твоя воля над ней. Вон чернецы... И над ними твоя воля свершилась. Значит, так Богу угодно было.

— Занятно говоришь...

Глаза государя часто заморгали и увлажнились. Казалось, он вот-вот заплачет. Но, внезапно схватив Малюту за рванный ворот, царь притянул его к себе, так что бороды их переплелись, и зашептал, обдавая горячим нечистым дыханием:

— Я ведь, Григорий, сам наполовину чернец! Оттого и тяжело, что другой-то половиной я — царь! Людишкам велика ли печаль — их великий князь судит судом своим! А кто меня осудить может? Никто, кроме Всевышнего! Хоть моих беззаконий числом больше, чем песка в море, а все же надеюсь на милость благоутробия Божьего! Верю — может Бог пучиною милости своей потопить все мои дела неправедные! Верю и уповаю на это!

Возок, поскрипывая полозьями по молодому снегу, мерно покачивался.

Приглушенно доносилось лошадиное фыркание, бряцанье сбруй, негромкая переключка царских слуг.

Крепко вцепившись в замершего Скуратова, Иван продолжал яростно шептать:

— Курбский, вор и собака, меня душегубом кличет... Убийцей зовет! Да разве я тать лесной? Разве грабитель? Беру лишь мне надлежащее! Государь злодеем и разбойником быть не может — он самим Богом на власть поставлен! А вот грешным царь бывает, ибо хоть и правит по Божьему соизволению, а все же человеком остается! И я, Гришенька, грешен! На Страшном Суде мне за все отвечать, да поболее, чем другим, — ибо царь! А ведь я знаешь о чем мечтаю порой?

Иван, не выпуская ворот ошеломленного Малюты, другой рукой зажал ему рот.

— Молчи, молчи-и-и... Пес! — зашипел, поводя белками глаз. — Откуда ты знать можешь... А я тебе скажу, не побоюсь насмешек над собой! Всю жизнь у окошка бы сидел, книги читал, каноны сочинял да Настасьиной вышивкой любовался... Вот что мне, человеку, только и надобно было! Но извели и супругу мою, и кротость мою погубили! А вдобавок и страну разорить возжелали. По частям разодрать, своими же руками куски посочнее к пасти врагов и губителей поднести! «Ешьте Московское царство, сколько влезет в вас!» — кричат и кланяются. Все только затем, чтобы жить себе всласть, пусть и в холуях у королей голоногих...

Отлепив ладонь ото рта слуги, Иван горестно хмыкнул.

— Чего же ждут они от меня? На что надеются?.. Церковная власть о душе печется, а царская — о стране. Царской власти подобает каждого в страхе держать и запрещении. Иначе чем обуздать безумие злейших людей, коварных губителей? Чем?!

— Смертью и обуздать, государь! — не задумываясь, ответил Малюта. — Смерть — она ведь лучший страх для людишек.

Ерзать по скамье возка он давно перестал, весь превратившись в слух — не столько из интереса, сколь из холопского своего усердия, понимая, что Ивану нужен слушатель.

Хоть и пугаясь царского порыва, втайне Скуратов ликовал — не перед Алешкой Басмановым горячился словами государь, не у боярина-воеводы заносчивого пытал совета, а у него, простого, незнатного, но преданного слуги.

— Смерть разве страшна? — холодно удивился царь, выпустив ворот Малютиного кафтана и отстраняясь.

Скуратов растерялся:

— На миру, может, и нет...

Иван привалился к стенке и устало покачал головой, дав понять — не об этом он говорил.

Хотя игуменский возок был без печурки и внутри было немногим теплее, чем снаружи, Малюту кинуло в пот. Одно дело — царские речи слушать, знай кивай да поддакивай. А другое — в них собеседником быть, когда найдет такая блажь на государя. Да разве холопье это дело — с царем на равных языком-то... Уж лучше бы тогда Басманова государь усадил с собой, разговоры духовные вести... А Малютино дело и есть маленькое — хозяину верно служить да беречь его.

Иван вдруг пнул Скуратова по голенищу и выжидательно поднял бровь.

— За тебя, государь, мне смерть не страшна — лишь желанна! — попробовал вывернуть разговор царский охранник. — Да и всем слугам твоим!

Царь ухмыльнулся и снова покачал головой.

— Вот видишь... Выходит, Григорий Лукьяныч, нет у тебя страха смерти?

Малюта озадаченно почесал бороду. Кивнув, развел руки, насколько позволяла теснота монашья его возка, и согласился.

— Выходит, что нету.

— И людишки, которые в твоём распоряжении, тоже, говоришь, не робеют? — В глазах государя мелькнул огонек интереса.

— Каждого лично проверял на верность тебе, неоднократно! За любого головой отвечаю, государь! —

клятвенно прижал руку к широкой груди Малюта. — Все за тебя готовы смерть принять!

Иван кивнул, словно в раздумье.

— Ну а скажи-ка мне... Вот чернецы, которых мы навестили... Они, по твоему разумению, — убоялись ли?

Царь испытующе посмотрел на своего любимца.

Малюта озадачился еще сильнее. Набычился, засопел, широкими ладонями принялся растирать укрытые овчиной ляжки. Взглянул на Ивана с опаской и буркнул:

— Как на духу скажу, государь, а ты уж решай потом. Хочешь — прибей за правду.

— Говори! У верного слуги и слова верные. Тебе если не буду доверять, Гриша, то кому же тогда? Ведь не Ваське-шуту...

Скуратову удалось утаить в бороде довольную ухмылку. Воспрянув от проявленной царской милости и доверия, он заговорил:

— Страх перед ножом или саблей у чернецов маловато. Им что тут жизнь, что там... — Малюта неопределенно дернул головой. — Монастырские от жизни мирской уходят, а от смерти не бегут.

Иван внимательно слушал.

— И человек простой, хоть и трепещет перед смертью, но не более, чем овца под ножом, — доверительно поделился Скуратов с государем. — Боли он боится, мук сильно страшится... А саму смерть понять человеку трудно. Вот он живой еще, кричит, шевелится — так значит, нету еще смерти никакой. И вот пришла она к нему — глянь, а теперь самого человека-то уже и нет... Лукьян Афанасьевич мой, царство ему небесное, умирал когда, так я по юной слабости — заплакал. Схватил родителя

за руку — едва теплая, одна кость — и кричу: «Страшно ли, батюшка?»

— А он? — с любопытством спросил Иван, оживленно сверкая глазами.

Скуратов вздохнул и перекрестился:

— А он мне ответил: «Дело это скучное. Лег под образа да выпучил глаза!» С тем и помер.

Царь захохотал и гулко затопал ногами по днищу возка.

Движение остановилось. Раздались встревоженные крики.

Иван приоткрыл дверцу, увидел соскочившего с коня Грязнова.

— Едем, едем! — сквозь хохот крикнул он, отталкивая Ваську в сторону.

Сухо щелкнул кнут. Снова заскрипели полозья

Отсмеявшись, царь торжествующе потряс пальцем и воскликнул:

— Вот видишь, дурак ты этакий! Не страшится народ смерти-то... Другой у него страх!

Дверца возка оставалась открытой. Малюта потянулся было к ручке, но Иван, помрачнев, пробурчал:

— Пшел вон. Один желаю побыть.

Скуратов послушно кувыркнулся всем грузным телом из возка, едва не угодив под копыта грязновского коня.

Царь захлопнул дверцу. Нахохлился, как старая больная птица. Минувшую ночь провел без сна, простоял до утра в холодной монастырской церквушке на коленях. Теперь казалось, будто с них обглодана кожа и раны залепил горячий песок. Спину тоже нещадно ломило, не помешали бы сейчас согревательные притирки Арнульфа.

Иван пожалел, что отправил англичанина с войсковым обозом в Клин. Что делать лекарю в городе, судьба которого — повторить участь Номвы... Как Саул истребил иудейских священников и нечестивый город их, так и российский самодержец в праведном гневе не знает милости к изменникам.

Невзирая на воспаленные глаза и ломоту в теле, ум царя этим утром был ясен. На свободную от Малютиного зада лавку Иван пристроил посох. Разглядывая отливавшего серебром Волка, испытал горделивую радость — как ни подмывало возложить ладонь на фигурку при вчерашнем набеге на лесную обитель, но сумел усмирить ненужный кураж! Негоже растрачивать силы! Довольно того, что испытал силу посоха на деревенских холопах. Волчий дар по-прежнему подвластен ему. А уж с этой-то силой добраться и заполучить главный секрет чернецов — дело времени.

Иван поежился и прикрыл глаза.

Маленькая фигурка птицы. Созданная неведомыми чародеями из того же удивительного металла, что и Медведь с Волком. И хотя держать в руках Орла пока не приходилось, образ его был известен царю до мельчайших деталей.

Мысли о серебристых «зверушках» невольно оживили в памяти Ивана тот страшный день, когда едва удалось усмирить бунтовщиков-погорельцев. И когда позвал на беседу неробеющего перед ним иерея с удивительными — разноцветными — глазами...

...Шли они молча крытыми переходами, минуя палаты.

Иван, не оглядываясь, вел Сильвестра за собой. Шаги его были широки, походка стремительна — как совсем недавно, когда он спешил к зверинцу. Сухопарый старик не отставал — сохраняя достоинство, поспевал за молодым царем, бросая суровые взгляды по сторонам. В руках он по-прежнему сжимал Писание в потертом кожаном переплете с крупной медной застежкой.

Почти вбежали в домовую церковь. Без лишних слов Иван опустился перед иконостасом. Зашептал молитвы, истово крестясь. Сильвестр, сколько ни прислушивался, не смог разобрать ни слова, поэтому встал на колени рядом с Иваном, тихо произнес молитву и выжидательно замер.

Шепот то становился громче, то делался почти неслышным. Несколько раз царь вскакивал, подбегал вплотную к иконам, вглядывался в них пристально, словно хотел отыскать какую-то мельчайшую, но важную деталь. Затем торопливо отступал на пару шагов и вновь падал на колени, непонятно шепча. Порой Сильвестру казалось, что царь вовсе и не молится, а о чем-то яростно спорит с видимым лишь ему одному собеседником.

Неожиданно Иван склонил голову, уставился в пол и замолчал. В полумраке Сильвестру все же удалось разглядеть — царь косится на него и явно ожидает беседы.

— Покаялся? — скорее чтобы убедить самого себя, спросил Сильвестр.

Иван едва заметно кивнул.

Сильвестр раскрыл свою книгу. Напрягая глаза, искал нужные строки.

— «Сотворите же достойный плод покаяния», — зачитал старик молодому царю и, заложив страницы пальцем, прикрыл Писание.

— Примет ли Господь мои слова? — робко спросил Иван, не вставая с колен.

Сильвестр, поглаживая кожаный переплет, внимательно взглянул на царя:

— Не пустыми словами, но угодными делами согрешивший подкрепляет свое раскаяние.

— Что же ты предлагаешь? — озадаченно спросил Иван. — Говори ясней!

Сильвестр стиснул книгу и решительно произнес:

— Покаялся перед Богом, покаяйся и перед людьми. За кровь проси прощения. За то, что править начал не по государеву положению. За скоморошество свое...

Иван было вскинулся на очередную дерзость иерея, но, встретив взгляд Сильвестра, потупил голову — так напугал его взор старика. Не показалось, значит, там, на крыльце. Диковинный взгляд не исчез. Иван вновь принялся креститься.

— Не отдаляйся от народа, — продолжал Сильвестр. — Не лей понапрасну кровь, не истребляй людей! Наоборот, приблизься к подданным. Вникай в их заботы. Объяви, что отныне будешь принимать челобитные от любого, у кого возникла нужда. Определи, кто этим займется, под твоим контролем, чтобы докладывали тебе обо всем. Попроси прощения за былые грехи.

— Да что ты говоришь такое... — возразил Иван, но голос его прозвучал неожиданно вяло. — Я же царь! Напомнить тебе?.. Царь, а не дьяк какой-нибудь. Хоть боярин, хоть смерд последний — все

передо мной трепет потеряют. Посмешищем стану, если твоим наущениям следовать начну.

Сильвестр нахмурился и потряс перед собой Писанием:

— И мне позволь напомнить тебе. Да, ты — царь. Неужто позабыл, что это означает? Ведь царь — наместник Бога на земле. Недаром ты помазание святым миром получил. Вдумайся: ты единственный на земле, над кем Святая Церковь совершила миропомазание дважды. Потому что признаёт она благодатные дарования тебе для нелегкого царского служения. И править царь обязан по Божьим заветам. А они ясны: царь обязан беречь народ, как Бог бережет нас всех!

Иван вдруг почувствовал, как навалилась на него дремота. Видимо, сказалось напряжение дня... Разум словно барахтался в тине звучащих слов. Голос Сильвестра лился ровным звуком, будто талая вода журчала, наполняя собой полутемную домовую церковь. На миг Ивану пригрезилось, точно и впрямь он оказался в воде — она подхватывает его, качает, кружит, несет куда-то... Заплясали лампадные огоньки, изогнулись волнами дворцовые стены, поднялся с престола и медленно проплыл под потолком желтый атласный антиминс, превратившись в диковинную золотую рыбу... Голос иерея зазвучал глуше, словно ушел Иван под воду с головой и оттуда едва слышит... Захотелось взмахнуть руками, вынырнуть.

Почувствовав, что и впрямь засыпает, Иван сделал над собой усилие, встрепенулся:

— Будет ли у народа страх передо мной, как перед Господом? Ведь сказано в притчах Соломоновых: «Страх Божий прибавляет дней, лета же

нечестивых сократятся». Не унизительно ли царю с простым человеком якшаться?

По-прежнему не выпуская Писания из рук, Сильвестр неодобрительно сдвинул брови:

— Святейший митрополит византийский Григорий говорил так: «Начало душевной чистоты есть страх Божий, он преображается в любовь и мучительность молитвы, превращается в сладость». Спаситель учит нас: «Да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга».

Иван нехорошо рассмеялся:

— Не от любви ли этой великой они ворвались сегодня сюда? Да кабы не нагнал на них страху, не образумил — не при лампадном огоньке сейчас беседу бы вели, а сгнули в пожаре. Всех бы побили, все пожгли. Разве нет?

— Не о том думаешь. Не о том заботишься, — вздохнул Сильвестр. — Народу страх присущ всегда. Но страх страху рознь. Сегодня ты вызывал в них страх звериный, дикий. Нечестивый страх. Кровь пролил...

— Бог наказывает, — упрямылся Иван. — Разве царю такого права не передает, как наместнику своему?

— Ты совсем молод, государь. У тебя молодая жена Анастасия, дочь окольного. Знаю, многим боярам не по нраву, что ты ее выбрал.

Что верно, то верно, старик резал правду-матку по живому. Верный Адашев разузнал и передал Ивану многие слова боярские. Больше всех отличился Семен Лобанов. «Нас всех государь не жалует! — возмущался дерзкий князь. — Бесчестит людей великих родов! К себе худородный молодняк приближает, а нас, именитых теснит. Для того и женился,

чтоб нас еще больше притеснить, — у боярина своего дочь взял. Как нам служить сестре своей?»

Иван вспыхнул:

— Какое дело тебе до моей жены? К чему клоунишь?

Сильвестр примирительно поднял ладонь. Дело ему было самое что ни на есть важное. В считанные недели после женитьбы Иван значительно присмирел. Выгнал распутных девок из дворца, отдалился от дворян-пьянчуг, запретил распевать срамные песни и чинить жестокие развлечения. Прилежно усмирал свой нрав, особенно при жене. Молодой царь делал робкие, но верные шаги к государственному правлению, начал прислушиваться к мудрому Адашеву, теперь вот настает черед Сильвестра... Все бы хорошо, если бы не нынешняя царская выходка. Царь по-прежнему юн, необуздан, вспыльчив. И как знать, быть может, именно от Сильвестра зависит, по какому пути пойдет Иван дальше.

Иерей, сменяя суровое выражение лица на кроткое и заботливое, продолжил:

— Родится у тебя наследник от любимой своей жены. Будешь ли рад?

— Что спрашиваешь очевидное...

— А будет твой наследник поначалу кричать и пачкать пеленки свои — неужели начнешь карать за это, да со всей строгостью?

Иван недоуменно взглянул на старика.

— Вот и народ такой же, — пояснил иерей. — Все равно что неразумный младенец. Кричит, озорничает, да разве в том его вина?

— А чья же? — Слово «вина» задело струну в душе царя, все нутро его напряглось и задрожало. — Чья, говори, не темни!

Сильвестр трижды перекрестился на Богородицу. Прижал Писание к груди и заговорил:

— Вина всегда в тех, кто неразумных на несправедные дела подталкивает. Если ты правишь по Заветам Божьим, неужто народ осмелится против тебя пойти? Народ наш как раз в страхе Божьем живет. Есть лишь одна сила, что его смутить может, подучить всякому. Что запросто вертеть Божьим словом умеет, как выгодней будет. Слышал я, что к Шуйским и митрополит примкнул, на бунт простолюдинов подбивал.

— Лжешь, старик! Макарий меня миром помазал, он денно и нощно молится за меня!

Сильвестр усмехнулся:

— Церковникам не впервой молиться то за одно, то за другое. Надо будет — и за ханов татарских молиться будут, за их благоденствие, как встарь молились. На все пойдут, лишь бы стяжать побольше.

— Да ты в своем ли уме, старик? Ты же сам церковник!

— Кому же еще говорить, как не мне. Я изнутри знаю, что в церкви творится. Скажу тебе, государь, — хорошего мало происходит. Погрязли служители в стяжательстве. Обособились. Ни ты, ни Дума им не указ. Собственный суд завели. Пошлины с них никакой, о доходах отчетности тоже нет. Виданное ли дело — тому же Макарию в пятнадцати епархиях земля принадлежит, и не маленькая. Да что там! Доход митрополита ежегодный тысячи на три, а то и четыре потянет.

— Не бедно живет... — задумчиво хмыкнул Иван.

— Смотря с кем сравнить, — продолжил Сильвестр. — Если с новгородским архиепископом, то

Макарий в прозябании дни влачит, концы с концами едва сводит. А у новгородского — десять тысяч рублей в год выходит, порой и больше. Скажу еще, и другие епископства хоть до новгородских роскошью не дотягиваются, но тоже не бедствуют. Монастыри загребли себе земли — не одна тьма десятин. Прибавь туда и мужичья, что им земли обрабатывает, это шестьсот тысяч душ, самое малое. А живут все в нищете, не в пример монашеству...

Иван пожал плечами:

— Так что предлагаешь — изводить чернецов? Митрополичий клир прижать? Рубить, как змее, голову?

Сильвестр улыбнулся. Разноцветные глаза его повеселели.

— Не так горячо, государь. Прежде всего — границь, руби права церковников. Урежь их самостоятельность. Собери Собор. Пусть на нем осудят церковное стяжательство. Пусть вернут духовенство к изначальным задачам и заботам.

Иван посмотрел на пляшущий огонек перед образами. На миг ему померещилось, что лампада принялась раскачиваться сама по себе. Пол под ногами шевельнулся, словно живой. Иван, сдерживая тошноту, нахмурился — так не вовремя случился с ним недуг, посреди столь важной беседы!

— Скажи, старик... — слабо начал Иван, но собрал силы и продолжил тверже: — Ведь если тебя послушать мне и поступить по твоему наущению... Неужели не ополчатся на меня все скопом? И чернецы, и бельцы, и бояре, да еще смердов в придачу взбаламутят — они, как я вижу, в этом мастера большие. В какую опасность себя ввергну и трон свой? Правду скажи — ведь ополчатся?

Иван требовательно схватил иерея за рукав. Сильвестр, помолчав, кивнул и накрыл пальцы царя своей ладонью:

— Да, царь. Ополчатся. Потому что своими действиями, праведными и спасительными, потревожишь их нутряную суть — алчную, себялюбивую. Но тебе ли, венценосному, робеть перед хищными стяжателями? Не в тебе ли сила, власть и благодать свыше?

Иван высвободил руку и перекрестился:

— Во мне! Во мне сила!

Рука показалась Ивану необычно тяжелой, будто затекла со сна и едва слушалась.

Сильвестр продолжил:

— У монастырей забори непомерные владения. Надели землей этой дворян — твою опору государственную. Привлекай дворян к военной и иной, по способностям, службе. Церковники тебе будут сопротивляться, тут тебе дворяне справиться помогут.

— Ну а сам ты — что хочешь? Твой интерес во всем этом каков? — спросил Иван, снова борясь с приступом то ли дурноты, то ли сонливости. — На какое место метишь?

Сильвестр задумался. Пожевал губами, поглядывая на Библию в своих руках.

— Отдай мне Медведя, — неожиданно сказал он, переведя взгляд на Ивана. — Не по годам тебе эта забава.

— Что? — Ивану показалось, он ослышался. — Думаешь, погоню тебя из настоятелей, в скоморохи записаться решил? С Еремой тебе разве совладать...

Укоризненно покачав головой, Сильвестр перекрестился:

— Места мне никакого не надо. Был настоятелем церкви Благовещенья, им и оставаться намерен.

Тварь эту, Ерему, лучше бы тебе умертвить. Него же вкусившего человеческой крови зверя на дворе держать. Да и не про него речь. Ты знаешь, о каком Медведе говорю. Дай его мне на хранение. Вещь эта — твоего отца, Василия Ивановича. Права на нее у меня нет. Но отец твой использовал предмет не для казней. Ради доблестной охоты, когда забавлялся, и для дел государственных, если было нужно.

— Откуда тебе известно про Медведя? — с подозрением спросил Иван старика. — Кто донес?

Глаза Сильвестра насмешливо заблестели.

— Мне ли не знать про такое! Это от тебя, государь, вещицы долгое время скрывались. Многим, очень многим не хотелось, чтобы ты прикоснулся к тайне *серебра*.

— Расскажи! — потребовал Иван, вскочив на ноги. — Все, что известно тебе, — без утайки!

Иерей коротко рассмеялся.

— Не горячись, государь. Расскажу. И даже больше — покажу кое-что. Но не сегодня.

— Когда же? — вскричал Иван, чувствуя, как вновь закипает сердце. — Чего тянешь?!

Сильвестр поднялся с колен и пристально посмотрел на побелевшего от гнева царя.

— Завтра, в это же время, жду тебя тут, — строго сказал иерей. — А сейчас помолись и поспеши упокоить молодую жену. Обрадуй ее, что беда миновала.

— Хорошо, — неожиданно согласился Иван, ладонями растирая щеки. — Может, ты и прав. Умался сильно. Тело точно чужое, и голову кружит. Ступай, а я еще помолюсь.

— Медведя! — напомнил ему Сильвестр. — Отдай мне на хранение. Сегодня он тебе уже не понадобится.

Иван пожал плечами. Запустил руку в карман, достал металлическую фигурку. Протянул иерее. Тот осторожно принял вещь в свою ладонь и быстро спрятал за пазухой.

— Жду тебя завтра! — сухо обронил Сильвестр, покидая домовую церковь царя.

Иван снова опустился перед образами. Молился долго, усердно, пока не сошла непонятная слабость и не очистился ум. Воодушевленный действенной молитвой, Иван, сияя лицом, направился к Анастасии, полный решимости рассказать в подробностях о тяжком сегодняшнем дне. Но чем ближе подходил он к покоям молодой царицы, тем дальше казались ему все заботы и тревоги, тем желаннее становилось совсем другое. Там, в покоях, ждала его Настенька — тонкая, нежная, хрупкая, словно восковая свеча...

Ворвался к царице — стремительный, горячий. Подхватил ее на руки, закружил. Анастасия вскрикнула, обхватила его шею, заглядывая в глаза.

— Все обошлось, Настенька, — неся жену на руках к постели, улыбнулся Иван. — Теперь все хорошо будет.

— Вижу, — счастливо засмеялась она. — По глазам твоим вижу.

— Да ну? — удивился.

— Конечно. Снова твои, как прежде.

Иван остановился в шаге от кровати.

— А были какие?

Анастасия прижалась головой к его плечу и прошептала:

— А были чужие. Разного цвета, холодные такие. За тебя молилась все это время.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МЕДВЕДЬ

Ночь была светлой и жаркой.

Лишь под утро Иван выпустил жену из объятий. Утомленная Анастасия заснула быстро. Приподнявшись на локте, он в рассветных сумерках разглядывал ее милые черты, осторожно, едва касаясь, проводил пальцем по гладкой коже. Прислушивался к ровному и тихому дыханию. Улыбался. В сердце будто переливались золотые песчинки.

Но недолго длились счастливые минуты царской неги. Угасала радостная пляска души. Смелаясь круговертью картинок минувшего дня — злобные крики, море черных ртов, грязные руки с дубьем и ножами, медвежьи когти в человеческой требухе и повсюду — кровь на пыльной земле. Страх до обрыва сердца и холода в костях.

Иван накрыл плечо жены расшитым атласным одеялом. Сел, свесил ноги с ложа. Сгорбился, словно старик, уронил руки и понурился.

Чем больше светлели окна в царской спальне, тем тусклее становилось на душе.

Семнадцать лет он прожил на земле под Богом.

Четырнадцать из них — без отца, которого не помнит.

Лишь голос да сильные руки иногда мерцают в памяти и тут же исчезают. Но чьи они — Ивану

неизвестно. Занятая государственными и дворцовыми делами мать редко и неохотно рассказывала ему об отце. Все чаще появляется рядом с ней конюший двора и храбрый воевода — красавец-князь Иван Овчина. Его маленький Иван со временем стал чтить, как второго отца. До тех пор, пока жива была мать.

Без нее он живет уже девятый год.

Хмурый и зябкий апрельский день, когда ее не стало, запечатлелся в душе навсегда. Воет и кричит прислуга. С топотом проносятся по переходам стрельцы. Деловито спешат бояре. Иван дергает полы кафтанов, хватается за рукава, пытается узнать, что случилось. «Отравили!» — раздается крик, подхватывается и заполошно разносится по всему дворцу. Иван прорывается сквозь лес цепких рук, проскакивает под ногами, кидается к лежащей на холодном полу матери. Глаза ее блуждают, кажется, она ничего не видит. Губы прыгают и ломаются. Но она узнаёт сына, цепляется за его плечи, тянет к себе. Непослушными руками обнимает голову и хрипит в ухо: «Спасителя... береги... тебе от отца...» Глаза ее закатываются. Она корчится в приступе рвоты под взглядами набежавших отовсюду дворовых людей. Иван, весь перепачканный, рыдает и не выпускает ее из объятий. С усилием мать произносит последние слова: «За ризой...» Дальше ее шепот не разобрать, лишь обрывки слов и вскрики. Снова рвота и судороги. Наконец Ивана оттаскивают. Он кричит и молотит кулаками, но его бесцеремонно сгребает крепкие руки, и слышится голос Овчины: «Тихо, тихо...»

Страшные дни во дворце. Суматоха сменяется тягостной тишиной. Но ненадолго — ругань

и драки вспыхивают в палатах. На Овчине лица нет. Он неумоимо рыщет по княжьим покоям, переворачивает все вверх дном. Каждый раз, заведя Ивана, допытывается у него — не сказала ли что важного мать перед кончиной? Но тот молчит. Овчина ругается на чем свет стоит. «Оставь его, у него ведь мать умерла...» — вступается нянька Аграфена, сестра князя. «Мы все умрем, если не сыщем!» — кричит он в ответ. «Может, монастырским отдала?» — прижимая Ивана к мягкому животу, шепчет кормилица и со страхом глядит на брата. «Говорил же ей — дай мне на сохранность...» — уныло отвечает Овчина и садится на лавку.

Не прошло и недели — явились посланные Шуйскими стрельцы. Схватили обоих. Как ни цеплялся Иван за одежду своей мамки, как ни кричал, умоляя не трогать Аграфену, — оттолкнули, едва не наподдав сапогом. Так в эти дни лишился он всех.

Овчину пытали — не сыскал ли он чего особенного в царских покоях, не присвоил ли не ему принадлежащее... Допрашивали и няньку, не знает ли она каких секретов почившей великой княгини. Закованного в тяжелые цепи Овчину заморили голодом, мамку же Аграфену навечно сослали в монастырь.

Остался Иван лишь с братом, тихим и малоумным Юрием. Тот и не замечал ничего, что вокруг творилось. Знай себе играл деревянными лошадками, катал повсюду тряпичный мячик с бубенцами, а когда утомлялся — спал где придется. Никто не следил за ними, и кормить порой забывали. Иван был скорее рад этому — каждый день и час

он, вздрагивая от любого звука, в трепете ожидал, что в детскую заявятся бояре со стрельцами по их душу.

Страшно стало жить во дворце. Есть и пить боязно — каждый глоток давался с трудом, душили страх и память о мучениях матери. Повсюду мнился яд.

Но обошлось. Явились, угрюмо поводили глазами. Допытывались у Ивана, что же такое ему мать перед смертью шептала, но махнули рукой. Лишь перерыли детские вещи, разорвали и поломали все, что попало под руку, не пожалев и лошадок братца. Ушли ни с чем.

Сам же Иван, заверив настырных Шуйских, что бредила умиравшая в муках мать, на помощь Бога призывала, а остального он не разобрал, — часто задумывался над ее предсмертными словами. Но смысл их оставался ему непонятен до того памятного дня, когда, играя с братом в «перегонку», забежал он следом за ним в отцовскую спальню и замер, пораженный увиденным.

Сидит на лавке возле кровати, на которой отдал Богу душу отец Ивана, грузный боярин Иван Шуйский. Вольготно привалился спиной к стенке — того и гляди, начнет в потолок плевать. Лицо насмешливое, лоснится. На Шуйском добротная шуба, ее он не снимает нарочно, лишь распахнул небрежно — свечной огонь золотит вышитые кафтанские узоры. Одна нога боярина, в крепком сапоге, упирается в мозаику пола. Вторую он возложил на кровать. Иван отчетливо видит примятое книзу голенище, высокий каблук, обтертую посередке подошву и шляпку каждого гвоздя на ней.

Едва сдержался, чтобы не кинуться с кулаками на чванливого боярина. Тот же, заметив, лишь

усмехнулся: «Что, щенок княжеский, не по нраву тебе? Послужил я воеводой, утрудил ноженьки, за князя сражаясь. Теперь с полным правом и на кровать его прилечь могу, и на образа помолиться».

Тогда и обратил Иван внимание на икону со Спасом Вседержителем. Ни слова не говоря, схватил за руку неразумного брата и выбежал вон.

Через несколько дней он улучил возможность попасть в отцовскую спальню.

Босиком и в одной рубахе осторожно крался по темным переходам. Прижимался к ледяным кирпичам и прислушивался. Наконец прошмыгнул в щель незапертой двери.

Замер, всматриваясь в непроглядную темноту и напрягая слух — не лежит ли и впрямь негодяй-боярин на постели его отца?

Глаза постепенно привыкали к мраку палаты. Туманно завиднелись беленые стены с темными пятнами на них. Какое из пятен — образ со Спасом, Иван угадал без труда — память его была хваткой. Роста хватило, чтобы дотянуться и снять. Сунув увесистую и холодную икону под рубаху, Иван выскользнул из спальни.

Добрался до детской, плотно притворил дверь. Разыскал на столе свечу, влез на лавку под киотом и запалил от лампадки. Брат безмятежно спал, разложив возле кровати поломанных лошадок. Каждая была заботливо завернута в тряпицу, «лечилась».

Иван залез в свою постель и долго сидел, разглядывая облаченную в цельный оклад икону. Лишь руки и лик Вседержителя проглядывали из золотой чеканки. Иван всматривался в молодого Христа — гладкие волосы до плеч, небольшие усы

и бородка. Благословляющая правая рука и Евангелие в левой.

«За ризой...» — прозвучал в памяти предсмертный материнский шепот.

«За ризой...»

Подковырнуть серебряный гвоздик удалось не сразу. Ободрав ногти, Иван огляделся. Стол с заброшенными книгами и чернильницей, связка перьев, раскиданный братцем песок, клочки французской бумаги... Когда-то приходил митрополит для занятий с княжескими детьми, да настали другие времена.

На помощь пришел нож для очинки пера. Второй гвоздь поддался легче, а третий и вовсе отскочил сам собой. Один из золотых краев ризы слегка отошел от дерева. Иван ухватился за него саднящими пальцами, потянул.

На постель выпало что-то завернутое в серую тряпицу. Иван размотал ткань, и на его ладони оказался небольшой, но увесистый серебристый предмет.

Неискусно выполненная, но привлекающая взгляд, холодная на ощупь фигурка сидящего медведя. Не сумев опознать, из чего же она, Иван нагнулся к свече и принялся внимательно рассматривать изображенного неизвестным мастером зверя. Распахнутая клыкастая пасть, мощная холка, вокруг которой намотана тонкая тесьма. Он размотал ее и, не удержавшись, понюхал. От мысли, что на тесьме мог сохраниться запах отца или матери, заволновалось сердце, погнало громким стуком кровь в виски и уши. Но ничего, кроме легкого запаха крашеного дерева, Иван уловить не смог.

В затемненном углу детской раздался короткий шорох. Иван вздрогнул и машинально сжал

кулак, спрятав находку. Свободной рукой потянулся к свече. Привстал на кровати, вытянул шею, высматривая — что там, в углу. Разглядев, вздохнул с облегчением. Обычная крыса — как холопская серая варежка, но с бусинками глаз и хвостом-веревкой. Пасюк возился с отломанной головой лошадки — вертел и пробовал на вкус. «Вот кто повадился портить игрушки братца... — подумал Иван. — Двуногие крысы поломали, а четырехлапая решила прикончить совсем!» Заметив, что попала в пятно света, крыса замерла, подрагивая кончиком носа. «Ну, оставайся, что ли, — усмехнулся он про себя. — Из всех наших “гостей” ты, пожалуй, самая достойная! Только вот Георгия не огорчай, верни деревяшку, откуда взяла...»

...В узких и высоких окошках царской спальни розовело летнее небо, проникал утренний свет вместе с пичужьим чириканьем внутрь дворца. Занимался новый день, еще один — даст Бог, не последний.

Иван поправил одеяло на сладко спящей жене. Через час она проснется сама. Царь же это время решил уделить молитве. Как был, в ночной рубашке, спрыгнул с постели, прошел к киоту и встал на колени. Возвращенный Адашевым на место Спас Вседержитель знакомо смотрел в глаза.

Поднося пальцы и отбивая поклоны, Иван ловил себя на том, что не может сосредоточиться на словах молитвы — путается, запинаясь и снова уносится мыслями в детство. В тот день — вернее, ту ночь, — когда неожиданно ему открылся секрет Медведя.

Забредшая в детскую крыса действительно вернула кусок игрушки на место!

Маленький Иван тогда не сразу понял, что произошло. Увидел лишь, как крыса беспокойно присела, усиленно подрагивая тонкими усиками — что-то ее взволновало гораздо сильнее слабого свечного огня. И в тот же миг он оказался на полу, далеко от кровати, в «крысином» углу. В глазах будто померкло все — серая муть, разборчиво видно было лишь то, что поблизости, — крупную деревяшку, надкусанную острыми резцами. Будто Егорушка притащил откуда-то пень, обточенный бобром. Пораженный догадкой — это же голова лошади брата! — Иван прильнул к самому полу, вбирая носом поток запахов и шалея от них. Даже учуял ржаную корочку под подушкой брата. Поднял голову и сразу же сообразил, куда бежать. Ухватил в пасть деревяшку. Мягко и быстро перебирая лапами, достиг ножки Юриной кровати. Сунул лошадиную голову поближе к пузатому, гладко струганному боку игрушки. Сел, приняхиваясь к лежащей наверху корочке. Но другой запах мешал сосредоточиться. Иван нервно шмыгнул под кровать и оттуда изучил обстановку, ловя в воздухе океан запахов и колебаний. Совсем рядом с громко сопящим во сне человеком, что спрятал подсохший хлебный кусочек, находился еще один. Он сам — сидящий на кровати с бессмысленно вытаращенными глазами.

Иван ойкнул и всплеснул руками. Серебристая фигурка упала на подол рубахи.

Ошарашенная крыса метнулась к стене и вдоль нее серой молнией пронеслась в темный угол.

Иван испуганно ощупал себя резкими нервными движениями, охлопал для верности и больно ущипнул за ногу. Слава богу, все лишь померещилось!

И тут же задумался — отчего же такое привиделось ему?..

Взгляд его замер на необычной подвеске...

Икону Иван решил оставить в детской, поместил в киот. Хотя и был малолетним он, но соображал не по годам резво. За оклад Медведя прятать не стал — понимал, что неумные расхитители родительской казны зарятся на все, куда их вороний глаз падет.

«Ничего... Придет время — ответят за всё!»

До утра ощупывая холодные стены, нашел внизу одной узкую щель между двумя кирпичами. Все тем же перочинным ножом расковырял до нужной ширины — чтобы едва пролазили пальцы с завернутым в тряпицу Медведем. Красное глиняное крошево на полу тщательно собрал и ссыпал в настольную песочницу, смешал с остатками песка.

Каждую ночь Иван доставал фигурку и дожидался крысы. Та повадилась являться в один и тот же час. За это приходилось делиться с ней скудным ужином, но игра того стоила. Быстро привыкнув к тому, что открывалось крысиными глазами — но больше ушами и носом, — Иван научился подчинять грызуна своим словам. Их он поначалу произносил громким шепотом, косясь на спящего брата. Затем едва слышно двигал губами, а после и вовсе было достаточно лишь подумать, и крыса повиновалась. Садилась по мысленному приказу, ложилась и вытягивалась «стрункой», каталась «колбаской» и кувыркалась. Можно было наблюдать за ней со стороны, а можно было «впрыгнуть» в сознание зверька и глянуть ее небольшими глазами, дивясь, как все бесцветно-серо вокруг, но как густо полнится воздух запахами и звуками...

... — Господь Вседержитель! — воскликнул семнадцатилетний царь, прогоняя воспоминания детства. — Помоги любовью и мудростью своей! Дай ответ...

Опустил голову и задумался.

Правильно ли поступил, вручив Сильвестру отцовскую реликвию? Ведь хранил и оберегал ее от чужих глаз много лет... Но важнее знать — как седому иерею удалось его убедить отдать Медведя? Отчего ему повинуются воеводы и даже царь?

Медведь... Вещица занятная и бесценная. На первый взгляд — диковинная безделица, потешная, и польза от нее разве что скоморохам. Так поначалу Иван и полагал, развлекая себя и брата, которого со временем стал будить на ночные представления. Но быстро понял, что, «запрыгнув» в крысиную душу, можно путешествовать по дворцу, проникая в такие места, о которых не все дворовые знают. Где только не побывал Иван с помощью пасюка и Медведя. Обшарил все палаты и склады, шнырял по тайным подклетам и переходам, навестил самые дальние уголки Кремля. Заблудиться не боялся — повсюду оставлял пахучие метки и прекрасно распознавал стороны света. Помнил все щели, слышал все звуки, бежал стремительно и карабкался ловко. Не раз пришлось сражаться с другими пасюками. По первости Иван терялся и в одной схватке едва не лишился проводника, с которым уже свыкся и понимал его характер, знал привычки и даже ловил движение звериных мыслей под длинной костью черепа. Но быстро освоил основы крысиной драки и внес в нее свои правила — а против человеческого ума звериный темный разум был

бессилен. Диковинные для крысы прыжки и броски, коварные подскоки и хитроумные нападения обеспечивали победу за победой в темных и сырых подклетах. Но недолго Иван развлекался боями с голохвостыми разбойниками. Те быстро признали необычного пасюка самым грозным во всем Кремле и с отчаянным писком разбегались еще до появления, едва уловив чуткими носами его приближение. Однажды ночью, с азартом преследуя целую стаю, Иван решил обойти ее другой дорогой. Срезав путь, заскочил в освещенную палату и едва не угодил под огромный каблук. Чудом избежал удара — вылетел вон, позабыв о преследовании. Когда же крыса отдышалась, Иван заставил ее вскарабкаться по шершавой кирпичной стене, втиснуться в одному ему известную щель и поползти немного вперед. Будь у него в распоряжении лишь человеческие уши, не разобрал бы ничего — толстая кладка надежно укрывала звуки, но загнутые вперед крысиные уши слышали все прекрасно.

Узнал голоса ненавистных Шуйских — Андрея по прозвищу Частокол и князя Ивана.

— Кончать пора с Бельскими! — упрямо твердил молодой голос. — Пошто Федора из темницы освободили, на свою голову? Сидел бы себе, мокриц кормил... Глядишь, сам бы издох! А теперь вон как в силу вошел — в думе боярской верховодит!

— Не горячись, Андрюха, — басил Иван Шуйский. — Не время пока. Митрополит на его стороне...

— Да когда же время будет? — зло шипел Частокол. — Чего ждем? Когда княжеский щенок в силу войдет?

— С щенком разберемся! — пообещал собеседник. — Но сначала Федора низложить...

Вскоре заговорщики, затушив огонь, разошлись. Но Иван еще не раз пробирался с помощью крысы на их тайные встречи и слушал, слушал...

Многое пришлось увидеть и узнать ему во дворце. Сменялись его «проводимые», ведь крысиный век недолог. Заговорщицкий же шепот, яростные грызня и ругань, жестокие казни — не утихали, а лишь накалялись.

Иван рос, взрослел, все более омрачаясь душой.

Порой, чтобы не сгнуло сердце в сырой темноте кремлевских подземелий, не разъела его ржа злобы и страха, не обмельчало оно от крысиной возни, выбирался на кремлевскую стену — полюбоваться с нее шумным Пожаром, блеском солнца в Москве-реке и Неглинной, взглянуть на мосты и купола.

Помнил и тот день, когда не удержался, поддался соблазну и прихватил с собой среди белого дня заветную фигурку. Золотистое морозное утро, синеватый лед на реках и белый снежный покров на пустынной еще торговой площади за рвом. Выхватив взглядом одного из голубей на карнизе Фроловской башни, зажал в кулаке Медведя. Ощутил знакомый, особого рода холод и дрожь в руке и в тот же миг оттолкнулся от розового на солнце кирпича, ухнул вниз. Обмирая от восторга и страха, взмахнул крыльями и взмыл над темным льдом восточного рва, перелетел китайгородскую стену и...

«Вот ты где!» — властный, с нагледой и угрозой, голос Андрея Шуйского раздался над ухом.

Иван вздрогнул и очнулся. Спрятал руку за спину.

Шуйский вцепился в плечо, как клешней ухватил.

«А ну-ка, щенок, покажи, что там!» — угрожающе зарычал, потянул за рукав.

Встретился взглядом с Иваном и обомлел.

«Ах ты... паскудник этакий!» — только и сумел воскликнуть Частокол, отдернув руку — Иван укусил его жилистую кисть, выглянувшую между рукавицей и кафтаном. Вырвался, кинулся бежать переходами.

«Ну-ка стой! Стой, говорю! — топал сзади сапожищами Шуйский. — Башку оторву!»

Да куда там за мальчишкой угнаться! Иван промчался по обледелым обходным галереям, выскочил на узкую и крутую лестницу, скатился по ней до самого низа, вылетел из низкой арки ворот. По скользкой от наледи площади рванул прочь от дворца.

К счастью, выбежали на шум дворовые псары. Переглянулись тревожно. Иван развернулся, едва не упав, и кинулся напрямик к ним.

«Измена!» — выкрикнул, задыхаясь.

С размаха влетел в объятия одного из них, высокого и плечистого Степки. Заорал: «Шуйский Андрейка — изменник! Убийство замыслил мое!»

Не добежал Частокол до спрятавшегося за псарей Ивана. Остановился, тяжело дыша, шагах в десяти от угрюмых дворовых. Насторожено зыркнул и собрался было гаркнуть властно, но Иван опередил.

Выскочив из-за спин, ткнул в сторону Шуйского пальцем:

«Взять его! Взять душегуба и вора!»

Ледяной страх и дрожь во всем теле. Сердце рвалось из груди — не от бега.

Послушаются его приказа дворовые — настанет конец своеволию Шуйских во дворце. А если убьются Частокола...

Хотелось зажмуриться.

Но, поборов страх, он снова крикнул:

«Взять и на двор его оттащить! Собакам отдать!»

Псари переглянулись. Первым шагнул вперед Степка, повинувшись воле юного великого князя. За ним, скрипя снегом, двинулись и остальные. У пары человек в руках оказались арапники.

Обомлел Шуйский, попятился, кривя рот и оглядываясь. Выругался страшно, угрожая лютой смертью псарям и Ивану. На том и кончилось его наместничество.

Отходили боярина так, что брызги летели во все стороны. Сволокли, едва живого, на псарню. Кинули в загон, раззадорили хорошенько и без того свирепых собак, да и выпустили на него.

Как ни худо было Шуйскому от побоев, а от страха нашлись силы — вскочил, закружился, растопырил руки. В них и вцепились поджарые суки, повисли, мотая башками. Следом подбежал огромный черный кобель, забросил лапы на плечи боярина, жарко дыхнул в лицо, прежде чем сомкнуть пасть на горле.

И не заметил сжимавший фигурку в руке Иван, как «оказался» в одном из псов, лишь подивился быстроте своего бега и длинному прыжку. Ударил лапами, опрокинул, вонзился зубами, вырвал клочок и тут же снова принялся вгрызаться, утробно рыча и пьянея от горячей крови...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СЕРЕБРО

...Анастасия скинула одеяло, потянулась, не просыпаясь. Повернулась на бок, лицом к Ивану. Улыбнулась во сне.

Царь поднялся с колен. Мельком взглянул на жену в тонкой, искусно вышитой шелком рубашке.

Предстояла серьезная беседа, и негоже бы перед важным делом размягчаться душой и телесно.

Наскоро одевшись, явился в домовую церковь заранее и провел больше часа перед иконами. Лампады горели ровно, стены и пол были незыблемы и тверды. Ум царя ясен, тело свежо и полно сил, несмотря на бессонную ночь и тяжелые воспоминания на рассвете.

За молитвами его и застал иерей Сильвестр.

Улучив момент, когда царь его заметит, настоящий опустился рядом, держа под мышкой небольшую книгу.

— Рассказывай! — потребовал Иван, прервав молитву. — Не потерял того, что взял у меня вчера?

Он силился понять, как Сильвестру удалось убедить его отдать столь ценную вещь, но из всех объяснений похожим на правду находил лишь одно — старик ловко воспользовался его вчерашней усталостью. Не чародейством же, в самом деле, одолел он царскую волю.

Иван внимательно посмотрел на лицо иерея — сухая старческая кожа, борозды морщин, темные пятна на щеках и лбу, седая жесткая борода. И блеклые светло-зеленые глаза, с прожелтью.

Сильвестр откашлялся. Зажав книгу под мышкой, перекрестился.

— Сегодня с тобой не Святое Писание, иерей, — заметил царь. — Что за книга?

Протянул было руку, но Сильвестр дотронулся до его кисти, остановил.

— Не спеши, государь! — строго сказал он. — Сначала пора бы тебе узнать кое-что о рыцарях Храма. Ведь твой Медведь — из их сокровищницы. Той, что досталась землям новгородским и московским. И он — вовсе не один такой.

— Есть еще Медведи? — встрепенулся Иван. — Сколько? Где? У кого?!

Старик отрицательно покачал головой:

— Медведь только один, государь. Но есть и другие фигурки. Об их могущественной силе я тебе расскажу сегодня. Время пришло.

Иван поднялся, жестом приказал встать иерею. Подойдя к лавке, стоявшей вдоль стены с рядом узких окошек, пригласил сесть. Сильвестр повиновался. Положил между собой и царем принесенную книгу, прикоснулся к ее темной обложке, без каких-либо рисунков и букв, и задумался.

— Мне известно совсем немного. Тайна серебряных фигурок крепка. Знаю лишь то, что передается в монастырях, — сдержанно начал рассказ седой иерей. — Существовали они испокон веков. Когда точно появились, об этом никому неведомо. Возможно, Господь сотворил их одновременно

с Адамом и Евой. Вручил для того, чтобы смогли они выжить, изгнанные их рая.

— Значит, прав я в догадках своих — это дар Господний! — с жаром воскликнул набожный царь.

— Скорее, дозволение Божье, — поправил иерей.

Иван нахмурился и возразил:

— Если дозволил, значит, и даровал!

Сильвестр изумленно глянул из-под бровей на юного собеседника. Открыл было рот, но не нашелся с возражением.

— Человек не только дух, но и плоть! Для духа Господом дарована молитва. Для телесной же нужды человека Спаситель сотворил... — царь запылся и озадачился. — Скажи, а как называются эти вещицы?

Иерей пожал плечами.

— В разные времена и у разных народов — по-разному, государь. Язычники, иудеи, христиане, магометане — у каждого для них свои слова. Но название — не главное. Важнее — суть предметов. Владеть ими доступно не каждому, но кто сумеет познать их могущество — становится среди людей первым.

— Ты что-то говорил о фряжских храмовниках и их сокровищнице, — нетерпеливо перебил царь. — Расскажи! Как Медведь оказался в московской земле у отца?

— Как все пребывает в движении, так и предметы путешествуют по миру. От одного владельца к другому, от самого сотворения человека и до скончания веков. Иные лежат в потайных местах многие тысячи лет, другие — меняют хозяев стремительней, чем по осени меняет краски кленовый лист. Удержать у себя такую вещицу непросто.

Иван понимающе кивнул.

Иерей продолжал:

— Некоторые вещицы были на Руси еще с языческих времен. Другие попали не так давно. Медведь и с ним еще пара фигурок — без малого две с половиной сотни лет назад, когда прибыли к нам беглые храмовники. От них и укрепилось одно из названий — *серебро*. Орден их был уничтожен. Ты же знаешь, государь, что церковь во все времена славилась стяжательством. Латинянские инквизиторы не исключение. А уж алчность короля Филиппа была вовсе безмерна.

— Что верно, то верно! — усмехнулся Иван. — Короли галльские да папы-латиняне до золота всегда охочи!

Неожиданно Сильвестр тепло и просто улыбнулся — так улыбается отец, наблюдая за малолетним сыном.

— Государь мой, — мягко сказал иерей. — Есть вещи в мире, цена которых неизмеримо выше золота.

— Знаю, — кивнул Иван.

Сильвестр вопросительно-иронично взглянул на юного царя.

— Власть, — просто пояснил тот.

Иерей подвигал бровями, обдумывая что-то.

— Возразить трудно, — наконец ответил Сильвестр. — Тебе, государю, виднее. Грех стяжательства погубил и храмовников, и короля, и главных палачей. По ложному обвинению казнили сотни людей. Спасаясь от гонений и смерти, храмовники разбрелись по свету. Но им удалось заранее вывезти из своего храма самое ценное. И вот в лето шесть тысяч семьсот девяносто седьмое на Русь, в Новгородщину, прибыли восемнадцать

их кораблей. Да не простых — набойные мореходные насады, полные золотых монет и жемчуга. Среди несметных богатств, что они привезли, был небольшой кузовок. Но именно его храмовники оберегали пуще всего! В нем хранилось то самое *серебро*, что в свое время рыцари нашли в подземельях Храма Соломона. Часть этих находок они спрятали на тайном острове, а несколько штук привезли в наши земли. Русь православная надежно укрыла храмовников от латинянского папы. Встретил же корабли московский князь Юрий Данилович вместе с новгородским владыкой. Поклонились им храмовники и поднесли привезенное. Рыцарей приняли радушно. Решено было переправить их подальше от рубежей, в московскую Даниловскую обитель. Вот с того года и начала возвышаться Москва над другими русскими городами. Разве что Новгород не отставал. Но то не соперничество было, а дружба.

— Как это? — удивился Иван. — Новгородцы москвичей никогда не жаловали...

— И опять возразить мне тебе, государь, затруднительно, — ответил Сильвестр. — Семье твоей новгородцы немало хлопот доставляли. Не любили они москвичей. Кроме, пожалуй, именно князя Юрия Даниловича — того принимали охотно. Да и сам московский князь спустя пятнадцать лет уступил Москву брату и отправился жить в Новгород.

— Сложил с себя титул? — нахмурился Иван.

— Нет, государь. Юрий остался великим князем. Защищал подданных от свейского короля и даже мир с ним заключил от имени Новгорода. Литву окаянную, что вечно набегает на земли его делала,

прогонял успешно. Выстроил крепость Орешек, покорил своенравный Устюг. Много дел на благо новгородцам совершил.

— Удачлив был князь, — обронил Иван.

— Неспроста, государь. Ведь у него были помощники — верные, послушные, наделенные небывалыми силами.

— Где же таких сыскать... — хмыкнул царь. — Разве что ангелов призвать на помощь.

— А хоть бы и ангелов, — неожиданно согласился иерей и похлопал по принесенной им книге.

Иван озадаченно взглянул на него.

— Рассказывай. Вижу, что вещичка старинная.

— Посмотри сам, — пододвинул ее Сильвестр.

Иван взял увесистый фолиант, с любопытством раскрыл. Вгляделся в незнакомые буквы, испещрившие тонкий пергамент первой страницы. Не латынь и не греческий. Точно не восточные письмена.

Царь вопросительно поднял глаза на Сильвестра.

Иерей пояснил:

— Книгу эту привезла твоему деду Ивану среди остального приданого Софья Фоминична. Приданое было поистине велико — но не золотом и украшениями, которых тоже имелось в избытке. Больше всего византийская твоя бабка дорожила привезенными в Москву книгами и рукописями. Убоявшись пожаров... — Сильвестр вздохнул, вспомнив последний, — великая княгиня повелела схоронить их в подклети храма Рождества Богородицы. При отце твоём, Василии, латинские и греческие книги переводил Максим Грек, и иудейские на русский язык переклали многие. Но вот эту... — иерей развел руками. — Языка же

этого никто не знает. Мы лишь допускаем, что это ни что иное, как енохианский язык.

— Вот как? — удивился Иван. — Ангельский язык...

Однако увиденное дальше слегка разочаровало его. Незатейливые рисунки невиданных цветов, с крупными сердцевинами и мелкими лепестками, странные ягоды и чудной формы листья, напоминавшие папоротник. Впрочем, попадались и знакомые растения — васильки и ромашки, но тоже изображенные так, что с первого взгляда узнать трудно.

— Знахарская вещь? — с усмешкой спросил царь, листая страницы. — Чтобы зелья варить ядо-приворотные, отворотные?

Сильвестр покачал головой.

— Ты слишком поспешен в суждениях, государь.

Не обращая внимания на очередную дерзость старого иерея, Иван продолжил изучение книги.

Далее шли рисунки еще более странные — каналы и купальни, соединенные замысловатыми трубами. В некоторых купальнях видны были обнаженные нимфы. На этих рисунках Иван задержал насмешливый взгляд чуть дольше. Другие девицы, тоже нагие, держали в руках звезды, и следующие страницы посвящались небесной теме — художник изобразил некие карты, круговые чертежи, диаграммы...

Перелистнув пару страниц, Иван вздрогнул. Изумленно подняв брови, он посмотрел на иерея.

— Это... и есть — *серебро*?

Сильвестр кивнул.

— Так называли эти вещицы латиняне. Хотя к серебру фигурки не имеют никакого отношения. Ты

и сам, государь, знаешь — это нечто другое. Но ни монахи-рыцари, ни мы, православные, ни другие посвященные — никто не может сказать, что же это такое. Известна лишь чудодейственность предметов, но далеко не всех. Енохианские записи, возможно, сообщают многое... Но нет никого, кто смог бы прочесть их. Священники Византии и латиняне Рима часто платили за познание дорогую цену — силу и свойства фигурок приходилось изучать, рискуя собой. То, что удалось им узнать, записали вот тут, под рисунками, на своих языках. Смотри, возле некоторых исчерканы все поля, и даже между енохианских строк втиснуты греческие и латинские буквы.

— Но кто же написал саму книгу? — Иван удивленно посмотрел на иерея.

Сильвестр пожал плечами.

— Кто бы он ни был, среди прочих загадок он поместил на страницах множество изображений предметов и явно о них знал многое. Православное духовенство продолжило изучение фигурок. Но тайну разгадать пока не удалось никому. Нет и единого мнения о природе этих вещиц. Стяжатели-иосифляне объявили их «игрушками сатаны», «бесовскими зверушками». Возможно, что-то попрятали по своим монастырям и соборам, якобы заключили под стражу, на вечное хранение. Но преподобный Нил Сорский неустанно уличал их в лукавстве — не от соблазна уберечь людей они захотели, а сами пожелали тайно владеть. Фигурки же эти — подарок от Господа, через ангелов людям переданный. Человек может использовать Божий подарок как во благо себе и другим, так и во вред. Задача духовенства лишь в наставлении,

помощи, направлении. Ты по юной вспыльчивости творил Медведем зло, а отец твой Василий обращал его на благо.

Внимательно слушая иерея, Иван перелистывал тонкие пергаментные страницы. И хотя он не был согласен со словами Сильвестра о зле — разве истребление бунтовщиков может считаться таковым? — откровенность и смелость старика пришлись ему по нраву. Мало кто решался так общаться с царем.

Молодой царь пристально разглядывал нарисованные предметы.

— Их тут десятки! — восхищенно воскликнул он. — А вот и мой Медведь!

— «Обладающий им повелевает животными», — перевел иерей краткую подпись под рисунком, в который уперся палец Ивана. — Как видишь, государь, этот предмет не слишком интересовал изыскателей.

— А вот эти стрелки указывают на полезную совокупность, — продолжал Сильвестр, показывая на тонкие разноцветные линии, соединявшие разные изображения. — Твой Медведь не у дел вовсе, а вот эта бестия — отмечена как важная и объединена с другими.

Иван с любопытством посмотрел на рисунок неведомого ему животного — тонконогого, как лошадь, но с длинной змеиной шеей и головой оленя, где вместо ветвистых рогов торчали странные наросты.

Сильвестр пояснил:

— Это африканская тварь. У кого во владении такая фигурка, повелевает всем, что растет из

земли. Может выращивать злаки — сколько ему будет потребно, за кратчайшие сроки.

— Пожалуй, не нужны станут холопы на полях, — засмеялся Иван. — Впрочем, их тогда в войско — прокормить-то хватит всех!

Царь прочертил пальцем к другой фигурке, соединенной с повелителем растений синей линией.

— Ну а эта? — поднял глаза на иерея.

— С Тигром в руке тебе откроются земные недра, и ты увидишь золотые самородки и нити на любой глубине.

— Петух? — провел Иван по другой синей линии

— Не ошибиться в выборе, угадать причину, почувствовать правильное решение. Эту фигурку ценят мастеровые и разного рода добытчики.

Царь задумался.

— Получается, имей кто-нибудь вот это чудище длинношеее, Петуха да Тигра к нему в придачу — будет жить себе припеваючи? Сыт да богат?

— Так, да не так, — покачал головой Сильвестр. — За каждое чудо приходится страдать. Чем чаще обращаешься к силе фигурок, тем больше изнуряешь себя. А возжелавший обладать несколькими вещами разом, как правило, обречен на падучую и скорую смерть.

Иван перевернул страницу.

— Тут линии уже красные. Смотри, старик — Лев, Бык, Змея с капюшоном и Морской Конек.

Иерей кивнул:

— Это другая группа. Для войны. Недаром преподобная мученица Евгения говорила: «Инокам не подобает во владении серебро иметь».

— Но храмовники считали иначе, я погляжу.

— Именно так. Скорее всего, они готовились к крупной войне — с собственным ли королем, с соседними государствами или снова к походу на Святую землю — неизвестно. Воле Господа это было неудобно.

— Известно ли об этих фигурках что-нибудь?

— Не так много, но кое-что — да. Морской Конек способен разрушить любую преграду, смять и уничтожить врага. Лев придает человеку храбрости столь великой, что за таким бесстрашным войско готово следовать на любую битву. Кобра помогает без промахов разить врага, а Бык наделяет мощью, превосходящей силу Самсона.

Глаза Ивана заблестели от возбуждения.

— Непобедимость! Кто сможет устоять против такого войска?!

Иерей протянул руку к книге и бережно перевернул страницу.

— Только тот, кому посчастливилось заполучить другие вещицы.

Иван вперился взглядом в рисунки.

Сильвестр указал на фигурку раскрывшего хвост Павлина.

— Вот это уберегает от стрел. А хранится эта райская птичка не так уж далеко — в Кирилло-Белозерске. В том самом монастыре, куда твой отец ездил молиться о даровании ему наследника.

— Постой-ка, старик! — Иван отложил книгу и взволнованно прошелся вдоль лавки. — Выходит, не у одних новгородцев хранится это *серебро*?

— Конечно, нет. Ведь князь Юрий Данилович не одним золотом поднимал княжество Московское. Другое дело, что теперь следы многих предметов утеряны. Ведь за минувшие столетия вещицы где

только не побывали. Монастыри открываются или приходят в запустение, настоятели меняются, случаются и войны, пожары. Иной раз достаточно человеческого искушения — бывали и хищение, и подлоги.

Предметы давно разошлись по разным землям. То, что хранилось новгородцами, теперь в Москве, и наоборот. А что-то спрятано в Европе, Новом Свете и Азии. По слухам, у казанцев в главной мечети что-то припрятано...

Глаза Ивана сузились, губы плотно сжались.

— Так вот я эти слухи и проверю! — решительно произнес он, снова хватая книгу. — Негоже без дела лежать *серебру*! Поеду в Кириллов, получу от чернецов райскую птицу. И тогда — на Казань!

Силясь унять накотившее возбуждение, обхватил себя руками за плечи.

Сильвестр помолчал, испытующе глядя на царя.

— Получить фигурки непросто. В Кириллове тебе не откажут — монастырь этот духовный оплот нестяжателей. Но помни об осторожности, государь! За вещами ведется непрерывная охота. Войны, расколы измены, бунты — порой лишь следствия чьей-то игры, поиска или находки подобных вещей.

— Думаешь, и вчерашний бунт не пожаром вызван?

Иерей кивнул:

— У того, кто подстрекал толпу, вполне могла быть цель — воспользоваться беспорядком, проникнуть во дворец и попытаться найти предмет.

— Здесь, в Воробьеве? — изумился царь. — Выходит, знают, что он всегда при мне? Был...

Сильвестр пожал плечами.

— В Москве, думаю, все соборы и кремлевские палаты уже обысканы. Но если науськивали толпу на твой дворец, значит, хотели и тут поискать. Могли Медведя твоего отнять.

— Что предлагаешь, старик?

Сильвестр поднялся и строго сказал:

— Молиться.

Царь с иереем встали под образа.

Четверть часа Иван усердно отбивал поклоны, пока не устал и не обмяк. Прикрыв глаза, теперь он вялым шепотом разговаривал сам с собой — так показалось пристально смотревшему на него Сильвестру.

— Великий соблазн таится в *серебре*, — неожиданно сказал старик. — Лишь избранные духовные лица сумеют устоять перед ним.

Царь, не поднимая век, кивнул.

— Все, что получишь от церкви, — не твое, а лишь дозволенное тебе. Все, что приобретешь с помощью церкви, — не твое, а церковное.

Иван снова согласился молчаливым кивком.

Глаза настоятеля горели яркими цветами — зеленым и голубым.

Но царь не замечал этого, погруженный в дремотную молитву.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Морозная одурь окутала мертвый лес.

Стылый морок повсюду. Тишина.

Лишь скрип под ногами — за ночь дорогу, по которой проехало черное войско, припорошило, скрыло конский помет, следы подков и полозьев.

Юрка с трудом переставлял ноги — одну в огромном подшитом валенке, на другую обуви не нашлось, и он обмотал ее куском овчины. Рванный зипун был ему слишком велик, но зато длинный — пола сгодилась на обмотку.

Под зипуном рубаха и холщовые портки — в чем вытащили из избы, в том и бежал он от полыньи в лес.

Вчерашний день, разом изменивший его жизнь, стоял перед глазами Юрки. Разбойники в черных кафтанах. Крики и плач, ругань, побои, стоны. Холод и страх. Лед под ногами и черень воды совсем рядом. Боязно было решиться на побег. Тряслись колени, и стучали зубы. Отчаянно колотилось в груди, трепыхалось и обрывалось сердце. Но вот

проткнули бок деду Степану и утопили его, а потом стали толкать всех подряд — сквозь крики и плач тяжело бултыхала вода. Тогда и дернул за руку дрожавшего рядом соседского Ваньку. Глазами показал в сторону дальнего берега. Тут Машкины родичи, заметив переглядки, подтолкнули к ним дочку. Из одежды на ней была лишь размахайка да платок — мать успела накинуть. Но потеряла его Машка, когда они, рванув от душегубов, выскочили к берегу и продирались через кусты — на ветках остался. Бежали прочь от реки, сколько хватало сил. Потом упали в снег, зарылись вглубь, словно косачи. Прижались друг к дружке, все в колючем крошewe. Жар от беготни быстро схлынул. Холод облепил тела. Тряслись, коченея. Не сразу решились выбраться и глянуть, что там — на льду. Хотя и догадывались. Поползли по сизому рыхлому снегу, по своим следам. Юрка увидел и снял с сучка серый Машкин платок, обернул им скулящую девчонку. Подстреленного разбойниками Ваньку заметили сразу. Уткнулся лицом в наледь, вытянулся и застыл, примерз к черной луже под собой. Конец стрелы торчал из плеча, подрагивал на ветерке серым пером. Не дожил Ванька и до семи лет. Машка, ровесница его, разревелась сперва, а когда глянула на сиреневый лед и черную воду чуть дальше, упала и принялась голосить истошно.

Юрка ощутил себя беспомощным и потерянным. На целых пять зим он старше, а что делать дальше — не знал.

Трескучий гул на берегу, где была их деревня, утих. Огонь насытился, утратил ярость и теперь равномерно дожирал остатки. Сивые пряди дыма толсто тянулись в сторону леса.

Взглянув на белые ступни потерявшей рассудок девчонки, Юрка подхватил ее на руки и засеменял по льду. Ног он не чувал. Переставлял их, будто деревянные чурки. Много раз падал, роняя ношу, но поднимался и, качаясь, брел дальше, пока не выбрался с Машкой на свой берег. Втащить затихшую девчонку наверх не смог. Вскарabкался сам, глянуть, не уцелел ли кто, остались ли не тронутые пожаром дома. Увидел кривую сараюшку Федюньки-дурачка, жившего на задках возле оврага. Кинулся туда мимо горящих изб. Бросил взгляд на свою — у той уже рухнула кровля и вот-вот готовы были осыпаться стены. Жар от полыхавших домов согревал, но обмирала и леденела душа. На тело Федюньки он наткнулся возле порога его ветхого жилища. Тот лежал на спине, глядя изумленным глазом в дымное небо. Другого не было, вместе с половиной головы. Дурачок он был безобидный, тихий. Все ходил по деревне, думал о чем-то, да мысли разбегались, не мог ухватить их. Покачивал головой, бубнил непрерывно: «Бобонятки, бобонюшки, бобо...» Возиться черные разбойники с ним не стали, сразу разглядев, кто он такой. Хватили по несчастной голове саблей, заглянули в сараюшку, разбросали убогие вещички и вышли. Даже жечь поленились. Отгулял Федюня по деревне. Да и деревни-то — не стало.

Юрка снял с мертвого зипун и валенок — второго не нашел нигде. Худо-бедно утепился. Больше ничего на Федюне и не было — дурачок исподнего не носил. Совестно покойника нагишом оставлять, но и затащить в сарай сил не хватало. Заглянул внутрь жилья, в ворохе трухлявой соломы нашел пару дерюжных мешков — Федюнькина постель,

не иначе. Кинулся к берегу — Машку укутать да попытаться втащить в сарай, до утра пересидеть. А там уж видно будет, куда податься и как дальше жить.

А ей уже ничего не нужно было. Как ни тормозил ее, белую и сонную, — все напрасно. Сжала губы крепко-крепко, будто боялась сказать что-то, прикрыла глаза и больше не откликалась на тряску и зов. Все, что Юрка смог сделать, — уложить поровнее да присыпать сверху снегом.

Обмотал себе голову козьим бабьим платком, а руки укутал обрывком размахайки — больше из Машкиной одежды ничего не сгодилося. Плакать не было ни сил, ни возможности.

Воздух раздирал горло, царапал лицо.

Над деревней небо было светло от огня, но вокруг давно налилась густая синева, подбиралась долгая ночь.

Вскарабкался к догоравшим домам.

Сновал до темноты, собирая подходящие головешки и обломки для костра.

Закидал снегом и Федюньку.

Развел огонь в его щелястом жилище, закутался в мешки. Сидел и пустыми от пережитого глазами смотрел на желтые язычки.

Потом громко и долго выл, катаясь по мерзлому полу.

С пологих холмов за рекой, встревоженные заревом и запахом пожара, ему вторили волки.

Уснул под утро, но проспал недолго. Дожидаясь рассвета, стучал зубами возле прогоревшего костра.

В кармане обнаружил надкусанную луковицу, несъеденный ужин Федюньки. Пожевав, толкнул хлипкую дверь и выглянул из убежища. Увидел

синие цепочки следов — волки кружили всю ночь совсем рядом, но угасавший пожар не дал подойти ближе. Юрка скрылся в сарае, но вскоре вышел с длинной палкой — разыскал «лошадку» Федюни, на которой он иногда «скакал» по деревне. Мальчик взглянул последний раз на пятна пепелищ и зашаркал мимо обугленных печных остовов в сторону просеки, опираясь на палку.

Как ни страшно взбираться к дороге, откуда и слетела на деревню беда и гибель, а выхода не было. Зима только принялась лютовать, не выжить одному. Это Федюньке морозы нипочем были, ему что холод, что зной — все одно, лишь бормотал свое «бобонюшки-бобонятки». Но многие в Сосновке жалели сироту, подкармливали. А Юрку жалеть теперь некому. Одна надежда — добраться до монастырских. Поди, не откажут в приюте, хотя бы до весны. Да и отработать он может, не маленький ведь. Воду таскать, дрова рубить, за скотиной приглядывать — все умеет. Лишь бы добраться, сесть к печке поближе, отогреться, хлеба поесть и кипяточком запить... Упросить потом настоятеля подрядить чернецов, съездить в сожженную Сосновку да похоронить Федюню с Ванькой и Машкой. Если только волки не растащат раньше. И среди пепелищ поискать, глядишь, еще чьи неприбранные кости сыщутся. А кого вода погребла, тех отпеть бы...

Путаясь мыслями, думая то о мертвецах, то о горячем питье, Юрка брел по дороге.

Мороз становился злее. Руки и ноги едва слушались, голова клонилась, падала на грудь. Главное — не свалиться и не заснуть. Мальчишка упрямо ковылял, заставляя себя скидывать голову

и посматривать по сторонам — этой зимой волков особо много. И скотину драли, и за санями мужицкими, бывало, бежали. Отец, вернувшись с клинковой ярмарки, рассказывал матери, как гнал сани от самого монастыря и лишь возле деревни стоя отстала, не решилась спуститься к жилью. Мать охала и причитала: «Богданушка, а ну как задержут в другой раз?..» Отец усмеялся, поглаживал бороду, подмигивал ей и Юрке: «Ну-но, не бойсь! Отрепье носим, да удали взаймы не просим». Мать лишь рукой махала да крестилась.

От мыслей о нынешнем своем сиротстве стало так жутко, что захотелось рухнуть в сугроб, завывать по-волчьи да и умереть. Но Юрка не разрешал себе останавливаться, чтобы заплакать, а на ходу рыдать было нелегко — горло и грудь словно смерзлись, дышалось с трудом.

Изредка по сторонам дороги громко и резко трещали деревья — будто кто-то огромный, злой и невидимый шел по лесу, как по траве, и щелкал кнутом.

— Чур меня... чур! — слабо шептал мальчик и ускорял шаг. Но силы покидали, ноги едва двигались.

Завидев уходящую вправо, на холм, дорогу, Юрка перекрестился и замер, прислушиваясь. К треску и стону деревьев прибавились резкие птичьи выкрики, доносившиеся со стороны монастыря. Несмотря на выпавший утором снег, Юрка без труда разглядел, что недавно и по этому узкому пути прошло множество всадников и проехали не одни сани. С оборванным сердцем и сжавшейся душой он засеменял навстречу, высматривая над кронами резные кресты.

Первое, на что наткнулся, поднявшись к монастырской стене, оказались вздернутые на дереве монахи.

Мальчик рухнул на колени, в бессилии разглядывая открывшуюся ему картину.

Плечи повешенных облепили вороны. Толкаясь и переругиваясь, птицы взмахивали крыльями, топорщили перья хвостов, цеплялись за одежду казненных.

— Эй! — разлепляя замерзшие губы, тонким, но злым голосом крикнул Юрка..

Поднялся и слабо взмахнул палкой.

— Кыш, сволочи!

С неохотой взлетев, вороны расселись на ближайших ветвях. Недовольно склонив набок головы, поглядывали на спугнувшего их человека.

На миг мальчишке показалось, что вот-вот они нападут на него самого — налетят разом, превратят в бьющий черными крылами ком, вырвут глаза и щеки, раскроют крепкими клювами голову... Юрка огляделся. Размахнулся изо всех сил и хватил палкой по стволу ближайшей березы. Птицы хлопнули крыльями, взвились над поляной, раздраженно загалдели. Две или три из них ринулись было в сторону Юрки, но испугались нового взмаха палки. Рассевшись по верхушкам деревьев, принялись громко кричать, перескакивая по ветвям.

Покойники в монашеских одеяниях от толчков птичьих лап раскачивались и крутились на своих веревках. Головы двоих были опущены на грудь, бородами мертвецы словно прикрывали стянувшую их горло удавку. Третий вывернул шею набок и смотрел черными ямами глазниц куда-то

поверх монастырской стены. Расклеванные нос и язык топорщились лоскутами. Еще один монах, совсем молодой и безбородый, висел поодаль, на узловатой ветви. Глаза его вороны тоже успели выклевать. Птицы оборвали и губы — на покрытом инеем лице появилась страшная гримаса, будто казненный беззвучно хохотал.

Сжимая в окоченевших пальцах палку, Юрка боком прошел мимо повешенных, стараясь не смотреть вверх. Вороны провожали его галдежом и перелетали с ветки на ветку, спускаясь все ниже. Дойдя до монастырской стены, мальчик прижался спиной к частоколу, выставил палку перед собой. Но птицы, успокоенные его уходом, и не думали преследовать — снова сгрудились на головах и плечах казненных, резкими ударами клювов принялись долбить промерзшую плоть.

Юрка пробрался вдоль шершавых бревен ограды до распахнутых ворот. Заглянул на двор. Охнув, перекрестился. Что ни шаг — везде лежали безголовые тела людей вперемишку с посеченными животными. Вороны — а их тут было еще больше, чем за стеной, — деловито расхаживали по тропам, то и дело склоняясь и вышаривая клювами в зияющих ранах. Снег не сумел полностью прикрыть подмерзшие лужи крови и мочи, лишь сделал их бледными, да смешался с птичьим пером, усеявшим двор. Повсюду на испятнанном снегу проглядывали кучки нечистот. Глаза мальчишки выцепили оброненную краюху хлеба. Поборов страх, он кинулся к ней, вспугнув всю воронью стаю. Схватил промерзший кусок со следами отщипов — видать, клевали, пробуя, да не стали мелочиться, когда пожива получше есть. Даваясь

слюной, принялся грызть, не обращая внимания на остальное.

Смертей, виденных и пережитых им за эти два дня, хватило бы на век старика.

Вороны расселись по верху частокола и на крышах монастырских пристроек, раздраженно наблюдая за вторгшимся на их пир пришельцем.

Юрке показалось, что он слышит осторожный шепот. Вздрогнул, обернулся и внимательно огляделся. Никого. Решив, что это урчал его живот, снова взялся за хлеб. Удалось откусить кусочек, рассосать во рту до кашицы. С наслаждением проглотил, и вновь послышался ему шепот, на этот раз отчетливый.

С краухой в одной руке и палкой в другой Юрка попятился к воротам.

— Кто здесь? — крикнул как можно грознее, но голос тонко срывался. — А ну, не балуй!

От низкой и длинной келейной с поломанными дверьми донеслось:

— Господи Иисусе, помилуй нас!

Показались две фигуры — большая и маленькая, в монашьих однорядках.

Пугливо выглядывая, руками поманили к себе.

Юрка выронил палку и расплакался...

...Монахов было двое. Высокий, почти безбородый инок назвался братом Михаилом, а другой, щуплый старичок с острым, как у ежика, лицом, велел звать его отцом Козьмой и многозначительно сообщил, что он в монастыре на должности эконома.

— А я звонарем, — сообщил брат Михаил и тяжело вздохнул, вспомнив про то, что сотворили налетевшие на их обитель.

— Одни мы и остались. Схоронились в подклети келейной, а нас и не сыскали. Не иначе, как чудо! Больше из братии никто не уберегся. Отца настоятеля зарубили. Наместника и благочинного с ризничим повесили, с ними келаря и свечника старшего... Остальных до утра продержали в путах, кто сам Богу душу отдал, кого перед уходом обезглавили...

Отец Козьма часто заморгал, принялся крепиться.

Брат Михаил доверительно зашептал, округляя глаза:

— А мы уж было вышли на двор с утра, оглядеть. Страшно сказать, как натерпелись в погребето. Прямо над головами бесчинствовали у нас. Думаем — ну, если увидят щель в полу, значит, и наша судьба с братией остальной полечь. Насилу переждали. А сегодня начали тела собирать, так услышали — воронье всполошилось. Знать, идет кто-то. Уж думали, снова кромешники возвращаются. А это мальчонка к нам пожаловал.

Брат Михаил оглядел Юрку. Сокрушенно покачал головой, увидав его обувку.

— Ты кто ж такой будешь? — ласковым голосом спросил он. — Откуда взялся-то?

Прежде чем мальчик успел ответить, вмешался эконо́м:

— Ты вот что... Чадо замерзло ведь и голодно. Ну-ка внутрь давайте да печь затапливайте. Теперь, думаю, можно — ушли душегубы далеко. А то ж боялись мы, как бы дым не приметили, да не вернулись.

Брат Михаил без дальнейших расспросов потянул Юрку в келейную.

Вскоре мальчишка сидел возле гудящей печки, вбирая тепло всем телом, и все никак не мог согреться. Горящие чурбаки напоминали о вчерашнем пожаре.

Свою историю он рассказал скупно, не забыв упомянуть о непогребенных Федюне и Ваньке с Машкой.

— Вот... — монастырский эконо́м, поводя носом — отчего сделался совершенно похожим на седого ежика, — переворачивал на противне свеклу с репой. — Почти запеклась!

Подув на пальцы, снова принялся креститься и плакать.

— Хоронить нам придется многих. Ох, скольких многих...

Юрка, принимая горячую свеклу, спросил:

— Почему же так делается, батюшка Козьма? В чем вина наша?

Монах вздохнул, посмотрел с жалостью на мальчишку.

— Зима настала над нами суровая, а царь — немилостивый.

Со двора вернулся с новой охапкой дров брат Михаил. Выронил мерзлые чурбаки на пол, рухнул на колени и прижал руки к груди:

— Беда! Дым за рекой до самых облаков...

Юрка перестал жевать и вопросительно смотрел на монахов, переводя взгляд с одного на другого.

Отец Козьма перекрестился и пояснил:

— Кли́н горит!

ГЛАВА ВТОРАЯ

«МАЛО!»

Игуменский возок так трясло и подкидывало на ухабах, что царю пришлось схватиться за посох и упереться ногами в лавку напротив.

— Государь, въезжаем — Сестру переехали! — донесся сквозь грохот полозьев голос Малюты.

Иван прислонился к решетке узкого оконца, но толком разглядеть ничего не смог.

После моста возок кидать перестало, стук по бревнам унялся, но появился иной гул — словно неподалеку бежал огромный табун, бил копытами землю, клацал зубами, храпел сотнями оскаленных косматых голов. Потянуло едкой гарью, на плетеных прутьях окошка заплясали желтые блики.

Царь дернул щеколду, но та плохо поддавалась. Разъярившись, вцепился в лавку, прикусил задрожавшую от бешенства губу и саданул каблуком. Хрястнула дверца, вылетела, и в возникший проем ахнуло горячим. Хлынул и на миг ослепил гудящий свет.

Иван отпрянул и поднес руку к глазам.

Жарко и высоко поднималось пламя над добротными срубами, простыми избами, приземистыми церквушками и купеческими лавками. Поваленные заборы обнажили палисадники — чернели

срубленные яблони, осколками торчали расщепленные пни.

Ворота повсюду были распахнуты или выбиты, на каждах висело по несколько человек. Среди брошенных в грязь товаров из лавок валялось множество тел с рублеными ранами или без голов, а иные были рассечены на части.

Всюду раскиданы обрубки рук и ног, оплывшими стылыми кучками лежала требуха, кривыми корытцами валялись ребра.

Опричники расхаживали между телами, прикрывали руками лица от жара. Заметив шевеление, наклонялись, кромсали топорами и саблями.

Царь выглядывал из сумрака возка, как хищная птица из дупла. Сжимал посох и тарасил воспаленные от бессонной ночи глаза. Губы его плотно сомкнулись, под кожей судорожно дергались желваки.

Миновали горящую окраину. Потянулись узкие кривые улочки. Здесь было все то же самое, разве что без огня: заборы вповалку, висельники на церковных воротах и на крылечных балках. Трупы в грязи — в одежде и нагие, целые и рассеченные, люди и живность. Попадались искромсанные и затоптанные так, что не разобрать кто — человек или бессловесная тварь.

Ехали медленно. Охранный отряд впереди едва успевал расчищать путь — спешились, отшвыривали на обочины застывшие на морозе тела и переломанный скарб.

Иван сокрушенно покачивал головой и хмурился, кидая взгляды на непрерывную полосу из мертвых тел.

...Много лет минуло с тех пор, когда впервые довелось ему, еще молодому царю, увидеть столько мертвых на городских улицах. Двадцать два года было тогда Ивану, и город, по залитым кровью улицам которого он ехал победителем, считался столицей Казанского царства.

Нелегким был успех русского войска. Дважды водил царь войска на беспокойный город, но лишь на третий раз удалось покорить его. Боярство и служилый люд противились новой войне. Припоминали царю его первый поход и треснувший лед на Волге, под который ушло множество народа и пушек с лошадьми. Не забыли и о страшном ливне, разразившимся на исходе зимы во время второго выступления — когда Казань почти оказалась в руках царского войска, на улицах рубили всякого без разбору, оставалось лишь взять главную крепость... Сам царь с саблей в руках возглавлял войско, не страшая врага и увлекая за собой людей. Тут и случилось ненастье, превратившее всю округу в потоки воды и грязи. Увязли пушки, отсырел и пришел в негодность порох, обозы не могли подойти к полкам, голод и болезни выкашивали воинов похлеще татарских сабель и стрел.

В обоих неудачных походах на казанского царя служилые и бояре видели Божью немилость, а кое-кто винил и самого Ивана, попрекая неопытностью. Он и сам был готов впасть в отчаяние. Простаивал на молитвах часами, поклоны совершал так усердно, что на лбу вздулась набитая шишка, — выпрашивал у Бога совета и помощи.

Сильвестр, приближенный ко двору иерей, снова явился к царю для вразумления.

Посмотрел на него испытующе, хмурясь по обыкновению.

«Много ли пользы извлек ты, государь, из того, что получил от монашеской братии на Сиверском озере?»

Смущенный Иван опустил голову. Вспомнил поездку в Кирилло-Белозерский монастырь в сопровождении Сильвестра. Могучая крепостная ограда и крепкие башни отражались в темной озерной воде. За стенами высились девять каменных церквей. «Оплот нестяжателей», как называл монастырь царский учитель, выглядел внушительно. Иван помнил, как передал ризничему и его помощникам щедрые дары, а потом смиренно ожидал результата переговоров иерея с чернецами. Помнил и долгую беседу с пригласившими его в гостиную келью игуменом, духовником и благочинным. Явление наместника с небольшим ларцом в руках не забыть царю никогда. Новая вещь! Иван не отводил глаз от мерцавшей серебристым светом фигурки Павлина, слушая речь игумена. Тот передавал благословление митрополита Макария, говорил о священной войне с осквернителями церквей и губителями христианского народа. Царь кивал, сдерживая kloкочущий в груди восторг — вот он, настоящий предмет для сражений! Одно жаль — не сокрушительный Морской Конек или бесценный для полководца Лев, а лишь вещь-оберег. Но с ней на груди он может кидаться в самую гущу боя — неуязвимый для вражеских стрел и клинков! Казань непременно падет, когда русские войска, воодушевленные храбростью царя, пойдут на штурм.

Жажда отмщения за былые неудачи мучила сердце Ивана и взывала к немедленным действиям.

Однако все пошло совсем не так...

«Молчишь? — усмехнулся Сильвестр. — Умел бы ты еще и слушать, государь... Не внял ты словам игумена — вручить вещицу достойнейшему воеводе, храброму и опытному. Гордыня выиграла...»

Иван вскинул голову и отяжелевшим от гнева взглядом окинул иерея, но тот бесстрашно продолжил: «А между тем есть у тебя в слугах такие! Каждому дано свое. Твое место, государь, на троне, а не на боевом коне. А вот преданный тебе друг князь Курбский государственные дела вершить не рожден, но в сражениях за тебя затмит воинским мастерством любого воеводу!»

После раздумья Иван, совладав с гневом, кивнул.

«Вижу, что правда твоя, иерей. Скажи мне — неспроста ведь Казань так крепка? Стены их сносим, ворота разбиваем, а взять не можем — то одна напасть, то другая... Никак, колдовство вещами наводят?»

Сильвестр пожал плечами:

«Фигуркам присущи разные свойства... Возможно, есть и такая, которой подвластна погода. Но точно нам неизвестно. Ходят слухи, что в главном святилище казанском хранится все добытое татарами серебро. Там может оказаться множество вещей, а может не быть ничего. Узнаем, лишь войдя с мечом в разбойное логово».

Царь дал знак своему наставнику, что прием окончен. Когда иерей удалился, Иван долго сидел на троне, подперев кулаком голову и уставившись в одну точку. Брови его то поднимались, собирая

на лбу ранние морщины, то опускались и сдвигались, и тогда чело прорезала глубокая вертикальная складка. Запустив пальцы в начинавшую густеть бороду, он мучительно раздумывал о предстоящем. Потом, словно очнувшись, тряхнул головой, позвал слуг и велел привести князя Курбского.

Вскочил, подбежал к образам и принялся молиться — как всегда, страстно, громким шепотом и с всхлипами.

Явился Курбский — зеленоглазый красавец с короткой бородкой и волнистой гривой волос, аккуратно заправленных за уши. Молодой, порывистый, с внимательным и умным взглядом, в глубине которого таились огоньки веселья.

Долгая состоялась беседа у двух князей — великого и ярославского. Иван не решился рассказать Андрею все, что знал сам о серебре. Больше говорили о том, что новый поход должен быть и последним. Либо сломить раз и навсегда беспокойного Едигера и усмирить его царство, либо признать силу казанцев и подчиниться им.

Курбский, участник первого похода, пылко поддерживал царя в начинании и поклялся добыть победу. С недоумением он рассматривал врученный Иваном оберег и в сомнении качал головой — набожный князь больше полагался на защиту Господа и свое воинское умение. Но беседа с призванными на помощь Макарием и Сильвестром помогла убедить Курбского воспользоваться серебристым Павлином. Молодому воеводе сообщили немного — только то, что фигурка должна висеть под рубахою, непременно касаться тела. И носить ее следует лишь в минуты опасности, подобно кольчуге. Ироничный Курбский не удержался отметить, что

нательный крест куда как надежнее, потому и всегда на теле. Священники приподняли брови, улыбнулись и пояснили — вещь, которую вручают князю, всего лишь особый вид брони, спасающей тело, а спасение души целиком в ведении Господа, и нательный крест тому подтверждение. Главное, уточнил Сильвестр, разместить Павлина так, чтобы он не лежал поверх креста, а плотно прилегал к телу. Обсудили подробно и действия при взятии Казани — не допустить из города бегства кого бы то ни было. Разузнать все тайные ходы и заложить их взрывчатым зелием. Главную мечеть города не жечь, а тщательнейше обыскать, магометанских священников пытать нещадно, а самого царя Едигера постараться взять живым, для расспросов.

К середине лета с приготовлениями было покончено.

В Москве осталась дожидаться возвращения царя беременная Анастасия. Прощание с ней случилось долгим, жена рыдала и висла на шее Ивана, умоляя отказаться от участия в походе. Тревожно было у нее на сердце — по Москве упорно ходили слухи о неминуемом поражении царя от казанцев и на этот раз. Распускало их, ожесточая государя, враждебное боярство, готовое прозябать в смиренности перед хищным соседом и откупаться, лишь бы не рисковать жизнями и всем добром своим.

Иван, пообещав вернуться с победой, спустился с Красного крыльца на площадь, где его поджидал поданный конь.

Сто пятьдесят тысяч конных и пеших набралось в войско, во главе которого ехал верхом, в блестящих доспехах, царь. Рядом с ним, облаченные по-походному, держались избранные

и приближенные — пожалованный в окольничие Адашев и доблестный воевода князь Курбский.

Гудела земля от топота, вздымалась легкая летняя пыль, над ней колыхались в воздухе красные бунчуки и хоругви, среди которых выделялось темное полотнище с ликом Всемиловитейшего Спаса. Громыхали оружием и песнями титульные полки — Большой, Передовой, Сторожевой,левой и Правой руки. Впереди всех — Ертаульный полк, разведка на быстроногих конях.

Огромное войско двигалось к берегам Волги. Из окрестных деревень подвозили хлеб и мед, а дружины правобережных князей вливались в ряды царских полков. Два месяца пути — и вот ранним утром засияли башни и мечети перед взором вставшего напротив вражеского города войска. Отслужили молебен. Началась долгая осада — кровавые стычки с татарской конницей, обстрелы башен, штурмы высоких дубовых стен и отступление. В первую же ночь над царским лагерем разразился настоящий ураган, снес шатры и походные церкви, раскидал хоругви, взволновал речную воду и потопил множество кораблей.

Отчаяние охватило войско, но Иван горячо воззвал к братии, уверив — Бог на стороне русских, невзирая на колдовство врага. Курбский, едва сдерживая горячего коня, дожидался сигнала к наступлению. Лицо его было бледно от ярости, ноздри трепетали, пальцы сжимали рукоять меча, а глаза, утратив обычную веселость, полыхали холодным разноцветьем.

«Господи, о твоём имени движемся!» — воскликнул царь Иван.

Взревели трубы, и загрели барабаны, колыхнулось и потекла людская лавина в сторону рвов и хорошо укрепленных стен...

Не одну неделю длилась осада Казани. На стенах города кружились в диких плясках татарские ведьмы, визгом и ворожбой подбодряя своих лучников. Под стенами же дни и ночи шла беспрестанная работа — слушая указания инженера-немца, русские совершали подкоп и закладку взрывчатой смеси.

В решающий день Иван, стоя у порога походной церкви на холме, обнял Курбского и заглянул ему в лицо. Теперь сомнений у него не оставалось — стало ясно, что вещицы не только холодят кожу, но и меняют цвет глаз. Царь и его воевода всматривались друг в друга, словно увиделись впервые.

«Твои глаза, государь...» — растерянно произнес Курбский.

Иван без лишних слов вытянул из ножен меч и поднес его к лицу друга. Тот впился взглядом в свое отражение, затем вопрошающе взглянул на царя.

«Знак Божий, — кратко пояснил Иван. Подумал и добавил: — На обоих нас. Делай свое дело, Андрей. А я займусь своим. Так победим!»

Курбский поклонился. В сопровождении нового оруженосца, выделенного ему лично царем, — огромного и могучего стрельца Омельяна Иванова, которого государь помнил со времени московского бунта, — князь зашагал в сторону ожидавшего у подошвы холма войска.

— Омелька! — окрикнул царь.

Богатырь замер и обернулся, приложил руку к широченной груди.

— За князя головой отвечаешь! Живому помогай, а павшего не бросай среди разбойников!

— Государь, дух испущу, а приказ твой исполню! Мертвым стану — а князя все равно беречь буду! — ответил ему гулким басом стрелец.

— Ступайте! — махнул рукой Иван.

Курбский и оруженосец поспешили вниз.

Царь обернулся к Адашеву. Исполнительный окольничий уже держал наготове небольшой тряпичный сверток с торчавшими из него тонкими птичьими лапками. Быстро размотав лоскут, достал распушившего серый хохолок жаворонка. «Чирр-к, чирр-к, чр-рик!» — сердито выкрикнула птица и завозилась в ладонях Алексея.

Иван склонился над ней, пристально посмотрел в маленький темный глаз. Кивнул Адашеву и скрылся за пологом церковного шатра. Опускаясь перед походным складнем, услышал легкий хлопок — это жаворонок взмыл из рук Адашева в осеннее небо. Заставляя птицу подниматься все выше и выше, царь оглядывал открывшийся ему сверху неприятельский город. Даже издалека татарский кремль вызывал невольное уважение своей мощью — глубокие рвы с юго-востока и блестящий на солнце рукав Казанки с запада, стены в несколько сажень толщиной из камня и бревен, с четырьмя проездными башнями, мурованные мечети и сам дворец казанского царя, словно крепость в крепости.

Зависая в прохладной вышине, Иван наблюдал, как колышется лавина войска, ожидая наступления.

Взрыв, гроыхнувший под Алтыковыми воротами, взметнул в воздух месиво из земли, камней, людей и бревен. Тугой горячий воздух опрокинул

стоявшие поодаль передние ряды царских полков. И тут же рвануло на другом конце посада, у Ногайских ворот, да так мощно, что висевшего высоко жаворонка швырнуло в сторону — словно мальчишка наподдал по тряпичному мячику. Иван едва совладал с обезумевшей от страха птицей и, когда полет ее выправился, увидел, что в дымящие проломы текут людские потоки. Ертоульный, Передовой, Сторожевой полки ворвались в посад, начались уличные сражения. Под тучами стрел царские войска добрались до кремлевских стен, угодив под лавину сброшенных на них камней и бревен, а следом хлынули на их головы потоки кипящего вара... Где-то там внизу вел за собой людей бесстрашный князь Андрей Курбский. Иван, стоя перед иконами и одновременно не выпуская из подчинения птицу высоко над сражением, испуганно подумал — не знает ведь он доподлинно, насколько хорош в защите Павлин. От клинков, копий и стрел уберегает, пищальные пули тоже должен отводить, но вот насчет летящих с высоты деревянных колод или камней размером с теленка ничего не известно...

...От воспоминаний о военном походе царя отлекли грубые выкрики.

Возок остановился, и в дверном проеме возник соскочивший с коня Малюта, протянул лапищу в рукавице, заурчал по-медвежьи:

— Государь, дальше никак не проехать. Разве что верхом.

Иван недовольно выглянул наружу.

Впереди виднелась деревянная церквушка. Прилегающая к ней площадь была забита людьми, согнали со всего посада.

Улицу перегораживало несколько груженных под завязку дровней. Из-под задравшейся рогожи торчали руки со скрюченными пальцами и ноги — в обмотках, валенках или босые. Некоторые сани были укрыты полностью, вымазанная в крови ткань выпукло круглилась, будто под ней свалены в кучу капустные кочаны.

Прихватив посох, царь вышел из возка и мрачно огляделся.

Опричники возились с незапряженными дровнями, тянули за оглобли, пытаясь высвободить путь.

— Кровищи-то натекло вниз, вот и примерзли! — стукнув ногой по саням, пояснил неведомо кому долговязый Третьяк.

Петруша Юрьев суетливо дергал края рогожи, путаясь у всех под ногами, пока не получил затрепину и не шмыгнул прочь.

— Омелька где? — заполошно выдохнул паром Тимоха Багаев, крутя головой. — Сюда его скорей!

Позади возка протяжно и шумно вздохнула огромная мохноногая лошадь — Омельян слез с седла и, разминая ноги, вперевалку направился к забору из саней, возвышаясь над опричниками, как осадная башня.

— Ишь, — ухмыльнулся он, ухватился сразу за оглобли двух саней и попятился, потащил за собой, вминая каблуки в загаженный снег. Полозья заскрипели и сдвинулись. Набитые страшной поклажей сани откатились к обочине.

Омелька вернулся к оставшимся саням и дернул те из них, что были укрыты тщательней. От рывка дровни хрустнули, а заботливо уложенная куча под рогожей рассыпалась. Головы — бородатые

мужичьи, длинноволосые бабьи и лохматые ребячьи, — кувыркаясь, покатались под ноги царя и свиты. Открытые рты, застывшие глаза с наплывшими на них веками, черные обрубки шей.

— Вот как... — озадаченно протянул густым басом Омелян, поднял руку к затылку и сдвинул себе шапку на нос. — Ишь ты...

В другой раз загоготали бы опричники, тыча пальцами в незадачливого товарища, но едва взглянули они на царя, как на лица их легла тяжелая тень тревоги. Государь молча уставился на россыпь обындевевших на морозе голов. Его собственная голова подрагивала на жилистой шее, жалко торчавшей из мехового воротника. Глаза затуманились, и выкатилась на нос мутная слеза.

Малюта подвел своего коня, склонился, жестом предложив посадить в седло. Иван потрепал косматую гриву и неожиданно зло оттолкнул лошадиную морду. Перекрестился на церковный купол.

— Пешком пойду!

Придерживая подол шубы, царь, аккуратно ступая среди человеческих останков, направился в сторону площади.

Опричная свита поспешила за ним. Малюта оглядывался и буравил злыми глазами слабоумного верзилу. Царское благодушие, и без того зыбкое, точно болотная ряска, из-за оплошности Омеляна грозило исчезнуть без следа. И надолго ли — никому неизвестно. Многие могут и не дожить.

На площади рубили головы.

Из разоренных лавок мясного ряда прикатили дубовую колоду, установили перед храмом. На церковном крыльце стояли оба Басманова. Федор

подавал отцу смятые клочки бумаги. Тот, держа их в вытянутой руке перед собой, вглядывался в кривые, наспех выведенные буквы и выкрикивал имена:

— Семенов Андрейка!

Косматого мужичка в драном армяке тащили под руки к колоде, с размаху швыряли, прикладывая скулой на темный и мокрый срез. Остальные в толпе поспешно крестились, уповая, чтобы следующее имя было не их. Мужичок сучил коленями по грязи, пытался вывернуть голову. Дико тарашил глаза, разевал рот, заходился в бессмысленном крике. Борода его смялась и напилалась от колоды кровью, щека измазалась. Палач-опричник, одуревший от работы и запаха, кивнул подручному. Тот обежал колоду, схватил мужичка за космы, притянул к деревяшке, убрал руки так, чтобы не попали под лезвие. Взлетело широкое — точно сломанное пополам столовое блюдо — полотно мясницкого топора.

— Хэк!

Крик Семенова оборвался, голова отскочила, кувыркнулась в вязкой, уже прихваченной морозом луже под колодой. Палач оттолкнул ногой мелко трясущееся тело. Из шейного обрубка хлестало алым и горячим, растапливая мерзлую жижу под ногами палача.

— Что ж вы, псы шелудивые, творите?! — загремел вдруг голос государя над площадью. — Разве для озорства такого я вас сюда направил?!

Появление царя перепугало всех: и склонившуюся до земли чернь, и употевших за трудами опричников.

Басманов, комкая листы, всматривался в мрачное лицо царя и пытался сообразить, что ответить.

Иван ухватился за блестящего на посохе Волка так, что посинели лунки ногтей. Обвел собравшихся полным бешенства взором.

— Вот как вы службу справляете!

Дрожащий скулеж и многоголосый плач поплыли над залитой кровью площадью.

Люди падали и барахтались в грязи, вскидывали головы с невидящими глазами, озирались, кричали. Опричная стража и собранная чернь смешались в одно обомлевшее стадо. Покатился с крыльца старший Басманов. Пополз, хлюпая руками и коленями в кровяной жиже, к царю, силясь крикнуть что-то в оправдание, но горло сжало клещами страха. Сын его Федька присел по-девичьи на ступенях, закрыл лицо руками, впился крепкими зубами в ладонь, так что побежала кровь, и завыл тонко, леденяще.

Лишь царская свита, что прибыла с Иваном из монастыря, избежала высочайшего гнева — не обернулся государь, не устремил на стоявших позади него взгляда преобразившихся лютых глаз.

Басманов почти дополз до царских ног. Малюта, встревоженно наблюдавший за ним, выступил из-за плеча государя и потянул из ножен саблю. Бросил взгляд на царя.

Иван отнял руку от набалдашника, знаком велел Скуратову убрать оружие.

— Царь-батюшка... Иван Васильевич... верой и правдой ведь... — скороговоркой бормотал царский воевода, весь перемазанный кровью и нечистотами.

Малюта вогнал саблю в ножны, провел лапшей по рукояти, огладил и с сожалением отошел в сторону.

— Крамолу истребляли, государь... Они многие тут! Мы же всю ночь... Доносы принимали... списки писали!..

Царь удивленно смотрел на распластавшегося в его ногах Басманова.

— Да что с тобой, Алексей Данилович? — спросил Иван тихим голосом. — Встань-ка, любезный князь.

Воевода вскочил, отер лицо изнанкой кафтана. Преданно впился глазами в государя.

— Эх, Алешка, Алешка... — покачал головой царь. — Стар ты становишься. Грузен, неспешен. Эвон брюхо-то, на лавках сидя да на перинах лежа, взрастил.

Басманов всем видом изобразил согласие и сожаление.

— Сколько ж вы с утра тут нарубили, соколики? — желчно усмехнулся Иван, оценивая натекшую на площади кровь.

— Так это... Согласно спискам, государь! Пять сотен их, с довеском... Три сотни к твоему приезду едва успели.

— А довесок велик ли? — прищурился царь, оглядывая толпу.

Басманов задумался, припоминая.

— Да с полста наберется, государь. Вели Федора позвать, списки глянуть...

Иван вдруг разгневанно замахнулся на воеводу посохом:

— Мало! Мало изменников в твоих списках собачьих! На крюкотворство время истратил — а они вон, стоят живые себе! Мало шей посекли!

Царь резко развернулся, широким шагом направился к оставленному возку. На ходу обернулся и погрозил Басманову пальцем:

— К ночи чтобы со всеми управился! Затем людям отдых дай. После утрени выступать на тверских начнем

Опричный воевода кинулся исполнять.

Его сын поспешно выкрикивал имена обреченных дрожащим от перенесенного ужаса голосом:

— Акимов Мишка!

— Алпатов Максимка и жена его!

— Одинцова Анисья с приплодом!

Вмешался хриплый, еще не окрепший после пугливой немоты бас воеводы:

— Тащи портежницу и чертенят ее, отделявай разом!

— Сучилин Алексейка!

— Ивашка Андреев и сын его!

Снова басмановский хрип:

— Кидай всех в грязь да руби в пирожные мяса!

Крики и стоны, плачь и мольба.

Покинув площадь и проходя мимо груженных мертвечиной дровней, царь брезгливо приподнял полы шубы, перешагнул через пару попавших под ноги голов и забрался в возок. Дверцу, что выбил он при въезде в город, заботливые слуги притащили и споро приторочили.

— Устал я, Малюта, — пожаловался Иван возившемуся с дверной задвижкой Скуратову. — Мясом повсюду смердит, нечистотами, злобой. Найди место, где потише. Отдохнуть мне надо.

Опричник обрадованно вскинулся:

— Так это... Уже подобрал ночлег тебе, государь! Самая просторная усадьба, какая ни на есть в городишке этом, — купца Коноплева.

— Эка ты скор, Гришка... — удивился царь. — Когда ж успел только?

Скуратов смущенно кашлянул и махнул кому-то. Тут же рядом возникло молодое лицо с едва наметившимися усами и бородкой. Косматая меховая шапка была надвинута на брови по-скуратовски, да и широкие скулы с медвежьими глазками выдавали родство.

— Племянш мой, государь, — подал голос Скуратов. — Богдашка Бельский. При себе в отряде не держу — чтобы кумовства не разводить. Под началом Алексея Данилыча служит, воинской науки набирается. Он еще вчера вечером тебе ночлег и подыскал.

— Ох и хитер ты, Малюта, — усмехнулся царь. — Басмановым в соглядатаи родственника своего пристроил!

— Да чего там, — потупился опричник, разом сделавшись похожим на провинившегося пса. — Пусть малец учится. Воевода он знатный, старший-то который...

— Ну а младший? — резко спросил Иван. — Про него что говорят?

— Всякое, — уклончиво ответил Скуратов, пожимая плечами.

— Всякое... — в раздумье повторил царь и поманил пальцем скуратовского племянника. Едва Бельский приблизился, он схватил его за ворот кафтана, рванул так, что треснуло сукно, и затянул молодого опричника головой в сумрак возка. — Ну, Богдашка, смотри внимательней! За обоими приглядывай! Сам видишь — «всякое» говорят. А мне нужно одно: чтобы о верности говорили и верность же исполняли! Крамола, она как ржа — может и железо точить, что ее сечет. Вам, Бельским, есть от меня доверие, делами заслуженное. Порода ваша песья, преданная, за то вам и милость

оказываю. Остальным же верить начну — пропадет государство, как едва не пропало. Ступай!

Царь вытолкнул опешившего опричника и окинул взглядом обоих родственников.

— Ты, Малюта, себе кафтан заштопай, да племянничку вели в порядке быть. А то смотреть на вас противно — два оборванца!

Расхохотался и захлопнул дверцу.

Усадьба купца Коноплева стояла на выезде из Клина, вдалеке от охваченного пожаром посада. Раскидывалась она по обеим сторонам улицы, ведущей к тверской дороге. На одной располагался широкий купеческий двор и хоромы. За накатанным полозьями проездом виднелись конюшня, овины, скирдник и замерзший пруд с пятном небольшой, уже слегка затянувшейся проруби. Там, под крышкой ледяного гроба, затих навсегда хозяин усадьбы со своей семьей и челядью.

Огромные сени вели мимо пары холодных кладовых в жилые покои. Передняя комната, самая большая, была без топки. Тесовые стены и потолок потемнели от времени, узкие слюдяные окошки едва пропускали свет. Вдоль стен тянулся стычный стол, покрытый вместо скатерти дорогим ковром. Во второй комнате находилось зимнее жилье хозяев. Окон и свету было в ней больше. Возле внушительных размеров печи навалена куча дров. Три лампадки мерцали перед образами в красном углу. Мебели было немного — черный от старости сундук и несколько стульев. Здесь же, не скинув коротких сапог, на заваленной шубами кровати лежал Иван, больше походивший на покойника, чем на живого государя.

Думы его были тяжелы и мрачны.

Клин, разоренный опричной братией, действительно напоминал ему залитую кровью Казань. Но тогда, восемнадцать лет назад, он проезжал среди руин и нагромождения человеческих тел молодым царем-победителем, хоть и не бравшим в этот раз в руки оружие. Сердце заходило в восторге, когда смотрел он на багровый стяг со Спасом, величаво колыхавшийся над обломками ханской крепости. Не было рядом Курбского, но Иван знал, что князь живой и невредимый рыщет сейчас по обломкам главной мечети казанцев. Как ни стремились сохранить ее в целости, но бой за нее оказался столь тяжелым, что на помощь царским войскам пришла артиллерия. Мечеть оборонял целый полк из казанского духовенства. Возглавлял оборону главный мулла Кул Шариф. Все до одного полегли они, защищая свою святыню. Теперь надежда только на Курбского. Если сумеет воевода раздобыть казанское *серебро* — прирастет Россия не только землей и людьми, но и божественной мощью. Неспроста ведь такой тяжелой выдалась битва за мечеть — было что терять врагам, не иначе. Жаль лишь, что не помогал сейчас Курбскому его оруженосец, великан-стрелец, кто мог бы шутя ворочать обломки мечети и приподнимать огромные камни. Зато пригодился он князю в бою. Когда покатались на воинов тяжелые бревна, Омельян уберег своего хозяина — отшвырнул, не церемонясь, в безопасное место, а самого завалило, вместе с целым отрядом. Из всех только Омелька и выжил. Изломанного, с расколотой, как орех, головой, его достали из-под завала и по приказу самого царя оттащили к лекарю. Выбор у англичанина был невелик — не дать

герою и спасителю князя помереть или отправиться на кол. Иноземец, собравшись с духом, ответил, что, даже если свершится чудо и стрелец выживет, прежним уже не будет никогда — так тяжелы раны на голове. Иван лишь махнул рукой и повторил приказ, в награду пообещав щедрый земельный надел и долю от казанской добычи.

Радость и ликование слышались повсюду. Царь собрал войско. Проезжая на коне мимо перепачканных кровью, грязью и сажей людей, Иван выкрикивал слова, которые помнил и спустя много лет:

«Воины мужественные! Бояре, воеводы! Стреляя за имя Божие, за веру, отечество и царя, сего дня вы приобрели славу, неслыханную в наше время. Никто не показывал такой храбрости; никто не одерживал такой победы! Вы — достойные потомки витязей, что с великим князем Димитрием сокрушили Мамай! Вы же, кто остался лежать на поле брани, — уже сияете в венцах небесных. Наш долг — славить вас во веки веков, вписать имена ваши для поминовения в соборной апостольской церкви. Все храбрые, кого вижу перед собою! Внимайте и верьте моему обету любить и жаловать вас до конца дней моих!»

Восторженный рев был ему ответом, пьянил и наполнял гордостью. На всем пути домой народ чествовал царя и его героев, особенно — князя Курбского. В Нижнем Новгороде из-за криков толпы не было слышно колокольного звона. «Многие лета царю, избавителю христиан от губителей!» Но чем ближе к Москве подъезжал Иван, тем чаще становился задумчив, а порой впадал в угрюмое расположение духа и поглядывал искоса на своего воеводу и друга Андрея. Подозрения угнездились

в царской душе, принялись расти, когтить душу. С пустыми руками вернулся воевода из казанского кремля. Не оправдались надежды Ивана, зато заронились в душу зерна сомнений. Правда ли не сыскал ничего Курбский среди развалин магометанской молельни или что-то нашел и скрывает? Почему так легко расстался с оберегом-Павлином — снял с себя и передал Ивану при первой же встрече после сражения? Что, если заполучил удачливый князь куда как более сильную вещицу, да утаил от государя?

Иван пытался уловить в лице воеводы хотя бы малейшие признаки лукавства или измены, но Курбский вел себя как и прежде — был открыт, весел и полон преданности государю. Или это только казалось Ивану...

Даже радостное известие о рождении наследника, настигшее царя на пути во Владимир, не смогло вытеснить из сердца горечи подозрений. Так ли верны ему самые приближенные люди? Не шел из ума взгляд Сильвестра, столь поразивший юного Ивана во время бунта погорельцев. Совпадений тут быть не могло. То, что Медведь меняет цвет глаз хозяина, он понял после слов жены и убеждался потом не раз, получая от иерея вещицу для охоты или потехи с кенарем. Анастасия поначалу пугалась, но, когда освоилась с Медведем, часами могла забавляться, заставляя кенаря петь, как ей вздумается, а на охоте играла с мелкими лесными зверюшками. Глядя в ее преображенные глаза, Иван каждый раз задумывался — только ли Медведь имеет такое свойство или любое *серебро* тем самым выдает своего владельца? Обладал ли чем старый иерей и если да — почему скрыл, не признался царю?

Вернувшись в Москву, Иван сменил доспехи на платно из узорчатой золотой ткани, на плечи его легли бармы, украшенные драгоценными камнями и жемчугом, поверх надели на него становой кафтан, крест на золотой цепи и возложили на голову шапку Мономаха. Тяжелее кольчуги и шлема царский наряд. Нелегко было и на душе Ивана, взиравшего на славящую его толпу. Сегодня кричат «многие лета!» и бросают вверх шапки, а завтра — не придут ли требовать смерти?

Вопреки уговору с Сильвестром, Иван не вернул ему ни Медведя, ни Павлина. Возражения и доводы иерейские даже слушать не стал, лишь пристально вглядывался в блеклые глаза старика — не полыхнет ли в них колдовское разноцветье? Лукавый церковник, будто чуя что-то неладное, поспешил удалиться.

Сомнения порождали беспокойство, с каждым днем все больше переходящее в страх. Снова возвращалось в сердце отчаяние, точно он вновь малолетний сирота, вздрагивающий от каждого звука в дворцовом переходе. Иван стал осторожен в еде и с опаской заглядывал в кувшин с водой. За толстыми колоннами мерещились убийцы с ножами.

Медведя он спрятал за оклад знакомой с детства иконы, а Павлина не снимал с груди даже на ночь и в мыльне. Вечерами доставал бережно хранимую загадочную книгу, привезенную его бабкой из Рима. Подолгу листал тонкие страницы, оставив взгляд на рисунках серебристых вещей. Гладил кончиками пальцев Ласточку и вздыхал. Латинская приписка под непонятными письменами уверяла, что эта вещь бережет от любого яда.

В тревогах провел Иван остаток осени, пристально всматриваясь в каждого собеседника, подолгу ожидая снятий пробы с кушаний, но к концу зимы все же не уберегся и слег. С сильным жаром и ломотой в костях метался он на постели. Перед тем как провалиться в бездну горячечного бреда, царь отчетливо понял, что умирает. Отравой или волхвованием извели его недруги, было уже неважно. Все, что беспокоило угасавшее сознание, — судьба сына Дмитрия, наследника. Отлетит душа Ивана — что станется с грудным младенцем, во что превратится жизнь его и будет ли долгой? Что сделают с едва начавшим крепнуть государством, впервые потеснившим Восток? Не удержат бояре Казань. Сдадут все приобретенное, завоеванное немалой кровью. Разворуют и продадут за бесценок, а остатки бросят и сбегут к иноземцам в услужение.

Царский дьяк Михайлов принес бумаги для заветования. «Целуйте крест и присягайте Дмитрию... Не дайте вероломным извести царевича...» — шептал слабеющими губами Иван.

Умирал он тяжело. Невыносимая боль скрутила каждую косточку, кожа горела, словно обваренная. Виделись страшные и диковинные картины — полыхали дома и деревья, застилал все вокруг густой дым, а затем и вовсе потемнело небо от ползшего по нему змеиного чудища, разевалась зубастая пасть, и скрывалось в ней кровавое солнце. Непроглядная тьма наполнялась воем и стонами, лишь неясные силуэты колыхались возле его кровати, нависали, склонялись, будто рассматривали и хотели о чем-то сообщить, но не было у них ни глаз, ни ртов, и виднелась сквозь них все та же тьма...

То, что он остался жив, иначе как чудом назвать никто не решился. Некоторое время Иван не мог подняться, лежал с закрытыми глазами, но кошмары отступили, мгла в голове развиднелась, сгинули прозрачные бесы.

Сел на кровати. Схватился за грудь.

Павлина не было.

На слабых ногах доковылял до киота. Сил отогнуть оклад Спаса не хватило, но потряс икону и услышал знакомое постукивание внутри. Значит, лишь на теле нашли вещицу, сняли, а Медведя Спас уберег.

Мятеж учинили, у царской постели!

Едва живой, но разъяряясь все больше, черпая в гнев сил, вышел к бубнящим боярам — худущий, всколоченный, с темным лицом и почерневшей душой. Окинул всех ненавидящим взором и велел подать одежду. Пока его одевали, Иван наслаждался растерянностью, страхом и раболепием бояр.

Не было веры отныне никому.

Кроме двух людей, пожалуй.

Появился в это время при царском дворе Гришка Бельский, коренастый и обстоятельный, больше походивший на меднобородого торговца, чем на дворянина. Должности никакой не сыскал поначалу, но доверием Ивана обладал сполна. Царь и сам не понимал, отчего так благосклонен был к простоватому на вид бородачу. Но тот служил столь усердно и верно, что порой приходилось умирать его пыл. Смешно подумать — под князя Курбского принялся было копать Гришка. А ведь это Андрей и спас Ивана — в дни государева беспамятства

снял с него шнурок с Павлином, вспомнив о наставлениях церковников. Едва царь поправился, Курбский сразу принес завернутый в атлас оберег, склонился и протянул Ивану. Тот после недолгих раздумий велел воеводе держать серебристую птицу у себя. В бывшем Казанском царстве было опять неспокойно. Бунтовали дикари — мордва, черемисы, вотяки. Нападали на купцов и русские поселения, грабили, убивали. Взяли в плен и зарезали воеводу Салтыкова. Принялись возводить крепости в дне пути от Казани.

«Прав был лукавый Сильвестр в одном, Андрей, — сказал печальный Иван. — Не воин я, но государь. Ты же — воевода по милости Божьей! Кому, как не тебе, владеть оберегом от вражеских стрел да мечей! Меня эта птичка едва не сгубила, тебе же вновь послужит с пользой. Ступай и умири приволжские племена!»

В книге про вредоносность вещиц ни на латинском, ни на греческом ничего сказано не было. Да видать, попы с *серебром* были опытни и знали куда больше, чем говорили.

В том, что скрывают они свое могущество и чужими руками жар нороят загрести, Иван не сомневался. Как был уверен и в том, что Сильвестр ворожил во время его болезни, убеждая присягать не наследнику, сыну государеву, а Владимиру Старицкому, человеку слабовольному и недалекому, несмотря на двоюродное родство с Иваном.

Тут снова сгодился Гришка Бельский, по прозвищу Малюта, — учинил тайный обыск в доме иерея и в его Благовещенской церкви. Не один, конечно, а с доверенными людьми, которых лично отбирал для деликатных царских поручений. Не

сразу нашли улики. Но когда по подсказке Ивана потрясли и простукали в храме каждую икону, то за Предтечей обнаружили тайник, а в нем — другой. Вероломный старик прятал за иконой Писание, да не простое, а то самое, что когда-то приносил на встречу с царем. С титульной стороны взглянуть — так обычная церковная книга. А с нижней — в переплете проделано хитроумное углубление, будто раньше туда была втиснута небольшая фигурка.

В иерейском доме разыскали среди бумаг кое-что любопытное — листы точно такие, как в енохианской книге, только рисунки другие — *серебряные* вещицы, о которых умолчал Сильвестр. Иван сопоставил изображения с оттиском на Писании и без труда понял, какая фигурка крепилась когда-то к переплету.

Орел с полусложенными крыльями.

Понятных глазу надписей под рисунком не было, но царь прекрасно понимал, каким свойством обладает эта вещица.

Дар убеждения.

...Потрескивали дрова в печи, плыл теплый воздух от ее украшенного затейливыми изразцами бока. За окнами сгустилась темень.

Иван, неподвижно лежавший на кровати, горько вздохнул.

Знал, что грядет еще одна бессонная ночь. Вздорженная память не даст заснуть, подкидывая картины из прошлого, заставляя переживать их снова, с каждым разом все острее и болезненнее. Ошибки, по мягкосердечию совершенные раньше, приходилось исправлять теперь лезвием топора.

Послушай он рьяного Малюту — тот предлагал отправить Сильвестра на виску или угли, — заполучил бы столь вожделенного Орла еще в молодости. Совсем иначе бы повернулись государственные дела. Успешные переговоры с иноземцами, послушные думские бояре и покорные степные ханы...

Но не решился царь пытаться бывшего наставника. Допросил и сослал все отрицавшего строптивца в Соловецкий монастырь. Адашева же держал в Дерпте под стражей. Пригрозил тому пристрастным допросом, ожидая раскаяния и признаний. Но обхитрил его и тут Алешка — отдал Богу душу, не дождавшись Малютиного подвала. А следом и Сильвестра не стало.

Но Иван точно знал, что вещица эта находилась покамест в русской земле, пребывая в постоянном движении внутри церковного круга. Перепрыгивалась, кочевала по соборам, монастырям, отдаленным скитам и подворьям, деревенским церквушкам и часовням — нигде не задерживаясь настолько, чтобы смогли ее выследить царские люди.

А потом случилось несчастье. Предал царя единственный близкий друг, князь Андрей — бежал к польскому королю, да не с пустыми руками. Запугали его или перекупили, Ивану не было дела — в ярости он носился по дворцу и крушил посохом все, что попадалось на пути. Следом новая беда — Малютины люди разведали, что Орел по церковным путям следует в новгородщину, а там свито такое гнездо измены, что все государство на гибельном краю очутилось.

Иван вздохнул снова, на этот раз громко, почти со стоном.

Вспомнил два последних дня, пропитанных смертями.

Глядя на темный потолок, прошептал:

— Мало.

Помолчал, прислушиваясь к внутренней дрожи. Повторил уже громко и решительно:

— Мало!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛАГЕРЬ

К вечеру подошли к Твери.

Остановились по приказу царя в пяти верстах от города, выйдя на широкую просеку. Далее дорога уходила вниз, к замерзшим Тьмаке и Волге. Но города за рекой не увидеть — все пожирала ненастная мгла.

Непогода разыгралась. Поднялась сильная метель. Ветер налетал нещадно, люди дрожали — одежда не спасала от холода. Сдувались рогожи с повозок. Трепетали гривы коней, разметались хвосты, хлопали края попон. С криком и бранью, едва различимые в пелене снега, опричники разбивали шатры. Коченеющие руки не слушались.

Егорка Жигулин погнался за слетевшей с головы шапкой, увяз в снегу, похабно изругал ненастье, царскую затею и свою судьбу. За что тут же получил тычок в зубы от возникшего рядом Малюты.

— Не ропщи! На государевой службе об одном позволительно горевать — что еще не сложил за царя голову! — наставительно изрек Скуратов, стряхивая снег с рыжей бороды.

Раскладывали костры. Кто-то пытался набивать котелки снегом, растапливать его, но вьюга задувала огонь, забрасывала белыми вихрями.

Кормили лошадей, держа у самых морд мешки — иначе сено разлеталось без остатка.

В царском шатре едва теплился огонек. Шипели и потрескивали объятые огнем ветки, плясали по стенам нечеткие тени.

Иван сидел на походной кровати, укрытый несколькими шубами, мрачный и молчаливый.

— Не лучше ли нам в Твери ночлег сообразить, государь? — глядя исподлобья, спросил Малюта. — Померзнем тут. Лошадей погубим.

Царь, погруженный в мысли, смотрел, как пляшут по хворосту сине-желтые язычки.

Помолчав, Малюта подул на руки и осторожно добавил:

— В полверсте отсюда деревня. Верста с четвертью — еще одна. Все лучше, чем в лесу.

Иван очнулся, оторвал взгляд от костерка и подманил пальцем Малюту.

Скуратов востропел, подскочил, опустился на колени.

— Слушаю, государь!

Иван пожевал губами, будто сиюсь произнести нечто трудное. Сполохи зыбкого света выхватывали его осунувшееся лицо.

— Вот что, Лукьяныч... — наконец сипло начал царь. — Задание есть тебе. Пока не исполнишь — в Тверь не пойдем. Не могу грех на душу брать, не убедившись, что верны деяния мои. А какую тверские милость заслужат — от тебя, Гришка, зависит во многом.

Скуратов весь обратился в слух.

Царь понуро наклонил голову. Вдохнул, точно больной старик. Наконец решительно вскинулся, хлопнул себя по укрытым соболиным мехом ногам.

— Поедешь в Отроч монастырь. К Филиппу. Знаю, что непогода, но нет времени ждать. К утру должно быть решение.

Малюта послушно кивнул и поднялся. Запахнул одежду поплотнее. Поправил сабельную перевязь.

— Скажешь: царь велит одуматься. Пусть перестанет упрямиться. Не время сейчас нам в ссоре быть — измена страшная готовится. И клир, и чернецы — все замешаны, пополам с боярством. Пуская *серебро* отдадут. Знает Филька, о чем речь. Если согласится — вези его ко мне сюда, с почетом.

Скуратов молча поклонился, попятился к выходу.

— Стой, — тихо окликнул царь.

Малюта замер, как настороженный зверь.

— Откажется если... — Иван мелко затряс головой и выдохнул: — Удави.

На миг прикрыв глаза в знак понимания, «верный пес» сдвинул полог шатра и скрылся в снежной буре.

Иван сидел, глядя на затухающий огонь. Глаза слезились и болели — не столько от едкого дыма, сколько от тяжких дум. Обеспокоенный, заглядывал Васька Грязной, подкладывал нарубленных веток. Приходил Штаден — немчура, лично взятый царем в опричнину. Шевеля заиндедевшими усами, немец предложил скрасить ночь государя беседой о германских порядках или разыграть шахматную партию. В другое бы время согласился Иван с охотою — любил послушать немца, посмеяться над историями, густо замешанными на враках и хвастовстве. Да и в шахматы тот играл не хуже Афоньки Вяземского.

Но не лежала душа. Не просила веселья.

Как-то там Скуратов? Добрался, поди. Что там в келье сейчас? Колычевский род упрям, строптив, дерзок. Одна надежда — умеет Григорий с людьми управляться. Филипп, хоть и чернец, бывший митрополит, а все же из человеческого мяса.

В конце концов Иван прогнал всех. До возвращения Малюты приказал не тревожить.

Опустился перед походным складнем. Требовательно глядя на грустные лики, свистящим шепотом принялся молиться.

Отбив поклоны до привычного онемения лба, краем глаза заметил, что прокрался в его шатер кривляющийся бес, чернотелый и безобразный. Встал сбоку и взялся приплясывать, передразнивать. Иван кланяется, и бес гнет кривую спину, выгибается, словно кошка. Креститься начинает Иван, сразу же бес машет тонкой лапой перед своей мордой.

— Боже! Будь милостив ко мне, грешному! — в страхе воскликнул царь и вскочил, не выдержав бесовских насмешек.

Пусто было в шатре. Лишь огромная и нелепая тень на стене.

Малюта вернулся поздно утром, один.

Взглянул в больные глаза государя и помотал головой.

Сердце Ивана зашло в мертвящей судороге.

— У-у-у-у-у! — завыл, обхватил голову, закачался над костерком.

Тотчас и длинная, уродливая тень взялась за свою верхушку, принялась скоморошничать.

Сжал государь виски изо всех сил, точно боясь, что не выдержат они напора ударившей в них

крови — лопнет голова, разлетится, как от पिщальной пули.

Скуратов безмолвно стоял перед ним.

Иван резко опустил руки и выскочил из шатра, сам не свой. Гнев, охвативший при известии об упрямстве Филипки, звенел по всему телу. От ярости сводило пальцы, дергало шею, сдавливало грудь. Иван потянул ноздрями морозный воздух, пытаясь охладить кипящее нутро.

Метель унялась.

Курился прозрачный дымок над палатками воинов. У костров тянули руки к огню хмурые часовые. В длинный полукруг выстроены сани с возками. За ними — спины лошадей, как холмистое поле. Дальше, вдоль белого языка реки, виднелись разбросанные в беспорядке крестьянские избы. Темнел прогалистый лес. За ним, совсем близко — ненавистная Тверь.

Трубили сбор. Опричники спешно забрасывали седла на коней, крепили подпруги, цепляли на себя сабельные перевязи, разбирали пики. Никто не сомневался в уже готовом слететь с царских губ приказе. Обозные вскидывали хомуты, расцепляли оглобли, суетились возле саней и незлобиво переругивались.

Над просекой, встревоженно и сердито крича, кружили вороны.

Богдан Бельский подвел к государю коня. Вороной аргамак почуял хозяина — дробно переступил, фыркнул паром. Сверкнув темным глазом, вскинул косматую голову. Тонко и коротко заржал.

Бельский припал на колено, согнулся, подставляя спину. Иван задрал ногу, с помощью подоспевшего Малюты с трудом влез в седло. Осмотрелся

с высоты коня. Взор его зацепился за маковку деревянной церкви.

— Жечь! Жечь окрест! — закричал Иван, ткнув рукавицей в сторону деревни. — Дотла!

Егорка Жигулин бросился к одной из повозок, скинул отяжелевшую от снега рогожу. Из-под тюков с припасами вытащил охапку пакли. Опричники подбегали, вырывали клоки. Обматывали паклей сучья и совали их в костры.

Вскоре черные, страшные всадники помчались к деревне, колотя копытами снег.

— Гойда! Гойда!

— Смерть царевым врагам!

Отряды опричников — полторы тысячи грозных царских слуг на конях — растеклись по округе, со свистом и гиканьем врываясь в обомлевшие от ужаса деревни и села.

Соломенные крыши вспыхивали одна за другой. Снег на них шипел и плавился. Занимались бревенчатые стены. Поднимался треск, валил дым, летели искры, раздавались крики людей и рев скотины.

Опричники крутились на конях возле домов. Любого, кто выскакивал, спасаясь от огня, на месте рубили саблями и топтали лошадьми.

Основное войско спешно собиралось, подтягивалось, готовилось к выступлению. Царь в сопровождении Малюты, Грязного и Богдана Бельского выехал перед своими людьми.

— Братия! — выкрикнул царь, привстав на стременах. — Исполним же волю Божию усердно, как встарь ее исполняли честные люди!

— Исполним! — ухнул над лесом возглас тысяч глоток.

Громкое карканье вторило им сверху. Темными крестами вороны чертили небо.

Глаза царя, красные после бессонной ночи, лихорадочно блестели.

— Вспомним, что говорит в своей книге Исус Навин о грехе Ахана из колена Иудина! Встали иудеи под стены иерихонские. Господь сказал им: город под закланием, берегитесь, чтобы самим не подвергнуться, если возьмете что-нибудь из закланного! Не наведите беды на стан сыновей Израилевых! Сказал Господь: все серебро и золото, сосуды медные и железные да будут святынею Ему! Но сыны Израилевы преступили. Ахан, сын Хармия, взял из закланного. И случилось великое поражение Израилю. Побили их люди Гайские, едва не истребили всех. Исус Навин упал, разорвал одежды свои, вопрошая: почему, Господи?!

Иван, увлекшись собственной речью, воздел руки и запрокинул голову к серому небу. Конь под ним стоял, не шелохнувшись, лишь подрагивали острые уши.

Воинство, восседая на конях, смиренно внимало. Некоторые тоже взглянули вверх, но ничего, кроме кружащих беспокойных ворон, не углядели.

— Получил ответ Исус! Был ему знак! — пылко воскликнул Иван. — Сказал ему Господь: встань, для чего упал на свое лицо? Согрешил Израиль, и преступили они завет Мой. Взяли из закланного и украли, утаили, положили между своими вещами. За то сыны Израилевы не могли устоять перед врагами. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей закланного! Истребите его!

Услышав знакомый призыв, опричники принялись ухмыляться и перемигиваться.

Иван, охваченный жаром, звенел голосом, будто колокол:

— Ахан испугался, признался, что это он согрешил и взял. Сказал: спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Иисус послал людей, и нашли они спрятанное. Тогда взяли Ахана, и серебро, одежду, золото взяли, и сыновей с дочерьми его схватили, и волов с ослами да овцами, и шатер, и все, что было у него, забрали. Сказал ему Иисус Навин — за то, что ты навел на нас беду, Господь в день сей наводит беду на тебя! И побили все израильтяне Ахана камнями, и сожгли все взятое у него огнем. Смешали их прах с пеплом от истребленных вещей и наметали сверху груды камней!

Иван перевел дух. Лоб его, несмотря на мороз, взмок под шапкой.

— Нечестивая Тверь перед вами! — крикнул царь. — Полная изменников и врагов! Собаки литовские, в плен взятые, живут среди тверских припеваючи, ни в чем горя не ведают. Да из русских найдется немало, кто породнился с поганцами этими! А за монастырскими стенами попрятались окаянные чернецы, взявшие не им надлежащее, но православному государю! Хитрят, выжидают — выгоды ищут не в своей земле, а средь латинян еретичных!

Войско зашумело:

— Веди нас, государь!

— Нет пощады таким!

— Смерть собакам!

— Разорить гадючьи гнезда!

— В землю втопчем!

— Дай исполнить волю твою, государь!

Раздалось конское ржание. Застоявшиеся вороные в нетерпении грызли удила, вставали на дыбы.

Сжимая поводья, Иван проехался перед войском, вглядываясь в лица. Остановился и медленно поднял руку. Замер, будто в раздумье. Махнул в сторону Твери и, скривив губы, обронил лишь одно слово:

— Обладайте!

Опричники восторженно взревели:

— Гойда!

Во главе с самим царем войско тронулось к неширокой, промерзшей до дна речке Тьмаке.

Подрагивали в воздухе острия пик. Клубился пар от дыхания лошадей и людей.

Красавец Тимоха Багаев покосился на государя. Разгладил усы, набрал в широкую грудь сухого морозного воздуха и загорланил, не жалея голоса:

— Хороша наша деревня, только улица грязна!

Опричники с готовностью подхватили грубыми голосами:

— Хо-хо! Охо-хо! Только улица грязна!

Заметив на себе благосклонный взгляд царя, Тимофей приосанился и молодецкато продолжил:

— Хороши наши ребята, только славушка худа!

— Хо-хо, охо-хо! Только славушка худа! — согласился с запевалой опричный хор.

Над растянутым на несколько верст войском колыхалась разудалая, ничего доброго не обещавшая песня.

Называют их ворами, все разбойничками!
А мы не воры, молодцы, не разбойнички,
Мы удалые ребята, рыболовнички.
Уж мы рыбушку ловили по сухим бережкам,
По сухим бережкам, по амбарам, по клетям
Мы поймали осетра, да у дядюшки Петра!
Как хорош этот осетр!
Только бородой трясет!

Длинная черная змея извивалась, тянулась
вдоль берега. По обеим сторонам от ползущей на
Тверь беды рыскали тут и там, словно волчьи стаи,
отряды всадников с факелами.

Полыхали деревни, желто-розовым заревом
украсилось холодное небо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ШТАДЕН

Один из летящих по тверской земле отрядов возглавлял усатый немец — тот самый, что навещался к государю ночью в шатер. Генрих фон Штаден, по кличке Генка Жаден, азартно выкрикивал боевой опричный клич и мчался через заснеженное поле к перелеску. За сплетением голых ветвей виднелись золоченые кресты.. Верный признак богатого села — своя церковь. Да еще с колокольней.

«Жечь просто так... Глупость какая!» — вцепившись в поводья, Генрих оглянулся. Чуть позади мчался верный слуга Тешата, круглолицый малый с короткой бородой и огромными кулаками. В руке Тешаты трепыхал огнем факел, вытягивая рваные языки по ветру. Лицо слуги искажалось радостным криком. За Тешатой держался, стараясь не отстать, десяток подручных, кто с саблей, кто с топором или тоже с факелом.

Сам Штаден не расставался с короткой завесной пищалью. Повсюду в разъездах она была при нем — на ремне за спиной. Управлялся с ней весьма ловко — метко палил и знал, как применить вместо дубины, чем и снискал расположение царя и великого князя Ивана. Государь без колебаний приказал взять иноземца в стрелецкое

войско, чтобы обучал такому нужному умению и царских слуг. У стрельцов же Генрих выучился владеть топором, оценив этот инструмент по достоинству. Частенько он усмехался в роскошные усы, размышляя о причудах судьбы. Отец его, благочестивый бюргер, прочил ему пасторскую стезю, но не задалось. На последнем году учебы школяр Генрих подрался с одноклассником. Да так неудачно, что оказался сильно битым. А к поражениям он еще не привык. И едва обидчик, толстый лопоухий Хейнс, торжествующе обернулся к классу и поднял вверх руки, Генрих выхватил из кармана шило, вскочил и, хлупнув разбитым носом, вогнал инструмент по самую ручку в жирное плечо обидчика. Ох, как орал толстый Хейнс! Проткнул ему Генрих плечо, сделал увечным. А за такое в суде отвечать ведь придется. Какое уж после этого пасторство... Пришлось бежать от суда из родного Алена в Любек, к двоюродному братцу. Тот не придумал ничего лучше, как устроить его таскать камни для возведения городских стен. Пришлось вскоре оставить город и перебраться в другой. Потом дальше и дальше. Где только Генриха не носила судьба. Оказался он и в Риге, попав на строительство оборонительного вала — все ожидали нападения на город русских. Вozить по шатким доскам тачку, полную глинистой землей, несостоявшемуся духовному лицу не понравилось. Пришлось снова скитаться, одно хорошо — перед уходом из Риги удалось обворовать кассу подрядчика. Но деньги быстро закончились, и кем только не пришлось побывать. И в слугах ходил, и приказчиком был. И наемником служил. В Лифляндии было совсем туго. Нищета, жестокие порядки,

жизнь впроголодь... Частенько Генриха секли за различные провинности. А совсем рядом — полудикая, но сытая Московия с радушным великим князем, набравшим силу день ото дня, на страх всей просвещенной Европе. Измученные тяжелой жизнью и потому не страшившиеся азиатского варварства, в русские земли бежало так много людей, что повсюду приходилось ставить кордоны и жестоко карать перебежчиков. Риск был немалый. Но в случае удачи оправдывал себя с избытком. Русские на своей границе принимали пришельца, проводили письменный допрос. Затем выдавали немалые деньги на пропитание и везли в Москву. Там снова допрашивали, и если ответы сходились — считай, Московия тебя приняла. А попавшим на государеву службу жилось и вовсе неплохо. Наделяли поместьем, назначали годовое жалованье, выдавали одежду — готовое платье, шелковые отрезы, кафтаны на беличьем меху... Собрав пожитки, Генрих заткнул за ленту шляпы писчее перо, на шею повесил чернильницу — и в таком виде перебрался через русскую границу. По слухам, ученых людей в московском княжестве привечали особо. Слухи подтвердились — Генрих Штаден получил все сполна, включая двор в Москве, на реке Яузе. Как иноземца, сносно владевшего несколькими языками, Штадена зачислили в толмачи Посольского приказа. Положили жалование, наделили землей в Старицком уезде. В сытости и спокойствии потекла его жизнь. Видели бы покойные мать и отец, какую карьеру сделал их сын! Изредка от скуки Генрих являлся на учения царских стрельцов и развлекался стрельбой из пищали, демонстрируя отменные навыки. О том, что их

он совершенствовал в русских землях, еще будучи лифляндским наемником, Генрих благоразумно умалчивал. Вскоре Штадена представили государю. Не успел минуть и год с поры, когда Генрих перебрался в Московию, как великий князь Иван создал свою личную, удивительную и страшную армию. Такие, как Штаден, были особо нужны. Оставив постылое толмачество при дворе, Генрих облачился в черные одежды и с воодушевлением запрыгнул в седло вороного коня. И потянулся за ним, где бы ни проскакал он среди таких же «комешников», как окрестили их в народе, кровавый след...

Отряд перемахнул неширокий замерзший ручей, влетел в перелесок, перешел на шаг, держась накатанной крестьянскими санями дороги.

Штаден потянул за ремень ручницы — так называлась пищаль у русских. Осмотрел цельнокованный ствол, затравочную полку. Щелкнул колесцовым замком, проверяя искру. Ухмыльнулся. Даже в Малютином отряде людишки были вооружены лишь фитильными пищалями. А новейшими замками, как у него, могли похвастать только иноземцы-опричники: Иоган Траубе, Элерт Крузе и немногие другие. Оружие хранилось в порядке и чистоте. Да и как иначе, если это — щедрый царский подарок. За один такой замок царь Иван выделил французским купцам товару на тысячу франков.

— Тешата, ты и еще трое за мной, к церкви, — отдал приказ Штаден. — Остальных в объезд, пусть никого из села не выпускают. Все подозрительное, что сыщете, — первым делом мне на показ.

Опричники привычно оскалились, кивнули. Гикнув, бросили коней из перелеска навстречу потехе. Комьями полетел снег из-под копыт. Тускло сверкнули сабельные клинки.

Штаден теперь держался позади. Пищаль он уложил поперек седла, готовый пустить ее в ход в любой момент. Мало ли что. Отряд у них небольшой. А село и впрямь небедное — напротив белевой церкви немец разглядел несколько явно боярских хором в два этажа, с надстройками. В таких могут не побояться дать отпор хоть кому, и государевым слугам тоже. Был такой опыт уже у опричных отрядов, когда наминала им челядь бока, защищая своего боярина: травила собаками, поливала кипятком, колотила дубьем или швыряла камнями. Иногда с позором приходилось отступать. Но самое стыдное ожидало побитую братию потом — в слободе, когда собирались на ужин. На государевом пиру, а попросту — братской опричной попойке приходилось рассказывать о неудаче. Хохот стоял оглушительный. Более удачливые налетчики хлопали себя по ляжкам, реготали, хрюкали, проливали вино. Царь Иван порой смеялся громче всех, требуя от проваливших дело подробностей: кого из них ошпарили, кому шишку набили, кого покалечили. Могли и раздеть донага, чтобы повеселиться над синяками и ранами. Прибегали кривоногие размалеванные шуты, с глумливыми ужимками отплясывали, в лицах изображая незадачливых героев.

Раз пришлось и немцу Штадену, несмотря на все расположение к иностранцам со стороны царя, встать из-за стола и показать разодранные на зад у злыми дворовыми псами портки. Царь, угощая его

утешительным кубком фряжского, заливался смехом и утирал слезы.

Отбившихся от царских слуг строптивцев иногда оставляли в покое, на время. Но чаще сразу после пирушки вскакивали на коней люди из самого лихого отряда — Васьки Грязного — и мчались ночной дорогой к посмевающим дать отпор. Не слезами, а кровью умывали всех до единого.

С недавнего же времени приметил немец нечто любопытное. Как только царь Иван возглавил войско и по первому снегу отправился в поход на северо-запад, Генрих поразился безропотной покорности его подданных. Казалось, присутствие царя парализует всех до единого, наполняет страхом невиданной силы, и каждый стремится подставить шею, лишь бы скорее избавиться от леденящего ужаса.

Русский царь был полон секретов и загадок. Один его приказ чего стоит — рыскать повсюду, искать «подозрительное серебро». Что за серебро? Чем подозрительно?

Впрочем, все раздумья — потом. А сейчас — налететь и взять свое!

Из церковных ворот показалась долговязая фигура в стеганом сером подряснике — вышел на собачий лай местный поп. Увидав скачущих прямоком на него опричников, суетливо перекрестился. Совладав с собой, с угодливым лицом засеменил навстречу всадникам. Тешата, не останавливаясь, проскакал мимо, на полном ходу хватив его по голове древком факела. Длиннополо взмахнув одеянием, поп отлетел к воротам, глухо ударился спиной о деревянную створу, сполз на снег и замер

недвижно. Один валенок соскочил с его ноги, узкая желтая стопа напоминала раздавленную свечу.

Вдруг воздух прорезал злой окрик:

— Сто-ой!

Штаден молниеносно схватил пищаль, вскинул к плечу. Многие проблемы разрешимы, если взять их на прицел.

Но всадники, показавшиеся в начале улицы, пищали не испугались. Заорали:

— Кто такие?

— Откуд?

— Чево тут рыщете?

Генрих на глаз прикинул число невесть откуда появившихся всадников. Десятка два, а то и больше. Совершенно разбойничьего вида, ни дать ни взять — беглые мужики, в тати подавшиеся.

Верный Тешата крутанул коня. Бросил факел в сторону, схватился за рукоять сабли. Глянул вопросительно на хозяина.

Генрих качнул головой: опасно! Опустил пищаль, тронул коня шагом, выехал на середину улицы.

— Люди государевы! — крикнул он как можно строже. — А вы что за псы такие?

Со стороны всадников раздался смех.

— А вот какие!

В сторону отряда Штадена полетела собачья голова. Только что отрубленная — сочилась кровью, пока катилась по снегу. Из полураскрытой пасти свисал багровый язык.

Штаден усмехнулся. Поветрие, возникшее с легкой руки одного из ближайших царских приспешников, Василия, набирало силу. Немец обернулся к слуге.

— Кинь-ка им свою!

Тешата перерезал пеньку возле луки, сцапал заиндевелую псиную башку за уши. Размахнулся и швырнул к брошенной незнакомцами.

Те разом загомонили:

— Эге, да это свои!

— Опричные тож!

— Да вы откуда взялись тут?

От их отряда отделился важно восседавший на коне предводитель — плотный скуластый малый с широким носом. Подъехав поближе, он внимательно пригляделся, сощулив и без того узкие глаза. Рассмеялся и крикнул, обернувшись к своим:

— Эге! Это ж Генка Жаден, из немчуры который!

Генрих вновь усмехнулся. Он знал, что иноземцев простолюдины из Московии особо не жалуют. Таковы уж здешние нравы. Раскосый татарин им будет понятней и ближе, чем европеец.

«Варвары, как есть дикие варвары», — привычно подумал Штаден, меняя усмешку на деловитое выражение лица.

— Меня Кирибеем звать, — важно представился подъехавший к Штадену опричник.

Быстро выяснили, что отряд Штадена вошел с южной стороны, перемахнув через поле, а отряд Кирибея, запалив деревню в пяти верстах на востоке, примчался оттуда.

Предстояло делить село.

Решили без ссоры, быстро и в согласии.

Кирибеевским отдали дома по правую руку от церкви, людям Штадена досталась левая сторона. Церковь решили тряхнуть сообща.

Пара человек спешились, схватили попа за руки и ноги, оттащили от ворот. Тот все еще был без чувств, только постанывал, не открывая глаз. Из

пробитой головы текла темная кровь, мочила пряди волос. Один из опричников с жалостью взглянул на раненого священника. Вдохнул. Вытянул саблю, склонился над лежавшим и несколько раз, будто сорняки пропалывая, рубанул его по телу. Поп выгнулся дугой и обмяк. Голая стопа мелко дрогнула, затихла.

Десяток человек вломились в ворота. Хохоча, кинулись внутрь церкви. Их голоса, усиленные эхом, метались внутри постройки, словно туда залетели вороны.

Штаден въехал на небольшой церковный двор, мазнул скучающим глазом по припорошенным снегом бревнам в дальнем углу — явно затевался ремонт, да так и не случился. «Впрочем, так почти все у московитов», — усмехнулся Генрих. Не желая тратить время на всякие глупости, немец остался на коне, предоставив копаться в церковном хламе диковатым местным.

Генрих, воспитанный отцом и матерью по заветам великого Лютера, искренне недоумевал, наблюдая, как в русской земле почитается церковная чепуха в виде икон, кадильниц на цепочках и других предметов, названий которых он не знал и на родном языке.

«Московиты вообще очень привязаны к вещам, — размышлял Штаден, прислушиваясь к треску и грохоту, раздававшимся из церкви. — Вместо практичной стоимости придают им некую ценность, совершенно смехотворную с точки зрения разумного европейца».

Себя Генрих относил к людям несомненно просвещенным и связывать судьбу навечно с варварской Москвией не собирался. Пока есть удача —

отчего бы не воспользоваться, ну а потом главное — вовремя слинять. Последнее слегка беспокоило Генриха. Получить милость великого князя и всевозможные льготы легко. Отказаться от них — смертельно опасно. За самовольное оставление службы казнь полагалась неотвратимая и лютая.

На церковном крыльце показался Тешата. Вид у слуги был колоритный: в одной руке топор, в другой — откуда-то выломанная икона, свежий скол виднелся на одной ее грани. Тешата с радостью всматривался на дневном свету в изображение на доске. Лицо его приняло умильно-глупое выражение.

«Сейчас поцелует...» — насмешливо подумал Генрих.

Тешата неловко сунул топориче за пояс, взялся за икону обеими руками и поднес к лицу, словно испивая что-то с блюдца. Спрятал добычу за пазуху, возвел глаза к утреннему небу и с достоинством перекрестился. Будто вспомнив о чем-то весьма важном, охнул, схватился за рукоять топора и снова нырнул внутрь церкви.

«Вот они все такие. Даже их великий князь. Как там у них говорится: каков поп, таков и приход».

Во время службы при дворе Штаден с любопытством присматривался к царю московитов и отмечал в нем немало странностей. Натура Ивана казалась Генриху весьма необычной. Даже шведскому Эрику, слухи о буйствах которого будоражили Европу, было далеко до хозяина русской земли. И если метания княжьей души немца не удивляли, то изменения внешности князя иногда озадачивали. Русский царь был явно болен, по мнению

Штадена, не только душевно. Если припадки гнева с Иваном случались лишь временами и сменялись длительными смиренными затишьями, когда великий князь становился необычайно религиозен, ласков с окружающими, часами мог предаваться сочинительству песен и музыки, то физические недуги неумолимо подтачивали его здоровье, день за днем, не давая передышки. Глядя на него, тридцатилетний Генрих поверить не мог, что Иван старше лишь на десяток лет. Старик — все еще сильный, но уже несомненный старик предстал перед ним. Глубокие морщины, редкие волосы, желтая кожа. Сгорбленная спина, тяжелая поступь. Посох в руках — будто не символ власти, а обычная опора для занемогшего. Хотя страшную ошибку совершит тот, кто вздумает посчитать князя слабосильным старцем. Один взгляд повелителя московитов чего стоит! В минуты особого волнения в душе великого князя плещется такой яростный огонь, что даже глаза меняют цвет! Хитрость, коварство, сила, дикость, медвежья непредсказуемость — все в этом взоре. Только что под каменными сводами ковылял согбенный старик, хватаясь обеими руками за посох, а глядь — этим же посохом и пришибет, да с одного удара! Ох уж эти его посохи...

Вот характерный пример русской привязанности к вещам. Великий князь, по наблюдению Генриха, определенно питал к посохам слабость. Собирал их в коллекцию, каждому придавал особое — скорее всего, нелепое и дурацкое, как часто у московитов, — значение. А то и просто использовал как личное оружие.

Был у него одно время посох из индийского дерева, с окованным железом заостренным концом!

Штаден хорошо помнил тот день, когда к великому князю привели гонца с письмом от его бывшего друга, а ныне заклятого врага князя Андрея Курбского. Иван слугу Курбского во дворец не пустил и письма в руки не взял. Объявил, наливаясь гневом, что от изменников дерьмищем разит, а Кремль — место святое. Вышел на крыльцо, куда уже привели слугу, и велел дьяку зачитать послание. Сам же так ударил посохом в ногу гонца, что проткнул ее вместе с сапогом. Пока читали полное сарказма и гнева письмо перебежчика, царь стоял, слушал, навалившись на посох. Туда-сюда крутил его, покачивал. Слуга же, совсем юный парень по фамилии Шибанов, стоял и терпел. Штаден, наблюдая за импровизированной пыткой, поразился стойкости юноши. Чуть позже слугу пытали уже совсем зверски, в подземелье Тайницкой башни, и через пару дней выволокли на площадь, казнить. Шибанов, едва живой, и на эшафоте не отсекся от своего господина. Ему отсекали руки и ноги, прежде чем отмахнуть непокорную голову. Штаден, делясь подробностями казни в кабаке Немецкой слободы с подвыпившими мастеровыми, высказался так: хорошо, если этот Шибанов не успел оставить потомства. Удивленным слушателям Штаден охотно пояснил: чем больше русские сами у себя таких крепких людей истребят, тем легче немцам с ними иметь дело. А если, не приведи Господь, ветвь Шибановых не прервалась, то неизвестно, чем это может обернуться для Германии, случись между ней и Московией война.

Так что — да здравствуют посохи великого князя! Впрочем, не все пусть здравствуют. От некоторых и вред бывает.

За одним, слышал Генрих, великий князь специально в ростовский монастырь ездил. Московиты уверяли, что в том посохе была заложена частица креста, на котором Христа распяли. Очередные русские враки, конечно. Но царь верил всей душой в силу того посоха, брал его с собой на особо важные встречи, чаще всего — с иноземцами-церковниками. И как ни толмачил Генрих в пользу прибывших однажды во дворец к Ивану миссионеров-лютеран из Саксонии, как ни старался полочее их слова поднести великому князю, а все зря. Царь Иван в полемике всегда задорен, а уж в обнимку с монастырским даром и камня на камне не оставил от разумных выкладок саксонцев. Все перевернул с ног на голову и высмеял, постукивая о мраморный пол «святым» посохом.

От наблюдательного немца не укрылось и то, что в последнее время великий князь свой ростовский талисман оставил и теперь не расстаётся с другой азиатской реликвией — подарком горского князька. Богато украшенный, но совершенно, по мнению Генриха, безвкусный и диковатый посох, на вершине которого вместо христианского символа или, на худой конец, драгоценного камня — волчья фигурка. Даже сегодня, когда Иван уселся верхом на коня — чего не делал уже давно, — посох был приторочен к седлу, на манер оружия. После кончины Марии Темрюковны, дочки того самого князька, царь вообще с «волчьим» посохом не расстаётся. Пожалуй, и спит вместе с ним, вместо жены.

Штаден негромко рассмеялся, представив такую картину.

Тронув коня шагом, немец подъехал к крыльцу церкви, примеряясь, сможет ли, не слезая с седла, забраться внутрь. Ступеньки показались крутыми и не слишком надежными. Эх, не успел поп с ремонтом...

Из церкви слышались смех и брань, сквозь которые доносился металлический звон, словно на пол бросали посуду. К этому шуму прибавились глухие удары — колотили по стенам в поисках тайников.

— Тешата! — сложив руки у рта, крикнул Штаден. — Выдь-ка сюда!

Голоса на миг смолкли, потом один, незнакомый, пробасил:

— Слышь-нет, тебя вроде кличет...

Появился слуга с бессмысленно радостной улыбкой на круглой роже. Преданно выкатил глаза на господина.

— Делом пора заниматься, делом! — хмуро сказал ему Штаден.

— Верно! — кивнул Тешата и, придав голосу многозначительности, добавил: — Докончить надо — государево повеление исполняем!

Снова перекрестился, торжественно глядя ввысь. Скрылся во мраке церкви.

Торчать без дела немцу наскучило. А копаться в непонятной и бестолковой утвари не хотелось — это казалось занятием много скучнее, чем ожидание.

«Вообще странно, с чего это принялись так настойчиво грабить монастыри и церкви...» — задумался Штаден. Великий князь хоть и пропойца, и развратник, и охоч до всяких забав, христианину не подобающих, но раньше смиренно ездил по монастырям на богомолье, царские пожертвования

выделял. Грешен, да, ну так кто же без греха... А тут вдруг что ни монастырь на пути, то погром, пытки, казни и пепелище. Неспроста это все. И утром речь держал Иван совсем странную, Писание пересказывал. О заклятых вещах говорил. Какие это вещи? И что такого важного монастырские бородачи у великого князя забрали?

Разузнать бы... Есть шанс не просто разжиться, а сделаться баснословно богатым. Большие тайны всегда дорого стоят. Только вот опасно все это. Рядом с царем быть — легко обжечься и сгореть можно, а далеко если находишься — замерзнешь. Уже скольких приближенных отправил он прямоком на плаху, а других навечно в монастырь... Да и то — сосланные им люди не жили долго. Кто якобы утонул, кто будто от угарного газа помер, иные словно от болезни скончались. Сам Иван объяснял это просто — гнев царя равен Божьему гневу, а кто Богу не мил, тому прямая дорога в ад.

Воспоминания и думы Штадена прервали пищальный выстрел и громкие крики, что неслись со стороны двухэтажных теремов справа от церкви. Грохнул еще один выстрел, за ним третий. Генрих перехватил свою пищаль поудобнее, подал коня к невысокой ограде церковного двора и осторожно, прячась за кирпичную кладку, выглянул на улицу.

Ничего особенного, облегченно выдохнул Штаден. Обычная суматоха и бестолковщина. Люди Кирибея штурмовали один из домов. Ворота им выломать не удалось, и они пытались одолеть высокий забор из заостренных сосновых бревен. Боярская челядь отбивалась умело, даже пищальная пальба ее не испугала. Из-за острых верхушек

в нападавших летели увесистые камни. Один из опричников катался по снегу, вопя истошно. Одежды его были мокрые, от них валил пар — очевидно, угодил под кипяток. Еще двое, с залитыми кровью лицами, держались за головы и пошатывались.

Штаден вскинул брови.

Вот опять — стоило отправиться на дело без самого князя Ивана, и снова его холопы от рук отбились. Одни долг исполняют спустя рукава — суется, будто не боярские хоромы разорять пришли, а крепость приступом берут и взять не могут. Другие бьют их почем зря, будто не царские люди к ним пожаловали, а разбойники.

Внезапная догадка заставила Штадена вздрогнуть.

Страх.

Вот оно что! Страх нет в царских холопах. Есть в них обычная боязнь за жизнь свою, а вот «царского страха» нет. Той особой жути, пробирающего до замирания сердца, до ледяной тяжести в ребрах и желтого морока в глазах. Оттого и не идут покорно на закланье, потому что нет перед ними того, кто наводит ужас, — нахмуренного, крючконосого, с безумными разноцветными глазами тирана с диковатым посохом в мосластых руках.

Среди безуспешно бравших приступом боярский дом Штаден увидел самого Кирибея. Обозленный неудачей, тот на коне крутился возле забора и хлестал нагайкой нерадивых подчиненных.

Утомившийся ожиданием Штаден, чья душа авантюриста требовала действия, громко крикнул: — Подмога нужна?

Кирибей повернул злое лицо.

— Справимся!

В тот же миг брошенный из-за забора увесистый камень угодил его коню по скуле. Конь пошатнулся, мотнул головой, пронзительно заржал и встал на дыбы. Киребей не удержался в седле, полетел напрямик на ошпаренного, который уже не кувыр-кался и не кричал, а сидел в снегу и протяжно вылет тонким голосом. Поднявшись и от души пнув раненого страдальца, Кирибей подбежал было к коню и попытался схватить поводья, но испуганное животное шарахнулось в сторону. Нервно заржав, жеребец едва не зашиб хозяина задними копытами. Покусав ус, предводитель отряда глянул в сторону церковной ограды, из-за которой наблюдал за ним Штаден.

— У нас фитили снегом трачены! — наконец, усмирив гордость, крикнул он. — Твоя ручница нам бы сгодилась. Смотри, что творят, сукины дети, без государя-то!

Вот и полудикий азиат подтвердил догадку Штадена. Каким-то образом великому князю удастся подчинять себе всех, на кого только стоит ему кинуть взгляд. Не просто подчинять, а заставлять ползать и выть, трястись и покорно ждать смерти.

«Ну, у нас тоже кое-что найдется, чем душу в пятки загнать, да и вышибить вон!» — Штаден воинственно потряс пищалью и в нетерпении оглянулся на церковь.

Наконец с крыльца начали скатываться опричники, груженные всякой церковной чепухой: какими-то чашами, цепями, скомканной парчой. Тешата в дополнение к спрятанной под одеждой иконой тащил здоровенный складень из трех частей.

Генрих поморщился.

— Тешата! Оставь эти доски, кинь вон туда! — немец указал на заснеженные бревна возле церковной стены. — Что там с них золота наковырять можно? Пойдем пощупаем бояр! Недаром, видать, защищают домишко свой. Добра много скопили, не иначе! Даже Кирибей, смотри, никак не решится запалить его разом.

Тешата повиновался. Прислонил складень к ограде, перекрестился. Вытянул из ножен саблю, покрутил, разминая руку. Глянув на него, еще несколько опричников решили выбросить награбленное и попытаться лучшей доли в боярском доме. Трое из киребеевских вытянули из сложенных бревен одно небольшое, но увесистое. Сообща подхватили, закинули на плечи. Оскальзываясь, поспешили с церковного двора.

— Гойда! — выкрикнул Штаден.

— Гойда! Гойда!

Отчаянная ватага бросилась к осажденному дому.

Штаден предпочел спешиться и неторопливо шел позади всех с пищалью на изготовку. Тем временем подмога уже добежала до ворот, и штурм разгорелся с удвоенной силой. Притащенным бревном размеренно били в преграду. Камни у оборонявшихся, очевидно, закончились. Теперь за забором слышны был лишь возгласы челяди да хриплый, на срыве, собачий лай.

— И-эх! И-эх! — раскачивали на руках бревно штурмующие и азартно долбили.

Удар. Еще удар.

Раздался треск — не устояли запоры боярские. На миг в проеме показался рослый детина в распахнутом коротком полушубке, с железным

прутом в руках. Но защитить брешь он не успел — подоспевший Штаден выстрелил из пищали. Детина, получив пулю точно в грудь, отлетел в глубь двора. Дымное облако обволокло нападавших. Толпа страшно кричащих опричников ринулась к проему, тесня друг друга. Кирибей сумел проскользнуть первым, отмахнулся саблей от разъяренных псин и распахнул ворота.

Двор мигом заполнился черными фигурами. Растерянных боярских слуг принялись рубить на куски вместе с собаками. Схватили и самого боярина — кряжистого, русоволосого, в одном лишь зипуне да исподнем выбежавшего на двор защищать свое добро. Без лишних разговоров выпустили ему кишки и отмахнули лобастую башку с кучерявой бородой. Оставшиеся слуги сбились в кучу, спина к спине, и яростно отбивались топорами и цепами.

Штаден, не тратя времени на перезарядку оружия, закинул пищаль за плечо, вытянул из-за пояса топор и понесся к дому, в обход дерущихся во дворе. Азарт и веселье наполняли душу немца. Преданный Тешата вынырнул из толпы, подскочил, побежал рядом.

Добротное крыльцо они преодолели в несколько прыжков. Генрих ударил ногой в дверь, она не поддавалась. Тогда со слугой вместе они налегли плечом. Дверь распахнулась, гулко стукнулась о бревенчатую стену. Широкие сени, крепкая лестница. Немец бросился вверх по лестнице, потрясая топором. На втором этаже посреди просторной горницы Штаден увидел перепуганную женщину в синей расшитой рубахе. Волосы ее были растрепаны, взгляд — безумным. Боярыня — Штаден не

сомневался, что это была именно она, — кинулась ему в ноги. Схватила за сапоги, подняла голову. Глаза Штадена, насмешливые, льдисто-голубые, встретились с карими, полными слез глазами хозяйки дома. Женщина поняла, что пощады просить смысла нет. Вскочив, она кинулась к лестнице, ведущей в светелку. Штаден нагнал ее уже у ступеней, замахнулся и с силой вонзил топор между лопаток. Вскрикнув, боярыня упала ничком. Непослушными руками она пыталась уцепиться за ступеньку, подтянуться, перекрыть прищельцу путь.

Штаден наступил на нее, выдернул топор и опустил его еще пару раз, целя в затылок. Обтер оружие о рубаху убитой, перешагнул через тело.

Хоромы погибшего боярина заполнялись ликующими опричниками. Слышались радостные вопли, грохот, стук, звон, треск, крики, смех и брань

Тешата склонился над телом боярыни. Повернул ее разбитую голову, откинул липкие от крови волосы. Деловито сопя, срезал мочки ушей с крупными золотыми серьгами. Зажал их в кулаке, разогнулся и глянул на хозяина.

Штаден приложил палец сначала к губам, потом к уху. Сквозь погромный шум опричники стали прислушиваться к плачу, доносившемуся сверху, из девичьей. Штаден радостно хмыкнул. По меньшей мере три голоса различил его тонкий слух. Генрих ухмыльнулся, сдерживая волнение. Поигрывая топором, зашагал по узким скрипучим ступеням наверх. Тешата, торопливо пряча в шапку добытые серьги, поспешил за ним.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ТВЕРЬ

С тверских колоколен летел в морозную высь набатный звон. Крестьясь и шепча молитвы, вглядывались люди в синеющий ельник на другом берегу, откуда длинно выползала черная змея, через заснеженный луг стекала по отлогому берегу и тянула голову к скованной льдом Волге.

Едва переправились на городской берег, царь повернул к Скуратову осунувшееся и бледное, в желтизну, лицо.

— Худо мне, Григорий... — разлепил губы Иван. — Сильно худо.

Воинственный пыл покидал государя. Глаза его слезились, сжатый рот подрагивал.

Малюта тревожно засопел, завоzilся в седле, принялся крутить башкой в мохнатой шапке.

— Так надо лекаря тебе, государь! Сейчас кликну...

Царь поморщился и покачал головой:

— погоди ты, пень дикий. Не о теле говорю — душа болит. Для нее бы мне лекаря сыскать.

— Где же? — живо спросил Малюта. — Ты только скажи, мигом кинемся! Хоть из-под земли, а достанем!

Иван надломил губы в желчной усмешке:

— Не там ищешь, Скуратов. Что может быть спасительного для души в подземном царстве...

Поедем, Гришка, в монастырь к чернецу Филиппу. Коль отказался он на царский зов явиться, стало быть, знак это мне — унять гнев и гордыню, самому пожаловать.

Малюта на миг замешкался, взглянул на Ивана в растерянности — уж не запамятовал ли чего государь... Но быстро взял себя в руки и с готовностью кивнул.

Вскоре от опричного войска отделилась скуратовская сотня, неспешной рысью пошла вдоль Волги в сторону монастыря.

Старший Басманов повернулся к сыну:

— Федор, передай по всем сотням — в городе ничего сегодня не жечь. Ночлег будет. Овес и сено забирайте в первую очередь. Всех литовских сыскать и отделать без остатка — государев приказ. И русаков из тех, что снюхались или породнились с врагами отечества, посечь и в реку скинуть.

Федька, радостно гыкнув, послал коня вдоль рядов.

Тимофей Багаев, скучая, подмигнул товарищам, подъехал к восседавшему на здоровенном коне Омеляну. Тот о чем-то размышлял, отчего мясистое лицо его страдальчески кривилось. Увидев рядом опричника, которого он, похоже, искренне считал своим другом, великан радостно мотнул головой и загудел:

— И-ишь... Бещал! Бещал Меле пянички!

Тимоха подкрутил ус и важно кивнул:

— Раз обещал, так и будет. Багаев слово держит!

Обернулся, нашел взглядом Федка Воейкова и, подражая густому голосу Басманова, забасил:

— Федор, передай по сотням — лавки у прянишников сегодня не жечь. Омелянушка жрать хочет.

Мятные и лимоновые забирайте в первую очередь! Мешками в сани грузите!

На прихваченных вчерашней непогодой лицах, красных и обветренных, расплылись улыбки. Засмеялись, украдкой поглядывая на воеводу. Басманов крепился, стараясь сохранить серьезность, но не выдержал и добродушно ухмыльнулся — до того ловко изобразил его голос Тимоха. Тут уж начали веселиться кто как умеет. Свистели, изображали животных — кто хрюкал, кто блеял, кто ревел, словно бык.

С гоготом и похабными песнями ворвались в город. Будто явились не смерть и разруху сеять, а поиграть да потешиться.

— Гойда!

— Гойда! Гойда!

Широкогрудые черные кони дико всхрапывали, скалили и месили копытами слежавшийся снег. Тускло блестели в воздухе сабельные клинки. Первые сотни помчались вдоль заборов, выставив пики и поддевая любого встречного.

Распахивались под ударами ног церковные ограды. Волчьими стаями шныряли опричники по храмам, сгребая в мешки все ценное.

Самые азартные полезли на колокольни — оттуда безостановочно неся набатный звон. Вскоре оттуда полетели вниз головами несчастные тверичане. Замолкли колокола, да и больше не было нужды предупреждать о беде — она пришла и поглотила город.

Расползаясь по улицам и проулкам, опричное воинство кинулось по дворам. Спрыгивали с коней, колотили в ворота. Врывались в дома и крушили все, что под руку попадало. Рубили на куски

утварь, вспарывали перины, ломали столы, лавки, разбивали бочки, не щадили икон в красных углах.

Федко и Суббота, озорничая в купеческом доме, схватили за косы пронзительно завизжавшую девушку, потащили в сени. Кинувшегося было за ними хозяина, круглолицего бородача с расчесанными на пробор волосами, Федко, оторвавшись от девушки, саданул ножом под ребра и оттолкнул. Глянул рысьими глазами на обомлевшую хозяйку. Шагнул к ней, схватил за волосы, потянул, запрокидывая ей голову. Дернул острым лезвием по горлу и швырнул на хрипевшего на полу хозяина.

Громили тверских торговых людей.

Тимоха сдержал слово — привел Омеляна в хлебный ряд, широким жестом показал на запертые деревянными ставнями лавки.

— Выбирай, Омелянушка, что душа пожелает! На любой вкус найдется!

Великан-опричник подошел к ближайшей, ухмыльнулся. Играючи вырвал из петель ставни. Пригнувшись, заглянул в темень нутра, повозился и вытащил наружу огромный, в семь пудов весом, мешок с мукой. Потянул за края, разорвал рогожу и, радостно ухая, принялся трясти, подняв облако белой пыли.

— Ну-у, завьюжил! — рассмеялись опричники.

В некоторых лавках прятались людишки — их толкали, пинали, вышвыривали на улицу.

Омелян, весь седой от муки, сидел на снегу, уложив на колени большой куль, запускал в него руку, доставал фигурный пряник, разглядывал его с умилением и отправлял в пасть.

— Ишь! Кусные! — довольно улыбался опричник, позабыв обо всем остальном. — И-ишь!

На другом конце города, возле крепости, повсюду валялись литовские головы, иные даже в шапках. Тела же огромными кучами сложили у стен, закидали порушенным добром из окрестных домов.

Везде полыхали костры. Опричники жгли шкуры, меха, отрезки тканей, кидали в огонь восковые круги, сало и хлеб — все, что могло сгореть. Остальное везли на Волгу и топили в прорубях.

На второй день Иван, неотлучно пребывавший все это время в монастыре возле гроба с телом опального митрополита, вызвал старшего Басманова и приказал озорство по городу прекратить.

Под каменными сводами воздух был стыл и тяжел.

Трясущейся рукой оглаживая ледяной костлявый лоб Филиппа, царь, не глядя на опричного воеводу, пожаловался:

— Чернецы донесли: стон по городу идет от молодчиков твоих, Алексей Данилыч. Людишек обижают, товар грабят, колокола снимают. Правда ли?

Басманов охотно подтвердил:

— Как есть правда, государь.

Иван укоризненно покачал головой:

— Негоже колокольням пустовать. Малюте скажи — пусть самых рьяных жалобщиков выявит и вместо меди на тех балках подвесит.

Воевода кивнул.

— Что с литовцами? — спросил царь, скорбно глядя на белое лицо монаха.

— Отделали, кого из вольных сыскали, вчера управились. И тех, кто снюхался с ними. Общим

числом полторы сотни вышло. Еще остались те, что в крепости сидят, пленные.

Сокрушенно вздохнув, Иван махнул рукой.

— Обещал я чернецам не рубить голов людских в Твери больше. Ты уж проследи, чтобы царское слово держалось крепко.

— Государь, так ежели кочаны не сшибать, как быть тогда? Вешать-то всех хлопотно, больно много их, — озадачился Басманов. — Не скоро управимся.

Иван пожал плечами.

— А ты их, Алешка, отпусти восвояси.

Воевода оторопело взглянул на царя.

— Воля твоя, государь. Но как же так... Выпустить пленной литвы столько — все равно что себе вшей за ворот насыпать. Расползутся повсюду, безобразничать начнут.

— А ты им не позволяй.

Лицо Басманова озарилось догадкой. Склонившись, воевода задом направился к выходу из кельи, оставляя скорбящего государя.

После полудня на волжский берег напротив Отроча монастыря пригнали пленников-литовцев. Знали — царь из окошка захочет взглянуть.

Дурачась, перед оборванной и бледной толпой выступил Петруша Юрьев. Восторженно объявил, что царь и великий князь дарует им свободу и отпускает на все четыре стороны. Пленники недоверчиво поглядывали на хмурых плечистых опричников, стоявших за плечом балагура.

Петрушу прогнали, пора было приступать к делу.

Тимоха Багаев предложил не тащить на лед тяжеленные колоды, а рубить литовцев друг на друге.

Так и сделали. Связав по рукам и ногам, выложили плотным рядком два десятка человек. Повалили на их спины первую дюжину, взмахнули саблями.

— Башки не сечь! — напомнил Басманов, поглядывая на длинную монастырскую стену и пытаясь угадать, у какого окна государь. — Отсекай ноги и отпускаяй!

То, что из монастыря наблюдают за происходящим на льду, никто из опричников не сомневался. Обмякшие от ужаса пленники были тому подтверждением, да и по спинам царских слуг струился холодный пот, несмотря на тяжелую работу.

От воплей несчастных звенел над Волгой воздух, от льющейся крови подтаивал лед под «колодой» из тел, многие из которых уже были неживые. Те же, кому опричники обрубili ноги, корчились неподалеку, истекая, или ползли на руках, не разбирая дороги и слабая с каждым рывком.

Тех, кто уже испустил дух, оттаскивали к проруби, спихивали в воду и рогатинами заталкивали под лед.

Царь отошел от решетчатого окна, постукивая посохом по каменному полу кельи. Глаза его приняли обычный цвет. Вновь склонясь над телом Филиппа, Иван с укоризной принялся разглядывать покойника, шепча сначала едва слышно, но все больше распаляясь и переходя на крик:

— Упрямство твое всему виной, Филипп. Знал ведь ты, что не отступлюсь. Не отдам церковникам государства своего! Не позволю власть забрать и ворожбу вашу корыстную — пресеку! Знаю — зовут меня душегубом и мучителем! Пусть зовут! Да, грешен, гублю и мучаю. Но прежде всего — себя изничтожаю.

На третий день стояния опричного войска в Твери в гости к старшему Басманову пожаловал «верный пес» государев.

Войдя в воеводины покои, Скуратов взмахнул руками и ловко скинул с себя мохнатую шубу на пол.

— От государя тебе приказ пришел передать, Алексей Данилыч, — устало обронил Малюта, снимая с объемного тулова сабельную перевязь. Присмотрев в углу кадучку с водой, зачерпнул ковшом и принялся жадно пить, задрав к потолку рыжую бородину.

Басманов нахмурился:

— Что ж сам государь не позвал меня?

Малюта оторвался от ковша, вздохнул и пожал плечами.

«Наглеешь, Алешка... Большим чином себя вообразил... Как бы не пришлось убавлять от тебя понемногу...»

Но вслух сказал иное:

— В большой печали государь. Разве не слышал? Колычев преставился. Хотя и в ссоре был с ним царь, а все ж такой божий человек ушел! Никого к себе государь не допускает. Скорбит!

Отложив ковш, Малюта с чувством перекрестился на красный угол.

«Никого не допускает, кроме тебя, пса безродного...» — подумал Басманов. Однако широко улыбнулся и повел рукой:

— Присаживайся, Григорий Лукьяныч. Гостем будешь. Не сердчай, у меня ужин простой, по-походному. Федька приказал мяса наварить.

— А сам-то он где? — поинтересовался Малюта, усаживаясь на лавку возле стола и потирая руки. — По службе отлучился иль как?

Басманов тихонько крикнул.

«Ах ты, сукин сын рыжий...»

Давно уж средь опричных ползали эти мерзкие слухи, что неспроста приблизил государь Федора — стройного, ладного фигурой, голощекого красавца. А в последние месяцы, после кончины Марии Темрюковны, особо близок сын Басманова государю стал... Чего только не мелют паскудные языки! Царским «согласником» и «ласкателем» именуют... А князь Овчина-Оболенский вообще вздумал прилюдно Федора в содомском грехе обвинить. Впрочем, щенка этого хорошенько проучили — удавили на псарне, чтобы гнусных слов не выкрикивал.

— Федор ко мне с докладом не ходит, — сухо обронил Басманов. — Ты угощайся, Григорий Лукьяныч.

Появился расторопный Петруша с новым подносом. Два огромных блюда вареного мяса, пузатый кувшин с вином, луковицы и хлебные ломти.

Выпили по полной чарке. Утерли бороды.

— Ешь, дорогой Григорий Лукьяныч!

Малюта важно хлопнул ладонью по столу и заговорил:

— Сперва о деле. Государь поручает вот что. Бери завтра тысячу, и с рассветом выходите из Твери на Новгород. Нигде озорства не учинять. Идти спешно и по возможности скрытно. Торжок обойдете стороной, ваше дело — прямиком в Великий, на Софийскую сторону. По пути расставьте дозоры, царским словом останавливают пусть всех. Выезжать никому не давать. В Новгороде следите за тем, как духовные себя поведут. Всех подозрительных под замок. За архиепископом Пименом

особый пригляд. Да, вот еще — дозорами отсеки-те Торговую сторону, чтобы никто из города не шастал, слухи не разносил. В Софийском проведите тайный обыск — так, чтобы никто из служителей не заметил. Что искать, сам знаешь.

— Федор со мной пойдет? — осторожно спросил Басманов, подвигая себе миску с мясом.

Скуратов кивнул и тоже потянулся за своей миской.

— Бельского еще возьмете, дельный парень. Он в тайных обысках силен, поможет.

Басманов поморщился.

«Не доверяешь, значит. Соглядатая своего представляешь... Или сам государь нам не верит?»

Недовольство Басманова не укрылось от Скуратова, однако он ничего не сказал.

Ели молча, каждый о своем думая.

Малюта вгрызался крупными зубами в куски мяса, тянул, рвал его. Шумно жевал, шевеля бородой.

Басманову задумчивость Скуратова не нравилась. Не люб ему был и сам гость, внешнеостью больше смахивавший на диковатого мужика, чем на вхожего к государю дворянина.

«Отчего таких к себе царь приближает? — озадаченно подумал Басманов, склонясь над миской, изредка бросая быстрые взгляды на Малюту. — Дворянчик ведь он так себе. Захудалый. Умом тоже не блещет. Зачем такие государю при себе? Неужели все Сильвестра с Адашевым вспоминает... Напрасно. Уж на что хитрованы были, без малого тринадцать лет царя за нос водить пытались. Казалось, все, пропала душа государева. Но все одно, перехитрил Иван Васильевич их. Извел обоих, а себя сохранил. Нелегко, видать, далось такое.

Теперь будто боится к себе неглупых людей приближать. На кой ляд ему Лукьяныч сдался, ведь туп он, как валенок... Или не туп? Что, если притворствует? Ох, тогда...»

— Спасибо, Алексей Данилыч, за угощение. Но пора мне, — вздохнул Малюта, отодвигая блюдо. — С утра запалим тут все хорошенько и на Торжок выдвигаемся.

Грузно поднялся, отдуваясь. Волосы на его лбу слиплись от пота.

— Доброй ночи тебе, Алексей Данилович, — буркнул Малюта, обозначил поклон и с достоинством направился к двери.

Басманов, не вставая из-за стола, внимательным взглядом провожал гостя.

Во всей фигуре Григория Скуратова было что-то бычье и одновременно — от матерого волка. Привычка наклонять голову, исподлобья взирая на собеседника, туповатое выражение лица, мощное плотное тело и наряду с этим — хищный оскал, готовность в любой миг наброситься, перекусить шею любому, кто на пути встанет или государю не угодит. Впрочем, сам себя Скуратов частенько псом называет, нимало не стыдясь такого «звания».

Басманов остался один. Тихо сделалось в горнице сгинувшего в Волге тверского боярина. Лишь толстые свечи потрескивали, равнодушно светя новому хозяину.

«Горите, горите... — усмехнулся, допивая вино. — Завтра вся Тверь свечой станет».

Тяжело навалился грудью на стол, подпер рукой голову. Глянул на свою тень, вздохнул.

И думать не подумал бы раньше он, Алексей Данилович, знатный человек, боярин и царский

воевода, доблестью снискавший почет и славу, что так повернется судьба. Он-то, Басманов, заслужил верой и правдой царские награды, подарки, прочие милости. В казанских походах себя не щадил, набегу нехристя Девлетки отбивал не раз. Нарву взял, Полоцк осаживал. Рязань от поганцев-крымчан спас! А этот...

Воевода оторвал кулак от щеки. Сжал его крепче, грешно выругался и стукнул по столу. Серебряные чарки подпрыгнули. Басманов поморщился и скинул на пол ту, из которой пил Малюта, — словно блохастую кошку смахнул. В свою же подлил вина и разом осушил. Потом выпил еще. И еще.

Скуратов... Да кто он такой? Откуда выскочил? Воеводского поста сроду не имел, в походах отмечен не был. Даже до стрелецкого сотника не дослужился! Так, сменная голова на ливонском фронте... В слободе Александровской тоже чина не сыскал, в государевом братстве в низах служил, пономарем ходил. Сошкой мелкой был пару лет назад Гришка Бельский, как и подельник его Васька Грязной. Но тот так в шутах у государя остался, а Малюта-то вознесся и приосанился, важной птицей стал! На него, опричного боярина Басманова, свысока глядит! Ходит к нему без почтения, рассуждает... Перед князьями Вяземским и Хворостинным нос задирает! Ему бы на Пожаре глотку драть да рыбой торговать, а по вечерам чешую из бороды вытряхивать — вот его место. Так нет же, пролез к царю ближе некуда, дела государственные вершить тужится! За какие же заслуги его к себе Василий Иванович так приблизил? Что за поручения царский любимец выполняет?

По краю стола, шустро перебирая ножками, пробежал таракан. Замер на углу, настороженно водя усами. Басманов угрюмо глянул на незванного гостя. Сложил было пальцы для щелчка, чтобы скинуть усача на пол к Малютиному кубку, но передумал.

— Вот настали какие времена, Алексей Данилыч, — с горечью обратился Басманов к себе, разглядывая таракана. — Такие теперь твои друзья-собеседники. Привечай, не гони. Угождай важным гостям!

Басманов уронил угловатую голову на стол и заснул.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЯВЛЕНИЕ НОВГОРОДЦАМ

Морозная лазурь в небе и яркое солнце — впервые после хмурых недель непогоды. Особый день, торжественный. Царь и великий князь всея Руси изволил пожаловать в Великий Новгород. Царские слуги, утром прибывшие с Торга на Софийскую сторону, известили — нынешним утром ждите государя!

Давно бы пора. Два дня уж как разместился Иван Васильевич на Городище, встал огромным лагерем. А в новгородский кремль не наведалься, даже Софийский собор не посетил. Лишь слуг послал, злых и отчаянных. Навели они свои порядки и в соборе, и в монастырях и по всем знатым домам прошлись. Выставили караулы повсюду, на выходах из города и через Волховский великий мост. Тревожные дни прожил Новгород до самого праздника Богоявления. И вот, под колокольный перезвон в светлый праздник, государь решил предстать перед горожанами.

Холодно, ясно, безветренно. Искрится под солнечным светом лед на Волхове. Сверкает и мягко плещется студеная вода в длинных полыньях.

На Великом мосту и вдоль берега собралась тьма-тьмущая людей.

Хоругви, цепи, кресты, клобуки, золотая парча — духовенство впереди всех, посреди широкого

моста. Игумены всех городских монастырей тоже тут. Смирение на лицах, а в глазах — растерянность. Есть отчего — уж скоро неделю как завелись в их владениях незванные гости, царские люди в черном, да не монахи вовсе. Монастырскую казну опечатали, большую часть братии посадили под замок. С каждого инока требовали в царскую казну два десятка рублей. Кто уплатить не мог, того ставили на правеж — день за днем вытаскивали на площадь и принародно били дубьем, лупили нагайками. Дознавались про *заклятое серебро*, от царя утаенное. Все бесчинства царским словом творили, ничего не объясняли, лишь ухмылялись: приедет, мол, государь — растолкует!

Пестрит на мосту от соболевых горлаток, кунных шапок, песцовых треухов, искрят ворсом добротные шубы — боярство, купечество, посадские — все вышли на поклон. На лицах тревога — как-то оно все обернется? У многих государевы посланники опечатали все имущество. Дома отняты для войскового постоя. Из посадских людей похватили больше полусотни, посадили в цепи. Жен и детей под стражу взяли, за какую вину — не сказали. Говорят: сами знаете, а нет если, так государь пояснит.

Позади городской знати толпится простой люд — сермяжное море. Гомонит, любопытствует, веселится. С кого брать нечего, тому и страха особого нет. Уж как ни грозны заявившиеся несколько дней назад в Новгород люди из царева войска, как ни страшны и дики для взгляда псиные головы на седлах их коней, а притеснений народу не было. Разве что ожгли кого нагайкой, проносясь вдоль улицы, — так и то за дело! Чтоб не лез под ноги и государственные дела вершить не мешал!

Сияет солнце.

Звенят колокола над Софийской стороной.

Тысячи глаз всматриваются в сторону Торга. Мелькнули между домов острия пик, черные шапки, конские хвосты, донесся гул и топот.

Толпа ахнула, заволновалась.

Сорвалось воронье с окрестных деревьев под возгласы:

— Едет!

— Государь едет!

— Царь-батюшка!

— Господи помилуй!

— Спаси нас и сохрани!

Скинули шапки, согнулись в земном поклоне. Духовные затаили псалом, принялись креститься.

Звеня подковами, на мост влетела конная опричная стража. Лица седоков непроницаемы. Глаза пусты, холодны, оловянны. Возле седел болтаются на веревках собачьи головы, скалят желтые зубы.

Вздрогнуло духовенство от такой картины, начало переглядываться. Взоры многих устремились на архиепископа. Пимен застыл в торжественных одеяниях, с архиепископским посохом в одной руке и крестом в другой. Лишь плотно сжатые губы выдавали его душевное напряжение.

Скрипя полозьями, вслед за стражей на мост въехали простые сани, запряженные неказистой саврасой кобылой. Безбородый румяный возница привстал на козлах, взмахивая вожжами и словно красуясь у всех на виду. Шитый золотой нитью и жемчугом кафтан ладно сидел на плечистой фигуре.

В народе зашептались:

— Лексея Басманова сын!

- Царский любимчик!
- Чисто девица в кафтане!
- Срамник! Не зря говорят.
- Молчи, дурак, — уши повсюду...

За нарядным возницей в санях, усталых рогожей, притулилась чья-то сгорбленная фигура с опущенной головой в монашеской накидке.

Вытягивались в любопытстве. Хватали друг друга за плечи, подпрыгивали. Жадно вглядывались, перешептывались:

- Кого Лексей привез?
- Чернеца какого-то...
- А где ж государь-то?
- Неужто передумал?

Басманов — а это действительно был он — осадил кобылку, соскочил с возничьего места. Топнул каблуками ладных сапог по доскам моста, подбоченился — того и гляди, сорвется в пляс. На юном лице играет румянец, губы кривятся в недоброй и плутоватой улыбке.

Сидевший в санях человек медленно поднял голову. Откинул с лица края потрепанной накидки. Показалось желчное лицо с неширокой редкой бородой. Над скорбно сжатым ртом нависал крупный нос. Скуфья из черного бархата плотно сидела на голове, вспыхивая нашитыми на нее алмазами. Засиял камнями и серебром дивный резной посох, выхваченный седоком из-под рогож.

Народ ахнул.

- Никак государь?!
- Да ну... на санях и в дерюге-то?
- Царь! Царь это!
- Батюшка наш, Иван Васильевич!
- Господи, помилуй!

Резким карканьем пронесся над толпой выкрик какого-то оборванца:

— Юродствует самодержец! Ох, не к добру, ох, наплачется Новгород Великий!

Зашикали, зашипели, гневно повели глазами в сторону крикуна:

— Цыц, черт плешивый!

Оборванец засмеялся сипло, лающе, нырнул под ноги, пополз прочь от моста.

— Так ли вы государя встречаете? — звонко крикнул Басманов, забавляясь.

Рукой он повел в сторону саней.

Пимен встрепнулся, шагнул вперед. Выпятив живот, воздел святой крест к небу, готовясь благословить государя.

— Во имя Господа нашего... — начал было архиепископ и неожиданно осекся.

Иван сжимал набалдашник посоха и бешеным взором оглядывал новгородского духовного главу. Косматые брови царя нависли над горящими разным цветом глазами, рот гневно ломался.

Пимен почувствовал, как его сердце обрывается, а сознание отлетает. Все исчезло вмиг: небо, солнце, блеск воды в полыньях, собачьи головы, косматые кони, змеиная ухмылка царского баловня и сам грозный государь. Пожелтел белый свет, померк. Словно злая неведомая сила окунула Пимена в ледяную прорубь — сжалось нутро, перехватило дыхание, заглохли все звуки, кроме яростного стука крови в ушах.

Голос царя, загремевший на мосту, выдернул Пимена из жуткого омута, куда соскользнула его душа.

Иван, стоя в санях во весь рост, кричал Пимену:

— К Господу взываешь? Да разве ты святой крест в поганой руке держишь? Нож в нем запрятан,

и этот нож для сердца моего — в него метишь! Умысел твой мне известен! Ах ты, вошь, в парчу облаченная!

Колени Пимена ослабли настолько, что если бы не серебряный посох, за который он держался, — упал бы архиепископ прямо под копыта лошаденки, притащившей на мост сани со страшным седоком.

— И вы, паскуды, — продолжал Иван, указывая дрожащей от ярости рукой на втянувшую головы в плечи городскую знать. — Ваши замыслы ясны! Отчизну державы нашей, Новгород великий и русский, метите передать — кому?! Нечестивому Жигимонту, этому польскому козлицу голоногому?!

В уголках рта царя выступила мутная пена. Иван звучно сплюнул на мостовой настил. Перевел дух. Вдохнул полной грудью, успокаиваясь, унимая закипавшее сердце.

Пимен стоял ни жив ни мертв.

— Не пастырь ты с этого дня, — хмуро промолвил Иван, усаживаясь в санях. — Ты враг церкви и Святой Софии, ненавистник венца Мономахова. Губитель и хищный волк ты, а не человек.

Произнеся последние слова, царь хрипло расхохотался, задрал бороду. Посох он устроил у себя в ногах, на скомканных старых рогожах. Пимен в полуобмороке следил за искрящейся на солнце фигуркой, украшавшей набалдашник.

Басманов заскочил на свое возничье место, но трогать лошаденку не спешил.

Царь Иван медленно повернул голову к архиепископу.

— Ну что стоишь, как столп соляной, — задвигал бровями Иван. — Садись рядом, если не брезгуешь.

Голос его звучал ровно. Будто затихла вспышка гнева и смягчилось государево сердце..

Пимен зашептал молитву и поспешно вскарабкался в сани. Сжался, ссутулился, стараясь сесть подальше от грозного гостя — не навлечь бы ненароком новый гнев. Помимо воли скосил глаза на вершину царского посоха.

Иван, заметив, желчно усмехнулся:

— Удивлен, поди, что не тайно под рубахой у государя, не в Святом Писании спрятано, по примеру вашей братии, ни еще каким способом?

Не зная, что ответить, Пимен вжался в борт сани.

— Так знай, и пусть остальные знают — мне таиться нечего. Это крамола повсюду прячется, дела гнусные исподтишка творят предатели, искушители и злочестивцы. А царь — он открыт, он как перст Божий.

Возница взмахнул вожжами.

— В Софию, — приказал царь. — Праздник сегодня.

Иван вновь набросил на голову потрепанную накидку и всю дорогу угрюмо молчал, лишь озирался по сторонам, недобро оглядывая улицы.

Кобылка резво бежала, тащила за собой неказистые мужичьи сани.

По всему пути темным-темно от склонившихся спин. Заходятся звоном колокола.

Наконец впереди показался Софийский собор. Беленые крепкие стены, обмазанные цемянкой барабаны, а на них — купола, словно огромные шеломы. Четыре серых, свинцовых, и между ними золоченый пятый, самый высокий. Чуть поодаль еще один купол, на лестничной башне, что возле входа.

Басманов, надув губы, дурашливо крикнул:
— Тпру-у-у, приехали!

Сани остановились.

Не глядя на архиепископа, Иван поднялся и задумчиво посмотрел на купола. Мрачное, потемневшее лицо его на миг прояснилось. Иван перекрестился, шагнул с саней на утоптаный снег. Перекрестился еще раз и неспешно зашагал к распахнутым дверям, словно не замечая ни суетившегося рядом Пимена, ни устремленных на него сотен пар глаз.

За царем по-хозяйски следовала свита. К прыгнувшему с возничьего места Федору подошел отец Алексей Данилович. Пытаясь оттеснить шедшего след в след за государем Малюту, Басмановы ухмылялись и грозно посматривали по сторонам. Малюта, неловкий после ранения, упрямо ковылял, пытаясь не отстать. Грязной и Бельский хотели было подхватить его под локти, подсобить, но Скуратов так зыркнул на них, что те мигом отвязались.

В собор набилось все духовенство из высших. Встревоженными тенями заполнили храм, но с надеждой на лицах — государь сменил гнев на милость, прибыл на литургию!

Робко колыхались огоньки свечей, согревали стылый воздух. Золотое тепло лилось от окладов старых икон. Сильно пахло воском и ладаном. Воздух густел — наполнялся вздохами, шепотом, молитвами, шорохом одежд, упованием на чудо и милость.

Пимен возвестил о начале службы. Его голос, поначалу слабый и дребезжащий, твердел с каждым произнесенным нараспев словом, обретал силу, возносясь под расписной купол собора.

— Благословенно царство... ныне и присно... и во веки веков! Миром Господу помолимся о спасении душ наших... Избавиться нам от всякия скорби, гнева и нужды... Господу помолимся...

Хор подхватывал волной:

— Господи поми-и-и-лу-у-уй!

Капал воск со свечей, застывал наплывами. Темным взглядом взирает из-под купола Спас Вседержитель. Кровавым пятном застыла в главном иконостасе София, Премудрость Божия.

Иван с отрешенным лицом отстоял службу и быстрым шагом направился к выходу.

Архиепископ засеменил вслед за государем, нервно сцепив руки.

Малюта преградил ему путь.

— Чего тебе? — буркнул нарочито грубо, с плохо скрываемым удовольствием.

Проглотив обиду, Пимен сделал просительное лицо:

— Надеемся на милость государя и слуг его, всем сердцем молим пожаловать к нам на обед! По случаю торжества и праздника...

Архиепископ принялся часто креститься. Стоявшее за ним духовенство зашелестело, осеняя себя крестными знамениями:

— Просим... просим!

Малюта, по-бычьи склонив голову, следил за ними насмешливо.

— Куда? — рявкнул он, наслаждаясь тем, как вздрогнул новгородский владыка.

— В доме моем, в столовой палате. В честь праздника Богоявления и прибытия государя покорнейше просим...

— Жди здесь! — приказал Скуратов, развернулся и зашагал к царю.

Иван уже разместился в санях, ссутулился под накидкой.

Малюта вперевалку подошел, отодвинул плечом стоявшего рядом старшего Басманова и зашептал на ухо государю, искоса поглядывая на замершего возле соборного крыльца архиепископа.

Пимен с облегчением увидел, что царь, выслушав, кивнул и поманил его ладонью.

Радостно охая и суетливо крестясь, архиепископ поспешил через соборную площадь к царским саням. Подбежав, склонился перед государем.

— Изволь, Иван Васильевич, проводить тебя в свою скромную обитель. Вот ведь она...

Не распрямляясь, Пимен повел рукой в сторону Владычного двора.

Царь изумленно глянул на роскошный дворец наискось от собора.

— Хороша скромность! Ну а коли меня ноги не несут к дому твоему, где крамола гнездо свила? — покачал головой Иван, для пущего впечатления придав лицу самый скорбный вид. — Влезай уж, поедем. Лошадям ведь, тварям неразумным, все одно куда бежать... Да хоть к ливонцам, хоть к владыке новгородскому.

Басманов подобрал вожжи, ожидая приказа.

— Ты уж не взыщи, — с усмешкой сказал Иван, едва Пимен разместился рядом. — У нас по-простому все, по-русски. Сани мужицкие, кобылка захудалая... Куда уж нам до польского короля!

— Государь мой... — залепетал архиепископ, бледнея пуще прежнего. — Ни в помыслах, ни делах... Наговоры это, не иначе как Колычева Филиппа ложь, из мести за верное служение тебе... А кобылка, ну что же, кобылка и есть... Божья тварь!

Иван, будто не слыша, рывкнул Басманову:

— Что заснул?!

Федор привстал на козлах. Свистнул, щелкнул кнутом:

— Но, пошла!

Лошаденка мотнула головой и потянула сани прочь от собора напрямиком к архиепископскому дворцу.

— Значит, хороша савраска, думаешь? — прищурился, спросил Пимена царь.

— Отменна! — с готовностью подтвердил архиепископ.

Иван хмыкнул:

— Все-то у вас, новгородцев, хорошее. Все вам любо! Один московский князь вам плох...

Проехали сотню сажень, остановились возле высокого крыльца с резными перилами.

Не обращая внимания на Пимена, царь вылез из саней — подскочивший Федька Басманов подержал его за локоть. Иван оперся на посох и огляделся.

Через площадь бежали к ним, придерживая шапки и сабли, опричные воины.

— Хорошо живешь, новгородский владыка! — с напускным весельем, сквозь которое проглядывала злоба, сказал царь. — Да видать, возжелал еще лучше пожить...

Брови Ивана сдвинулись к переносице, и с лица вмиг слетела деланая веселость, потухла, как искра на ветру.

Стуча посохом по ступеням, государь взошел на крыльцо. За ним теснили друг друга все те же: запыхавшиеся Басмановы и Малюта, следом Бельский, Грязной, за их спинами рослый Тимофей

Багаев, надменные ливонцы Иоганн Таубе и Элерт Крузе и прочие избранные опричники.

На покрытых дорогими скатертями столах стояли серебряные подсвечники с сальными свечами.

Закуски уже расставлены — икра, соленья, заливное.

Принесли нарезанный ломтями белый хлеб. Иван взял блюдо и оделил кусками сидевших ближе всех к нему: Скуратова, Грязного, Басмановых и Бельского. Протянул остаток для передачи другим. Опричники сноровисто расхватывали хлеб, с тем расчетом, чтобы до духовных дошло пустое блюдо.

Увяла надежда в глазах новгородской знати. Страх и тревога плескались в быстрых и осторожных взглядах, которыми они обменивались друг с другом. В сторону царского стола и смотреть не решались.

Вошла прислуга — десятка два человек. Внесли огромные блюда с жарким. Румяная говядина, сочная баранина, золотистые поросята, жареные утки и гуси — все это проследовало к столам, но на них не попало.

Обойдя с блюдами в руках всех присутствующих, прислуга повернула назад и унесла еду. Выскочили другие холопы, засуетились, расставляя большие и малые кубки, кувшины, братины.

Белые меды в серебряных кувшинах, красные — в золотых. На любой вкус хмельные монастырские меды: вишневый, яблочный, смородинный, березовый. Водка тминная, анисовая, братины с пивом, рябиновые кисели, клюквенные...

Вновь появились слуги с жарким, на этот раз уже нарезанным кусками. Обносили столы, расставляли блюда, раскладывали гостям угощения.

Но невесела была трапеза во дворце архиепископа.

Сидя на возвышении во главе стола, Иван объявил, что ни здравиц, ни других речей от изменников слышать не желает. Молча осушил кубок фряжского и принялся за еду. Ел в своей манере: хватал мясные ломти, разрывал их сильными пальцами, закидывал куски в рот. Изредка помогал себе широким ножом. По левую руку от него лежала расписная ложка для супа. По царскому примеру ели почти все остальные из его свиты, за исключением Крузе и Таубе, тем подали к ножам и вилки. Получив приборы, иноземцы принялись копаться в поднесенном сдобном курнике, формой походившем на царскую торжественную шапку. Вынув из пирога кусок, оба опричника с любопытством разглядывали слоеную начинку: пшенная каша вперемешку с рублеными яйцами, затем мелко порезанная отварная курица, поверх нее слой жареных грибов, снова курица и опять пшено, заправленное маслом.

— Ешьте, пейте, гости дорогие! — с надеждой подал голос архиепископ, заметив интерес иноземцев к диковинному для них кушанью. — Чем Бог послал! Вот шейки и печень гусиная и куриные пупочки молодые... Зяблики с соленым лимончиком...

Царь мрачно повел в его сторону глазами.

Пимен осекся и лишь развел руками над столом, в молчании приглашая отведать угощение.

Стол ломился от блюд.

Расстаралось новгородское духовенство, да все напрасно.

Поев совсем немного, царь угрюмо сидел на своем месте, хмурясь и разглядывая стол, за которым

расположилось новгородское духовенство во главе с Пименом.

В столовой палате царила необычная для званого обеда тишина, нарушаемая лишь громким чавканьем и отдуванием. Никаких разговоров не велось. Даже угощение не обсуждалось.

Против обычая, Иван никому не передавал ни кубка с вином, ни какого-нибудь блюда. Опричники торопливо жевали, то и дело прикладываясь к кубкам. Багаев рвал крепкими зубами куски мяса с бараньих ребер, жмурился и причмокивал. Басмановы налегали на крупно порезанного поросенка — хватали сочное мясо, жевали, капая жиром на скатерть.

Сидевший по правую руку от царя Малюта не ел почти ничего — лекарь запретил тяжелую пищу. Нехотя водил ложкой в тарелке со щами, посматривая на государя, весь в ожидании.

Долго томиться ему не пришлось.

Царь вдруг ударил кулаком по столу.

Вздрыгнул сидевший неподалеку Васька Грязной, а Федор Басманов громко рассмеялся было, но осекся, получив от отца затрещину.

Иван выжидательно помолчал, сжимая и разжимая пальцы.

Неожиданно широким взмахом руки сбросил со стола стоявшие поблизости блюда и схватился за посох.

— Гойда! — выкрикнул он лишь одно слово.

Опричники вскочили. Опрокидывая столы, бросились в сторону растерянно замершей городской знати.

Тимоха Багаев вытер рукавом рот, подхватил освободившуюся длинную лавку. В нее вцепилось

еще несколько рук. Под выкрик «Гойда!» царские слуги разбежались, крепко держась за тесаное дерево, и на полном ходу врезались в сбившихся вместе перепуганных духовных лиц. Стоны и крики упавших потонули в радостном реготе полупьяных опричников. Тех, кто пытался подняться, ногами валили обратно, топтали крепкими сапогами. Протоиереи, иеромонахи, игумены ползли под ударами по каменному полу, кровь из их разбитых лиц смешивалась с разлитым вином.

Архиепископа схватили и притащили под царские очи.

Государь, оттолкнув от себя стол, спустился с возвышения, опираясь на посох. Подошел вплотную. Сгорбясь, принялся разглядывать лицо Пимена, едва не касаясь бородой.

Новгородский владыка в ужасе закрыл глаза. Губы его, потеряв всякий цвет, дрожали. Едва слышно Пимен бормотал молитву о спасении.

Рот царя искривила судорога злобы. Верхняя губа поднялась, вывернулась сизой изнанкой.

— Епископом тебе не подобает быть! — надтреснуто выкрикнул Иван, брызнув слюной. — Скоморохом только и годен!

Пимен, не открывая глаз, упал перед царем на колени.

Иван брезгливо отпрянул. Затем ухватился за посох покрепче и с силой толкнул архиепископа ногой в грудь, не чураясь угодить подошвой в наперсный крест новгородского владыки.

— Скоморох ты и есть! А поэтому, сучий ты сын, тебя оженю! — продолжал кричать Иван, склонясь над рухнувшим навзничь Пименом. — Получишь от меня в супружество ту, что сегодня нахваливал!

Тяжело дыша, царь обернулся к застывшим в готовности Ваське Грязному и Тимошке Багаеву.

— Вон его! На двор! — приказал им рычащим голосом, крепко сжимая посох и едва сдерживаясь, чтобы не обрушить его на жертву. — Распрягай мои сани!

Опричники кинулись к архиепископу, подхватили его под руки. Пимена потащили мимо опрокинутых столов, оскальзываясь на раздавленных яствах.

Остальные царские слуги принялись выкрикивать непотребства и смеяться.

— Да ты, государь, в своем ли уме?! — поверхулюлюканья вдруг раздался чей-то густой, басовитый возглас. — Как же ты смеешь, негодник, такое творить?!

Изумление тенью пробежало по лицу царя, оставило открытым рот и соскользнуло в бороду, будто взлохматив ее пуще прежнего. Иван медленно повернул голову, высматривая того, кто осмелился на неслыханную дерзость.

Из сбившихся в угол палаты духовных выступил дородный чернец с крепким мясистым лицом, окаймленным темно-русой бородой. Широкие крылья его большого носа трепетали, брови сошлись, образовав на лбу связку морщин.

Иван, все еще потрясенный, узнал архимандрита Юрьева монастыря Константина Захарова.

— Образуясь и вели прекратить бесчинство! — шумно дыша, осанистый Захаров с вызовом сделал шаг к царю.

Тотчас подскочили с двух сторон оба Басмановых. Старший без раздумий сокрушил монаха страшным ударом в голову — кулак воеводы был по-прежнему крепок. Архимандрит рухнул

навзничь. Федька придавил ему коленом грудь и замахнулся ножом, нетерпеливо поглядывая на государя. Подоспел и Малюта, вытягивая кривую турецкую саблю.

Иван резко выставил ладонь в запрещающем жесте.

— Поднимите! — скупой приказал он.

Федор с сожалением встал с лежащего, поигрывая ножом в руке. Малюта убрал саблю в ножны и пнул дерзкого монаха носком сапога.

Подбежали иноземцы Таубе и Крузе, дернули архимандрита за одеяния, потянули.

— Тяжелый, зобака! — пропыхтел Таубе, багровея. — Теодор, дай помосч!

Федор Басманов сунул нож за ремень и, ухмыляясь, помог поставить оглушенного монаха на ноги.

— Нажрал брюхо-то, — хохотнул он было, но осекся под царским взглядом.

Ивану было не до веселья.

Архимандрит Константин, мотая головой, приходил в себя после удара царского воеводы.

Но вместо страха на лице монаха отражалось негодование, знакомое царю по юным воспоминаниям — точно так же дышал якобы праведной яростью архиерей Сильвестр в тот день, когда взбунтовались москвичи-погорельцы. Хитрый и коварный старик, он рядился в слова о заботе, порядке и благонравии, а на деле, подобно пауку, опутывал Ивана, вытягивал из него царскую силу и мощь. Ослаблял, околдовывал. И все это — с помощью коварно используемого Орла. Руками молодого царя пытался загрести Сильвестр власть, но не допустил Господь! Дал государю силу, и ум, и преданных слуг — раскрылась гнусная тайна

церковников. Поповским седалищем возжелали на царский трон взгромоздиться!

Ну уж теперь тому не бывать! Есть управа на хитрованов.

Справившись с изумлением, Иван задумчиво посмотрел на Константина.

— Ты на моих слуг не серчай, Захаров, — неожиданно мягким голосом сказал он. — Люди они грубые, невожатанные. Выпили вина больше меры, вспылили. Не ведают, что творят... Но ты говори, говори. Я послушаю.

Монах, стараясь не уронить голову на грудь, посмотрел перед собой. Взгляд его прояснился достаточно, чтобы увидеть ухмылку на лице царя.

— Скоморошничаете, государь... — с трудом ворочая языком, слабо произнес Константин. — Не довольно ли на тебе крови? Крови преданных тебе слуг, невинных христиан?

Иван придал лицу удивленный вид, но прерывать монаха не стал.

Видя, что ему не затыкают рот, Захаров воспрянул духом. Крылья носа вновь затрепетали. Грудь ходила ходуном, заставляя позвякивать цепь архимандритской панатии. Голос окреп, мощной октавой разнесся под сводами столовой палаты:

— На что замахнуться посмел? На святую церковь? Доходят до нас известия о твоём глумлении над монастырским укладом. Одумайся, государь! Что ты устроил в своей слободе? Кому служит твоя «братия», тобой же выраженная во лжемонахов? Что творят с твоего благословения? Что с митрополитом Филиппом сделали?!

Двумя руками обхватив посох, государь внимательно слушал обличавшего его архимандрита.

Едва тот замолк, Иван приподнял брови, всем видом изображая недоумение. Рассмеялся — будто дерево заскрипело.

— Крови, говоришь, пролил много... — Царь покивал, словно соглашаясь. — Слышал я такие речи, еще отроком будучи. Вел их лукавый архиерей, нагонял мороку. Был я кроток и милостив... И что же?!

Иван обвел медлительным взглядом замерших вокруг людей. С губ, сведенных нахлынувшим гневом, сорвалось:

— Одна погибель государству случилась от такой-то мягкости государевой! В монастырях измена завелась! Не Божьи места — норы хориные, крамолы полные!

Гулко стукнул царский посох. Холодным и гибельным светом переливался Волк на его вершине.

— А кто же норы эти разроет, да изменников за хребет ухватит? — продолжал Иван, будто размышляя вслух. — Никто, кроме царя! А кто подсобит в тяжком деле ему? Верные слуги, самим царем выпестованные!

Малюта, стоявший возле дерзкого монаха, сжимал рукоять сабли. Взглядом он буквально объедал лицо архимандрита. Казалось, стоит государю лишь пальцем шевельнуть повелительно — изрубит верный слуга в мелкое крошево церковника-возмутителя.

Но Иван отчего-то медлил, прислушиваясь к доносившимся со двора звукам. Слышны были хохот, свист, улюлюканье, бранные выкрики. Озорничали опричники, готовили там потеху над новгородским владыкой.

«Неспроста Филипку помянул Захаров. Ох, неспроста!.. И с речами он смелый не на пустом месте.

По примеру Сильвестра здесь хитрость и колдовство, не иначе. Одного корня все! Пимен от страха, Волком наведенного, все одежды измарал, а эти словно под щитом прячутся... Филька пугался, но дух сохранял, лишь бледнел смертельно. А этот...»

Иван бегло взглянул в глаза монаха. Обыкновенные, крыжовенные, разве что чуть затуманенные недавним кулачным ударом.

— Сказано в Писании: «Ты побиешу его жезлом, душу же его избавиши от смерти», — весомо промолвил царь.

Положив ладонь на вершину посоха, Иван крепко сжал серебристого Волка. Другой рукой он зацепил золотую цепь панагии на груди Захарова. Дернул что было сил. Константин подался вперед. Глаза его, слегка заплывшие из-за мясистых щек, внезапно округлились от ужаса. Он попытался перекреститься, но Федор Басманов клещом вцепился в его локоть — завел руку за спину.

Монах закусил губу, пытаясь сдержать рвущийся из горла крик. Из глаз его полились слезы, тело задрожало.

Царь сорвал с него архимандритский знак. Потрясая зажатой в кулаке панагией, хлестнул Захарова обрывком цепи по лицу. На вздувшейся щеке монаха полосой проступила кровь.

— Взять нечестивца и пытаться до завтрашнего дня! — рваным от злобы голосом приказал царь, стукнув по полу посохом. — Дознаться, кто надомил на дерзость! Разузнать, кто клир и монашество против царской власти толкает!

Малюта, не сводя ненавидящего взгляда с архимандрита, прошипел:

— Лично займусь, государь!

Скуратов накинул на царя шубу и хлопнул в ладоши:

— Захарова на задний двор — там Жигулин сани уже подал! На Торг везите. Игнатке на руки сдать. И пусть меня дожидаются!

Константина поволокли вглубь палаты. Иван проследил, как чертят пол подошвы мягких сапог чернеца. Убрал ладонь с набалдашника и буркнул Малюте:

— Завтра же на кол смутьяна, другим в пример!

Скуратов коротко кивнул, сдерживая довольную ухмылку.

— Что с Пименом прикажешь, государь? — вкрадчиво поинтересовался он. — На дворе ждет.

Иван задумался. На лице его на миг отразилось смятение. Глянул отрешенно, словно не узнавая любимца.

— А?.. — скосоротился, рассеянно огляделся. — Кто?

Малюта обеспокоился:

— Ты здоров ли, Иван Васильевич? Послать за лекарем?

Но царь упрямо сжал рот и махнул рукой, будто стряхивая с растопыренных пальцев невидимую грязь. Размашистым шагом, едва не уронив шубу с плеч, бросился к выходу. По-кабаньи накрепко и держась за раненый бок, за ним поспешил Скуратов.

На утоптанном снегу Владыческого двора лежал, подплывший кровью и в разорванной одежде, сам владыка. Крепко избитый, он пытался перевернуться со спины на живот, отползти, но толпа царевых людей, окружив несчастного, не пускала. На Пимена сыпались пинки и удары дубинок.

— Глянь-ка, как руками забирает! — дурашливо приседая, хохотал остролицый молодой опричник Петруша Юрьев. — Чисто по воде плывет!

Толпа гоготала:

— Га-га-га! Ишь, как гребет!

— А ногами-то, ногами тоже сучит!

— Эх-ха-ха-а!

— Знамо дело — обмарался со страху, теперь выкупаться просит!

— А мы его и покупаем! За ноги прихватим, да к саням!

— Повозим по улочкам!

— В реку его! Пушай чертей повидаает!

— Дык замерзла же!..

— Возле моста видал полыньи какие? Не один десяток таких пролезет!

Петруша, выламываясь, обежал вокруг избитого, вращая шальными глазами. Согнутые руки он прижал к груди и махал локтями, изображая курицу:

— Куд-кудах-тах-тах!

Хохот грохнул с новой силой, разорвал морозный воздух.

При появлении на крыльце государя толпа притихла, расступилась.

Иван неспешно сошел на двор, сумрачно оглядел окровавленного Пимена.

Архиепископ корчился возле ног царя, тянул к нему дрожащие пальцы. Челюсть его тряслась, заставляя бороду мелко колыхаться.

— Ты посмотри на себя... — склонился к нему царь, брезгливо кривясь. — Какой же ты владыка?.. Не подobaет тебе им быть!

Пимен лишь надсадно перхал и беспомощно взмывал. Руки его походили на лапы умирающей птицы — кожа на них потемнела, посеклась, пальцы скрючились и царапали грязную наледь.

Иван неожиданно развеселился. Распрямился, топнул ногой и рассыпался дребезжащим смешком:

— Ну что, братия, оженим скомороха новгородского?

Толпа опричников радостно загудела:

— Самое то, государь!

— Правильно!

— Давно пора!

— Уже и невеста готова!

Под гогот и свист появился пронырливый Петруша. Подмигивая и приплясывая, опричник вел под узды выпряженную из царских саней кобылку. Та всхрапывала, дергала шеей и прижимала уши, пугаясь шумной толпы.

Иван осклабился, толкнул Пимена ногой и указал посохом на савраску.

— Нечего валяться! Вот твоя супруга, вставай и полезай!

Грубые руки подхватили архиепископа, срывая с него остатки одежды. Пимен, разом превратившийся в жалкого хнычущего старика, на ногах стоять не мог и все время подламывался в коленях.

— Гляньте-ка, приседает! — зашелся смехом Петруша, ведя кобылку кругом и тыча пальцем в свергнутого новгородского владыку.

Толпа подхватила:

— Чисто пляшет!

— Эка коленца-то выделяет!

— Срамом седым трясет!

— Смотреть противно, прикрыть бы надо безобразника!

— Уха-ха-ха!

Упал возле босых ног обомлевшего от ужаса и позора Пимена дерюжный мешок.

— Справляй обновку!

— Наряжайся, жених кобылий!

— Что ступой стоишь?

— Подсобите ему!

Петруша передал савраскину узду одному из регочущих опричников. Поднял дерюгу, вынул из сапога нож и ловкими взмахами проделал в мешке дыры для головы и рук.

Подскочили еще помощники, натянули на Пимена новое одеяние и закинули на не покрытую седлом спину кобылки.

Царь хлопнул себя по бедру, искренне веселясь.

— Хороша ли невеста? — крикнул он Пимену, которого тем временем уже усадили на лошадку задом наперед и прихватили веревками, чтобы не упал. — Помню, ты ее нахваливал в разговоре нашем!

Низвергнутый архиепископ жалко покачивался и хватался за лошадиный круп.

Из толпы посыпались глумливые смешки:

— Ишь какой резвый!

— Эка оглаживает!

— Не успел обжениться еще, а уже бабу щупает!

— Видать, понравилась!

Громче всех потешался сам государь. Лицо его порозовело, даже круги под глазами стали едва видны. Широкий чувственный рот ломался улыбкой, губы разлеплялись, обнажая нечастые зубы.

Иван утер выступившую от смеха слезу и, возбужденно крутя головой, крикнул:

— Дайте ему музыку!

Тотчас, как из небытия, появились гусли — царские приказы исполнялись мгновенно. Десятки рук споро передавали инструмент, пока не дошел он до Петруши Юрьева. Умилительно сморщив лицо, парень провел пальцами по струнам и одобчительно причмокнул:

— Хороши!

Поманил пальцем своего товарища, верзилу Кирилку Иванова, шепнул ему что-то на ухо. Тот осклабился, закивал. Пригнулся, подставляя спину и плечи. Юрьев взгромоздился на него, придерживая «музыку». Кирилко распрямился, Петруша взмыл над головами, оказавшись вровень с понуро сидящим на кобыле Пименом.

Перехватив гусли на манер лаптошной битки, раскрасневшийся от задора опричник звонко выкрикнул, потешая толпу:

— Ах, гусельки, расписные, да с открылком! А ну-ка, осальте старика по затылку!

Размахнувшись, Петруша огрел гуслиями несчастного Пимена. Старик вскинул к голове руки. Между пальцев поползли тягучие темные капли.

Толпа снова дернулась в хохоте:

— Славно вдарил!

— Звонко!

— Глянь, за башку как ухватился!

— У него небось ангелы в ней запели!

— Петрушка, не сломай музыку!

— Отдай ему, пущай играет!

Пимену всучили гусли. Он принял их вялыми руками, не поднимая головы.

— Играй, скоморох! — крикнул царь. — Дай веселенькое!

Толпа поддержала:

— А ну, покажь, на что годишься!

— Это тебе не псалмы тянуть!

— Вдарь плясовую!

Поруганный архиепископ сидел на кобыле без движения, точно привязанный мертвец.

Юрьев, покачиваясь на высоком, как колодезный журавль, товарище, хватил старика по спине кулаком.

— Играй, сучье вымя, ежели царь велит!

Пимен царапнул струны непослушными пальцами.

Спрыгнув на землю, Петруша пригрозил:

— Играй громче, не то отсеку клешни твои по локоть! Нечем будет кресты класть!

Задергав плечами в беззвучном плаче, Пимен принялся перебирать струны.

В истеричном веселье Иван прокричал:

— В Москву его! До самой столицы пусть не слезает! А туда прибудет — записать его имя в скомошские списки. На Пожаре народ развлекать будет!

Кто-то из опричников подхватил лошадку под узды, повел с площади. Вихлял в стороны вислый кобылий задок, моталась облезлая плеть хвоста, жалобно звякали гусли, плыло над толпой бледное, в темных пятнах, лицо архиепископа.

— И чтобы песни пел, всю дорогу! — разорялся вслед жертве Иван, потрясая посохом. — В мою честь не надо! Во славу Жигимонта пусть распевает!

Толпа расступалась, пропуская процессию.

Савраска шлепала разбитыми копытами по наледям, фыркая и кося глазом. Весь свой век таскала она сани да телеги и в поле плуг, пока не отобрали ее у хозяина. Теперь предстояла ей дальняя дорога, да

еще с привязанным к спине седоком. К участи своей она была равнодушна, ибо не ведала о ней ничего.

Сидевший на ней задом наперед архиепископ свою судьбу знал. Боль, отчаяние и страх в его глазах уступили место смирению.

На мгновение оторвав руку от струн, Пимен перекрестил наблюдавшую за ним толпу.

Смешки неожиданно стали угасать. Лица тускнели, глаза отводились.

— Скатертью дорога! — хлестнул было чей-то выкрик, но не нашел поддержки.

Тишина воцарилась кругом.

Яркое холодное солнце равнодушно плыло над окровавленной головой низложенного новгородского владыки, над куполами собора, над забитой черным людом площадью, над полузамерзшей рекой — всем великим городом, участь которого была предрешена.

Покинула веселость и царя. Притихшая толпа вызывала в нем беспокойство.

Едва кобылка с привязанным к ней Пименом скрылась из виду, Иван пасмурным взглядом окинул близстоящих и покачал головой:

— Так-то вы, окаянные, царю служите! Псы безродные! В потехе первые молодцы, в забавах старательны! А как придет черед грехи на душу взять — по щелям, как тараканы от свечи! Знаю я вас!

Ладонь Ивана подрагивала возле украшения его посоха, словно в сомнении — накрыть ли серебряную фигурку.

— Знаю! — продолжал Иван, горестно изгибая губы. — До озорства охочи! А чуть что — не на вас, мол, вина, по велению государя все сотворено... Ему и ответ держать перед миром и Господом!

Никто не решался подать голос.

Даже Скуратов стоял, склонив голову.

На шее царя задрожали вздутые жилы.

— Пожалели епископа! Изменника и польского лизоблюда! А он — жалел ли кого?! Разве он Филиппа, митрополита московского, жаловал?! Наветами сгубил, с места сверг! И все для чего? Ослабить столицу желал. Филиппа в монастырь чужими руками сослать, а царя — извести порешили! Сами под поляков метнуться пожелали, а на престол московский посадить чучело слабовольное, кто и пискнуть не посмеет против!

Белесыми от гнева глазами царь оглядел кирпичные стены детинца.

— Стоять лагерем будем в Торге! Претит мне с изменниками одним воздухом дышать, по одной земле ходить. Покуда не очищу от крамолы — не ступлю более в кремль новгородский!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МАСТЕРСТВО

По всему Торгу горели костры.

На рыночной площади возле церкви было светло, весело, жарко.

Желтый свет бойко плясал по бревенчатым и кирпичным стенам, разгонял холодную синеву вечера.

Хорошо подкрепившись вином и обильной едой — весь день резали живность у горожан, — возле огня грелись и забавлялись царские слуги.

Неутомимый на веселье Петруша Юрьев задорно выкрикивал, хлопая себя по ляжкам:

Портки мои синие
Разорвали свиньи!
Туды клок, сюды клок —
Я остался без порток!

— Аха-ха-ха! Ге-ге-ге! — реготали луженые глотки.

Хохот и озорное пение беспечно летели в морозную высь вместе с быстрыми желтыми искрами.

Стукнула дверь.

Опричники встрепнулись.

Сам Григорий Лукьяныч показался в дверях. Постоял в проеме, упираясь руками в косяки. Вздыхнул. Вышел на двор.

Несколько человек кинулись было от костра, помочь, угодить, но Малюта поднял руку.

— Сам, сам... — хмурясь, проворчал в рыжую бороду.

Осторожно ступая, сделал пару шагов.

Крепко ему досталось в Торжке, когда по тверскому примеру заявился он с отрядом в крепость за пленными татарами — выволочь на двор да посрубать головы. Видя, что настал их последний час, татары набросились на опешивших опричников с голыми руками, отняли у нескольких из них ножи и сабли. Трех зарезали насмерть, а Малюту пырнули в живот — так что кольчужные кольца лопнули и чуть было требуха не вылезла. Пришлось отступать и бежать за стрельцами. Стыдно сказать — басурман всего полтора десятка и было.

Узнав, что ранен его любимец Малюта, государь пришел в неопишемую ярость. Схватив посох, кинулся вслед за стрельцами к крепостной ограде. Пленные к тому времени взяли в свои руки всю крепость, и выкурить их оттуда задачей было непростой. Уже и пушки думали выкатить или пожар устроить. Но стоило царю забраться на стену, как татары сами выбежали на внутренний двор, побросали оружие и упали на колени, завывая на своем языке. Так и не поднялись — перестреляли бунтарей из пищалей. Немчик Штаден особо отличился — пять раз выстрелил, ни разу не промахнулся, пятерых уложил.

Григорий Лукьяныч, к удивлению многих, не только не умер в Торжке от раны, но и резво поправлялся. Поговаривали то о чудодейственных снадобьях лекаря Арнульфа, то о колдовстве.

Как бы то ни было, а Малюта, хотя и бледный видом, уже мог сам выйти на воздух, присесть на лавке возле двери, продышаться на вечернем морозце. Привалившись к бревенчатой стене и вытянув ноги, Малюта хмурил брови, смотрел на закатное небо и размышлял о чем-то. Оттого и не сразу заметил стоящего чуть поодаль заплечных дел мастера.

Кат — низкорослый, но плечистый мужик с косматым, как у черта, лицом — застенчиво топтался возле Малюты.

— Чего тебе? — покосился на него царский любимец.

Палач же, едва на него обратили внимание, чуть не подпрыгнул от радости, как искушавшаяся собачонка при виде хозяина.

Палача Скуратов недолюбливал. Называя самого себя псом государевым, слыл и среди товарищей — лютым, сильным и верным, не лишенным звериного достоинства. Даже в пытошной, когда приходилось жечь, ломать и рвать, Малюта ощущал себя прежде всего радетелем державы и лично ответственным перед царем. А таких, как этот заплечник, держали за искусность и сноровку в своем деле, но уважения к этой породе не было. Им все равно кого кромсать, кому служить — лишь бы похлебка полагалась.

Подержав себя за неопрятную бородину, кат подобострастно уставился на своего начальника.

— Мне бы ученичка какого... Самое оно, для учебы-то. В Москву ведь когда вернемся, дел и во все невпроворот будет. А я, глядишь, и подготовил бы уже себе на подхват человечка.

Скуратов хмыкнул, разглядывая ката. Заросший, рукастый, кряжистый, мясистый палач приплясывал

на коротких кривых ногах, моргал слезящимися на морозе глазками — будто не человеческими, а от медведя взятыми, маленькими и темными.

— Что, поди уж, и присмотрел кого? — сощурился Малюта.

Палач повеселел:

— Все-то ты, Григорий Лукьяныч, примечаешь! Все-то знаешь!

— Служба такая... — хмурясь, обронил Малюта. — Ну, говори, кого приметил.

Кивнув в сторону собравшихся возле костра, кат забубнил:

— Да вот мальчика того. Возничего, Егорку.

— Жигулина? — удивился Малюта.

Кат закивал:

— Его, его самого.

Малюта глянул на гомонящих у огня опричников, выискал глазами щуплого парня в теплой чуге. Безусое лицо, губастое, совсем юное.

— Не жидковат ли? — с сомнением спросил палача.

Тот решительно помотал башкой:

— Нутряная в нем сила, чую. Ее пробудить да направить лишь. Нету к людям жалости у него, но и лютости нет. Со спящей душой человек. Для нашей работы — самое то!

Малюта задумался.

— Ну что ж, бери, коли так. Когда учить начнешь?

Палач поскреб бороду. Подергал, будто проверяя, прочна ли.

— Да вот и начнем завтра с утра, не отлагая. Игумена Константина-то на виске уже обо всем допросили. Нового ничего не поведает больше — нечем. Дело за малым осталось — за злонравие

и бесноватую дерзость государь его приговорил на шесток, пущай оттуда и поучает!

Малюта задумчиво погладил свою бороду и чертыхнулся про себя:

«Тьфу, дьявол, перенял у этого...»

— На острый или на кругляшок? — деловито спросил подчиненного.

Кат оживился, приосанился, заблестел глазками:

— На кругляшочек, Григорий Лукьяныч. И согреть велено.

Скуратов кивнул.

— Бери мальчика, учи службе. Головой отвечаешь.

Поклонившись, палач отошел от скамьи и отправился к пылавшему на дворе костру.

— Эй, паря! — негромко позвал он.

Опричники, гоготавшие над чьим-то рассказом, разом смолкли и посторонились. Желтые отсветы пламени плясали на их напряженных лицах. Множество настороженных глаз уставилось на незваного косматого гостя.

Кат ткнул в Егорку коротким толстым пальцем и несколько раз его согнул — будто показывая, как насаженный на иглу червяк корчится.

Жигулин поправил шапку, глянул на товарищей и боязливо подошел.

— Пойдем, — коротко сказал палач.

Глаза парня тревожно блеснули.

— Не пужайся, — усмехнулся кат. — Если худа за тобой нет, так и я тебе его не сделаю. По приказу Григория Лукьяныча ко мне определен теперь.

Малюта медленно поднялся с лавки, придерживая рукой живот. Нутро почти не болело, не пекло, как в первые дни. Проводив глазами две отошедшие от костра фигуры, Малюта взглянул на небо. Наползала

на Новгородщину холодная ночь. Далеко, в уснувшей уже Москве, в высоком доме на берегу реки, одиноко спала его жена Матрена. Белотелая, круглолицая, с глазами, точно васильки. Да две дочки, от матери отличимые разве что годами и не столь дородные, грезили в светелке под перинами о женихах да нарядах.

— Выжил я, Матренушка, — крестясь в сторону густеющей черноты, прошептал Малюта. — Машука, Катенька мои! Даст Бог, не покину вас и впредь, многие годы!

Главный царский опричник добрался, опираясь о стену, до двери и скрылся в черноте проема.

Откровянился зимний закат.

Ночь над Городищем была морозна и безмолвна. Месяц карабкался среди пепельно-сизых туч. Тихо опускались редкие снежные хлопья. Уютно пахло печным дымком. Но в каждой избе понимали: утро будет страшным, будет страшным и день.

В подклете разграбленной церкви Благовещения жарко натоплено. Выкинув всю церковную утварь, там по-хозяйски расположился палач со своим страшным scarбом и новоявленным учеником.

Палач сидел в одной длинной холщовой рубаше на высоком сундуке, свесив босые ноги. В руке держал серебряный стакан, то и дело прикладываясь к нему. Лицо ката, там, где оно не поросло густым волосом, покраснелось от огня и вина. Благодушно щурясь, он наблюдал за новоиспеченным учеником.

Егорка Жигулин, притулившись на узкой лавке, корпел над длинной пеньковой веревкой, складывая ее и перевивая. От усердия он пыхтел и кусал губу, над которой едва начал пробиваться светлый пух.

— Конец-то, конец, который длинный, не в третий виток суй, а в четвертый! — подал голос палач, от внимательного взгляда которого не укрывался ни один промах Егорки.

Егорка послушно исправил. Потянул за концы. Соскочил с лавки, подошел и боязливо подал веревку наставнику.

— Вот! — удовлетворенно крикнул тот, разглядывая Егоркин узел. — Теперь сам видишь, какой получился! Хоть сзади, хоть спереди руки вяжи, а без понимания не сумеет никто освободиться. Эхма, пенька новгородская, хороша до чего! А ты, малец, смекалист, как погляжу!

Польщенный Егорка улыбнулся и осмелился спросить:

— Дяденька, а как тебя звать?

Кат хитро взглянул на ученика.

— Меня звать не надо, я сам приду! Ну а так-то, промеж собой если, то Игнатом кличь.

Довольный своей шуткой, палач отложил веревку, осушил стакан и утер бородину.

— Ну, хватит уже винца. Завтра с утра работенка важная. Голову надо ясной иметь. В нашем деле ошибки быть не должно.

— А то что? — осторожно спросил Егорка, с любопытством оглядывая разложенные по всему подклету инструменты.

— А то все! — хохотнул Игнат, но вмиг стал серьезным и добавил: — Царь будет завтра на нашу работу глядеть. Не потрафим государю — так сами рядом со злодеями корчиться будем.

— Дело известное, — стараясь придать осанке и голосу важности, сказал Егорка. — В государевом полку тоже не забалуешь.

Палач хмыкнул и вдруг с силой схватил себя за бороду. Потянул вперед, скорчив уморительную рожу.

Егорка, не выдержав, рассмеялся.

— Вот то-то же! — ухмыльнулся Игнат. — Не выкаблучивай, паря. Не воображай из себя важную птицу!

Соскочив с сундука, кат сунул ноги в короткие валенки и прошаркал к белеющим в углу доскам.

— Козла завтра на рассвете мастерить будем, — обернулся он к ученику. — Отнесем досочки наверх и на площади соберем. Колышков прихватим про запас, мало ли что. Хворосту притащим тоже.

— А это зачем? — спросил Егорка.

— Для сугреву, — коротко пояснил кат.

Егорка не очень понял и снова принялся разглядывать диковинное для него хозяйство.

Закопченный противень, несколько сковород разной величины и колченогий таганок он оставил почти без внимания. Пробежался взглядом по груде железного инструмента: ножам, пилам и крючьям. Взял тяжелые щипцы, помахал ими в воздухе. Примерил к краю лавки и налег на длинные рукояти. Дерево захрустело под нажимом.

— Ребрышко сокрушить или суставчик надломить — лучше не сыскать вещицы! — горделиво сказал Игнат, наблюдая за упражнениями Егорки. — Накалять научу, тут целая наука — краснота или белизна, они по-разному пользу делу дают.

Егор положил щипцы на место. Оглядел наскоро сооруженную дыбу, дернул за веревку. А вот кнут, лежавший на полке, вызвал у бывшего возничего особый интерес.

Игнат с пониманием кивнул. Борода его разъехалась в стороны, как меха горна, — палач улыбался.

— Вижу, вижу, к чему тянешься, — радостно хлопнул в ладоши кат. — Не ошибся я, значит! Быть тебе отменным мастером!

Егорка осторожно взялся за темную деревянную рукоять и потянул. С громким шорохом поползла косица кнута, Егорка высоко поднял руку, измеряя длину, отступил на пару шагов. Конец звучно стукнул об пол, будто дощечка упала на камень.

— Таковую вещь никому не доверю изготовить. Сам делал! — Игнат горделиво погладил бороду. — Из лучшей сыромяти сплел.

Кнут был тяжел и страшен.

— А вон, видишь, к косице «язык» приделан? — Игнат нагнулся и ухватил жесткую полосу кожи, согнутую вдоль уголком. — На сам кнут всегда чепрачная кожа хороша, от быка. А на «язык» беру свиную. В рассоле крепком вымочить, согнуть потом, под гнет положить, чтобы желобком острым засохла.

— Для чего же такой «язык», дядя Игнат?

— А для того! Он с человека стружку снимет полхлебе ножа, если умеешь кнутом приложить. Ты запомни, малец...

Игнат оглянулся, хотя никого вокруг быть не могло. Схватил Егорку за грудки и притянул к себе, приблизив лицо почти вплотную. Зашептал, тараша слегка пьяные карие глаза:

— Запомни — от нашего умения все зависит! Захочешь — таким «языком» с тройки ударов выбьешь все потроха. А захочешь, красивый узор на

спине сложишь, красную елочку во всю ширь — знай заходи с одной стороны да с другой, охаживай сердешного! А человечек покричит-повоет, да дух в себе удержит. От нас только зависит, сколь кому дышать осталось! Ну, положи кнут на место. Не созрел пока до него.

Егорка послушно свернул кнут и возвратил его на полку.

Игнат тем временем прошаркал валенками к углу подклета. Принялся греметь и стучать деревянными кольями. Придирчиво осмотрев концы, отложил три по-разному заточенных.

Подозвал Егорку.

— Вот, поставь у двери. Завтра отнесешь наверх. Видишь — один очинили, точно перышко? Ты, поди, пером умеешь писать? Из посадских ведь?

— Батенька, пока жив был, платил за школу. Отец Никодим нас учил, грамоте и цифирному счету.

— Помер, значит?

— Да нет, и сейчас учит.

— Да про отца спрашиваю, дурень ты этакий, — заворчал Игнат и сердито разлохматил себе бороду. — На кой ляд мне Никодим сдался...

Егорка кивнул:

— От живота умер, три года уже.

Кат вздохнул и принялся приводить бороду в порядок, дергая за космы, оттягивая их книзу.

— А моего я сам отделал.

Егорка оторопело взглянул на учителя — не ослышался ли?

Игнат испытующе взглянул на него.

— Что, паря, шарахаешься? — изменившимся голосом словно каркнул палач. — И матушку свою, если приказ дадут, в петлю подсадишь. Такое ремесло.

Игнат подскочил вплотную к ученику и впился в него взглядом, словно ожидая чего-то. Густые черные брови сдвинулись, узкий лоб разрубили темные складки.

— Нет матушки, она еще до отца преставилась. Из всех братьев один я до нынешнего дня дожил. Сирота я дяденька Игнат, — стараясь не подать виду, что испугался, произнес Егорка.

— Оно и к лучшему, коли так, — неожиданно ласково сказал палач, разглаживаясь лицом и шеvelя бородой.

Егорка перевел дух.

— А что грамотой владеешь — это еще лучше, — продолжил Игнат и снова принялся стучать кольями. — В нашем деле нужна полная тайна. Точность тоже нужна. Что там дьяки-писцы иной раз корябают — поди разбери. Мне как раз грамотный подручный нужен!

Игнат подмигнул Егорке и вернулся к своим деревяшкам и поучениям.

— Вот этот, острый самый, мы захватим на тот случай, если государь утром будет милостивый. На таком острие даже твоего сложения человек быстро дух испустит. А уж завтрашний, телом тучный, мигом насадится и помрет скоренько.

Игнат взял следующий кол.

— А этот тоже острый, чуток закруглен разве. А видишь — тут чуть поодаль острия дощечка приколочена? Этот колышек на тот случай, если только полмилости у государя будет. На такой жердочке немного покукарекать придется, планка не пустит глубоко. Но раскровянит знатно. Четверть часа самому жилистому отпустит такой вот кол-то.

— Ну а вот этот? — кивнул Егорка на третий кол, едва заточенный, больше похожий на огромный черенок от лопаты.

Кат потер ладонями бороду, словно вытряхивая из нее крошки, и веско пояснил:

— А это и есть «кругляк». Мучение от него лютое. Для тех, кому милосердия не оказано. Он не протыкает, а всю ребуху только сдвигает в сторону. Крови от него немного, если правильно вдеть. Этому завтра учить буду. А сейчас стели на лавку прямо тут. Спать надо.

Кат поскреб в бороде и зевнул, кривя рот.

Улеглись. Игнат сразу захрапел, а Егорка долго еще лежал, глядя, как затухают на потолке отсветы огня, как темнеют стены из крупного некрашеного кирпича.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КАЗНИ

Рассвело.

Небо очистилось от брюхатых ночных туч, по-светлело.

Васька Грязной собственноручно обмел выпавший ночью снег. Смахнул метелкой его с царского помоста, укрытого красным новгородским атласом.

— Вот так и выметем измену всю со страны, как снежочек этот! — воодушевленно крикнул Васька, оглядывая свою работу и потрясая метелкой. Лицо его покраснело и лучилось весельем.

— Грызть и кусать врагов будем! Выметать крамолу поганую! — поддержали его товарищи.

Отнятыми у купцов коврами опричники укрыли и всю площадь. Притащили царское кресло. Для тепла и удобства выстлали его шубами из чернуброк.

По обе стороны от кресла поставили широкие лавки, на них тоже кинули меха.

Пригнали несколько сотен горожан. Выстроили их стеной на дальней стороне площади, напротив царского места. Боязливо кутались в шубы бояре, потряхивали бородами, косились друг на друга, перешептывались. Притоптывали сапогами служилые дети боярские. Угрюмо насупилось

купечество. Тесно жались друг к другу приказные люди, вперемешку со своими женами и детьми. Сильнее мороза холодило собранных на площади новгородцев предчувствие беды.

По двум другим краям и за царским помостом выстроилось опричное войско.

Над людским скопищем в морозном воздухе клубились облачка пара.

Множество ворон, взбудораженно каркая, кружило над площадью и крестами Благовещенской церкви, переделанной царскими палачами под свои нужды.

Возле уже расставленного дубового козла степенно расхаживал торжественный Игнат. Рядом с козлом стояла низкая лавка. На ней, как на прилавке скобаря, теснились всевозможные инструменты. Там же были сложены ремни, а почти на краю стояла плошка с чем-то едким, судя по запаху. По случаю важного публичного дела косматую бороду свою Игнат, как сумел, расчесал. Под тулупом, нарочито накинутым на плечи, незапахнутым, виднелась алая, как у плясуна-медвежатника, рубаха. Сапоги с напуском, широкий ремень с кованой бляхой — палач принарядился во все свое лучшее.

Рядом с ним, стараясь перенять походку и жесты, ходил бывший возничий. На Егорке одежда была прежняя, разве что новые рукавицы ему выдал наставник.

— Вот, Егорушка, тут он, сердешный, и ляжет. — Кат остановился возле широкой лавки и провел рукой по белому струганому дереву. — Головой к государю, чтобы срамом своим не смущать. А как все сделаем — вон туда отнесем, где коврами не прикрыто осталось, — там уже ямку выдолбили.

Подобно испуганно вспорхнувшей птичьей стае, над площадью пролетел торопливый шепот:

— Идет! Государь идет!

Взглянуть, как накажут строптивого и дерзкого чернеца, явился царь Иван Васильевич в сопровождении Скуратова и Грязного.

Народ торопливо упал на колени, склоняясь перед грозным правителем.

Государь, стуча посохом, вошел по ступеням на красный помост. Резко вскинул голову, словно высматривая что-то над собой. Перекрестился, прошептал:

— Ты ведешь меня, указуя путь! Во славу тебе и во спасение государства деяния мои! Если не прав я, если ошибся в повелениях Твоих — дай знак!

Крепко сжав набалдашник посоха, Иван настоженно обвел взглядом площадь. Притихшая толпа истово гнула спины. Бледные лица опричного войска казались вылепленными из снега.

Царь сел в украшенное шубами кресло. Весело глянул на приближающуюся процессию.

Архимандрита Константина Захарова, босого, в одной длинной нательной рубаше, вели под руки двое опричников. Похрустывал под их ногами снежок. Четко отпечатывались каблуки стражников, следы же игумена длинно тянулись. Дородный монах пытался шагать твердо, но получалось с трудом — ноги, обожженные в пытошном каземате, плохо слушались, шаркали и кровянили снег. Ногтей на пальцах не было. Глаза ввалились, борода местами почернела от крови, а с одной стороны была опалена. Искусанные губы распухли. Процессия дошла до устланной коврами площади, шагнула на пестрые затейливые рисунки. Запачкались цветы и райские птицы сукровицей, покрылись ошметками горелой

кожи. Приближаясь к свежеструганным козлам, монах попробовал перекреститься, но царские слуги крепко держали его за локти.

Встретив взгляд царя, архимандрит беззвучно открыл рот.

— Поганый язык ему собственноручно усек, — склонился к государю Малюта. — И псам кинул.

Царь усмехнулся:

— Не потравил зверей мерзостью?

С другого плеча государя подал голос Грязной:

— Мой пес такого жрать не станет!

Черная собачья голова у седла грязновского коня давно уже стала известной всем. Многие из царского войска последовали примеру разбитного царского приближенного — украсили седла срубленными песьими башками, соревнуясь, у кого пострашнее будет. Царь лишь посмеивался: «Изведете всех собак в новгородщине, что о четырех ногах... А вы бы двуногим псам головы секли старательней!» Опричников уговаривать не нужно — голов посекали по пути к Городищу столько, капустных кочанов во всех здешних полях за год не уродится. Правда, Омелян, от небольшого ума, слова царские принял за чистую монету — оторвав пару крамольных монашьях голов, привесил их было на шею своего косматого коня, да царь не одобрил. «Чужим в братстве не место, нечего с собой их возить!» — сказал недовольный государь и велел те головы выкинуть в колодец.

Игнат, распрямившись, суетливо потер руки и обратился к Егорке:

— Ты ремешки приготовь покамест, а я голубчика приму, осммотрю.

Опричники, что держали под руки Захарова, подвели его вплотную к козлу. По знаку палача повалили на доску.

— Не пужайся, сердешный... — ласково произнес кат, похлопывая монаха по широкой спине. — Уж коль провинился, теперь-то чего...

Тот замычал и попытался повернуть голову, чтобы увидеть место, где сидел царь со своими подручными. Но кат быстрым движением стукнул его кулаком в ухо, затем прижал голову Захарова к козлам и с той же заботливой лаской в голосе приказал Егорке:

— Вяжи ему в локотках руки узлом, который разучил. А уж потом ноженьки его закрепим, подождем петельками.

В четыре руки старый кат и молодой ученик споро скрутили монаха. Тот почти не сопротивлялся. Лишь начал содрогаться и шумно дышать, когда Игнат задрал ему до подмышек рубаху и сноровисто, как повивальная бабка роженицу, осмотрел.

— Подь сюды, — подозвал Игнат Егорку. — Да подай ножик, с костяной ручкой который.

Егорка протянул учителю небольшой прямой нож и отвел глаза.

Игнат усмехнулся.

— Ничего стыдного нет! И на девок насмотришься еще, и на мужскую срамоту. Без вожделевения ведь, по службе смотрим. Значит, нет греха.

Заставив себя вновь взглянуть на распластанного человека, Егорка увидел, как Игнат точным движением сунул нож между ног несчастного. Тот взмыкнул и попытался брыкнуть, но ремни крепко прижимали его ляжки — крупные, белые с синевой, в отчетливых свежих рубцах и синяках.

— Иначе «кругляк» не войдет, надо проход расширить, — спокойно пояснил кат, глянув на ученика. — Ранка невелика, но кровянит сильно поначалу. А вот как дерево внутри окажется, разопрет да пережмет, крови уже не будет. Подавай колышек, Егорка. Примости куда следует.

Жигулин, бледнея, приставил кол к сочащейся кровью ране монаха.

— Да не дрожи так, держи ровно! — прикрикнул Игнат. — Не в печи кочергой шуруем! Тут деликатность нужна. Выше приподними! Нет, слишком задрал. Вот так в самый раз — держи, не сдвинь!

Егорка старательно и послушно исполнял указания мастера.

Напустив на себя вид самый серьезный, Игнат подхватил с ковра деревянный молоток. Нахмурился, выверяя что-то в уме. Затем цепко взялся за незаточенный конец кола и принялся стучать киянкой.

Чернец закричал так громко, что Егорка вздрогнул. Хлопнули крылья испуганных ворон — рассевшись было на церковных крестах поглазеть на происходящее внизу, птицы, громко каркая, понеслись прочь.

Безъязыкий монах истошно голосил и бился головой о дубовую лавку.

Над площадью пронесся царский смех.

— Никак, челом бить мне решил?! — крикнул со своего места Иван, забавляясь. — Помилования просишь?

Васька Грязной хохотал в голос, а Малюта осторожно посмеивался, придерживая живот и слегка морщась. Одобрительно гудели остальные опричники. Многие в толпе горожан начали кивать

и улыбаться, некоторые славили государя за веселый нрав.

Игнат, подмигнув ученику, продолжал аккуратно постукивать.

— Ах ты, голуба! — похвалил он заходящегося в крике монаха. — Потешил государя, порадовал! Царю весело — и нам, рабам, на душе лучше.

Внезапно архимандрит уронил голову и замолк.

Лицо палача приняло озабоченный вид.

— Поди, сомлел?

Подбежал к изголовью козла и, схватив Константина за волосы, приподнял тому голову.

— Глаза закатил. Это бывает, как без этого. Его-рушка, подай-ка живо плошку с уксусом!

Жигулин отпустил кол — тот остался торчать в монахе, как воткнутое копьё, — и метнулся к лавке. Двумя руками взял деревянную плошку. Стараясь не расплескать, поднес Игнату. Палач зачерпнул одной рукой немного уксуса и обтер лицо казнимого.

Монах мотнул головой, закашлялся. Широко раскрыл изувеченный рот, принялся шумно дышать. С его лба и крупного носа стекали мутные капли.

— Во-от, во-от так, сердечный наш! — радостно похвалил его палач. — А то раньше времени тебе никак нельзя.

Игнат вернулся на свое место.

— Ну, Егорка, считай, дело сделано наполовину. Теперь давай-ка возьми кияночку и сам попробуй. На четыре пальца вгони, не более. А я колышек придержу.

Под присмотром палача Жигулин принялся постукивать по колу. Константин уже не кричал,

только вздрагивал и, выворачивая шею, безумно таращился в небо.

— И то верно, — одобрительно кивнул Игнат, наблюдая за жертвой. — Глядишь, и поможет тебе, придаст сил. Бог-то, он своих в беде не бросает! Это мы ему не особо нужны, а ваш брат — другое дело!

Жигулин стукнул последний раз по колу и вопросительно взглянул на палача.

Игнат осмотрел работу, довольно хмыкнул.

— Одно удовольствие сегодня! Как есть божий человек — даже не обгадился. Обмочил себя малость, ну так это с каждым случается. Да и мы молодцы! Хребет не задели ему, требуху не порвали особо. Видишь, черная кровушка немного подтекает, а алой и нет совсем — это хорошо. Значит, посидит, покукует, государю и народу на радость!

Игнат повернулся к царю, поклонился. Егорка последовал его примеру.

— А теперь что, дяденька Игнат? — прошептал он, не разгибаясь.

— Смотри теперь, — ответил палач. — Мы свое дело сработали.

Игнат разогнулся и скомандовал:

— Снимай с него ремни!

Егорка, припоминая, за какую лямку тянуть, принялся освобождать от пут архимандрита Константина. Голова монаха мелко тряслась, изо рта лилась тягучая слюна, но взгляд его сделался осмысленным.

К козлу спешно подошли несколько человек из государева полка. Подхватили Захарова под руки и ноги, потащили.

Палач суетливо помогал, придерживал торчащий кол и шипел на неосторожных опричников.

— Ухвати повыше! Не видишь, черт ты безрогий, что тут у него!

Люди государевы, огрызаясь и посмеиваясь, доволокли жертву до выкопанной круглой глубокой ямки. Пристроили свободный конец кола к мерзлому краю. Спихнули. Кол скользнул вглубь. Бойцы поднатужились, подняли тело монаха.

Отец Константин застонал с новой силой, скорчился, задергал руками и ногами. Из рта его, в перерывах между стонами, доносилось клокотание.

— Знай, ворона, свои хоромы! — ехидно выкрикнул царь и зашелся в отрывистом смехе.

Палач сделал последние распоряжения — приказал освободить центр площади от ковров, притащить хворост, разложить его кучами в небольшом отдалении. Подбежала еще пара опричников с одеждой в руках. На монаха накинули тяжелую шубу, надели меховые сапоги, на голову нахлобучили лисью шапку.

— Чтобы не окоцурился от мороза раньше времени, — пояснил Егорке Игнат. — А в тепле, у костерков, глядишь, до завтрашней зари досидит. Больше-то вряд ли — уж больно плотен телом. Видишь, уже сам просел на кол поглубже. Ну так на то и «кругляшок» ему, чтобы душу долгим мучением очистил.

Монах корчился на колу, извивался.

Егорка вспомнил, как вчерашним вечером подзывал к себе Игнат — сгибая заскорузлый палец, будто изображая проткнутую иглой гусеницу.

Игнат достал из-за пазухи кресало, высек искру на приготовленный Егоркой трут.

Затрещал подпаленный хворост.

Архимандрит, преодолевая мучения, поднял руку и перекрестил царя.

Толпа ахнула, загудела. Многие потянули с себя шапки и принялись кланяться, креститься.

К плечу Ивана склонился недовольный Скуратов:
— Не тебе, государь, поклоны бьют. Чернецу толстомясому!

Царь нахмурился, положил ладонь на вершину своего посоха. Встал, пасмурным взором окидывая толпу.

— Изменники и отступники! — голос его зазвенел, будто колокол. — Под власть нечестивых латинян метили?!

Народ заволновался пуще прежнего. К поклонам прибавились плач и молитвы.

«Ложное это смирение», — каменел лицом Иван, уставившись на покорно согнутые спины. В памяти промелькнула картина тревожной юности. Пыльный, с горелой примесью воздух. Воробьевский дворец. Огромная толпа на дворе. Крики, злые лица. И страх, до костей пробирающий... Не бывать тому больше! Ни в Москве, ни в других городах. «Царский колокол — повсюду!»

Иван тряхнул головой и крепче сжал набалдашник.

— К еретикам прильнуть желали, которых честным православным людям и христианами-то звать грешно? — Вместе с паром изо рта царя летели брызги слюны.

Глаза его прояснились и поменяли цвет.

Гул толпы перерос в жуткий звериный вой. Люди снова принялись валиться на колени. Утыкались лбами, а то и всеми лицами в снег, вопили, плакали и пытались ползти прочь, скуля от ужаса.

— От русской земли отделиться решили? Святые ни ее передать окаянными врагам?! — распалялся

царь, переходя на хриплый рык. — Истреблю без остатка изменников! Все, что припрятали для подношения Жигимонту, разыщу и спасу!

Иван повернулся к Грязному.

— Взять бояр! Сюда их! Остальных — удержать!

Васька легко вскочил, оскалился и, спрыгнув с помоста, кинулся передавать царский приказ.

Опричники схватились за оружие, бросились к толпе, окружили. Не выпуская никого с площади, били саблями плашмя по спинам, пинали сапогами в лица.

Грузно зашевелился было и Малюта, но Иван остановил:

— Будь рядом.

Малюта послушно остался, с сожалением поглаживая рукоять своей кривой турецкой сабли.

— Больно мне, Гришка, — неожиданно сказал царь, пристально глядя, как рассекают толпу опричники, валят, топчут, вяжут и волокут к разным углам площади.

Бояр тащили ближе к царскому помосту — отчетливо были видны разбитые в кровь лица, разорванные богатые одежды и полные ужаса глаза.

Малюта прижал руку к груди:

— Только скажи, чем унять твою боль. Душу положу за тебя, государь!

Наблюдая за площадью, царь кивнул:

— Потому и прошу рядом побыть. Хочу, чтобы верный человек, хоть один, да вместе со мной был! Свой чтобы!

Иван выставил вперед бороду, будто указывая ей на толпу.

— Знаю, упрек мне повсюду. Своих, мол, бьет царь! А какие же они свои?!

Малюта пожал плечами:

— Как по мне, государь, так свой лишь тот, кто царю верен. А какого он роду-племени, это уже дело десятое.

— Верно мыслишь, Григорий, — согласился царь. — И я, и ты, и эти вон — поди, из одного скроены. А разница велика!

— Позволь, государь, пример приведу. Дерево если взять — из него всякое делают. Случается, икону изготовят. А бывает, и лопату, чтоб дерьмо кидать. А все один материал, с одного ствола может взят быть.

Царь склонил голову набок, обдумывая слова своего любимца. Рассмеялся:

— Запомню!

Уселся в кресло и принялся поглаживать пальцами украшение на вершине своего посоха — будто почесывал серебристого волка, задравшего морду к небу.

Избитые бояре уже стояли на коленях возле царского помоста, склонив головы. Кровь стекала с бород, схватывалась морозом в мелкие темные сосульки. Шубы на многих были разорваны, а с некоторых и вовсе сняты. Дорогие расшитые кафтаны тоже изодраны, в прорехах виднелись рубцы от ударов нагаек.

Иван с ненавистью взглянул на понурую новгородскую знать.

— Не замерзли, родимые? — ехидно улыбаясь, поинтересовался царь. — Морозец-то, поди, жмет?

Ответа не последовало. Бояре лишь склонились в поклоне. Нескольким из них, избитым особенно рьяно, удержаться на коленях не удалось, и они повалились — кто лбом вперед, кто набок.

Царь захохотал. Схватив посох, вскочил. Тыча в бояр пальцем, крикнул замершим опричникам:

— Раздеть изменников! Скидывай одежду с них! Донага всех!

Тут же на бояр налетели царские слуги. Ножам распарывали добротную ткань, отшвыривали куски одежды.

— Так их! Так, нечестивцев поганных! — возбужденно тряс пальцем царь. — Не по нраву вера православная? Так окрестим в ту, которая вам любя, — в латинянскую! Тащить сюда воду!

— Живо! — всполошился Малюта, выкатив от усердия глаза.

Царское повеление исполнили быстро. Бежали с ушатами колодезной воды Третьяк и Федко, за ними следом Кирилко с Петрушей тащили полное корыто, проливая себе на сапоги и полы кафтанов. Позади всех, облапив ручищами большую бочку, переваливался Омельян. Лицо его, зверское и бессмысленное, радостно щерилось.

— Государь! — не выдержал один из бояр, старик с широкой, черной с проседью бородой. — Что творишь, государь?!

— Молчи, сучья харя! — замахнулся на него ножом Тимофей Багаев. — Отхвачу язык!

Боярин зло глянул на рослого опричника и неожиданно плюнул, метя ему в лицо. Тот вскинул брови. Недоуменно взглянув, утерся рукавом. Отступил на полшага и что есть силы ударил ногой старика в грудь. Боярин закашлялся, упал в снег. Тимофей принялся охаживать его носками сапог. Упрямый боярин вывернул шею в сторону царского места. Пуская кровавые пузыри изо рта, прохрипел:

— Зачем позоришь? Для чего мучения причиняешь честным рабам своим?

Багаев перехватил нож поудобнее, сгреб бороду боярина в кулак, оголяя горло, и приготовился было полоснуть по нему, как Иван подал знак — погодить!

Тимофей дернул боярина вверх, подломил, установил на колени лицом к государю.

С любопытством царь наклонился вперед, разглядывая дерзкого крикуна.

— Кто таков?

— Санычев Филипп это, государь! — ответил за старика стоявший неподалеку крепкого вида боярин.

Старик покосился на него и презрительно скривил рот:

— Не спеши угождать, Вотчинников. Видишь — не милы мы государю. Расторопностью думаешь ублажить?

Царь недобро ухмыльнулся.

— Не люблю это имечко. Строптивые все Фильки, как погляжу. Ну а ты кто будешь? — обратился Иван к другому. — Тебя как звать, Вотчинников?

— Назарием, — робея, ответил боярин и склонился. — Пощади, государь! Не губи нас, верных слуг своих!

— Верных?! — взвился царь.

Вскочил, высоко поднял посох и гулко стукнул им о помост.

— Кому верных? Мне ли? Тому ли верны, кто по заветам деда, отца, матери своей — русскую землю собирает, приумножает? Или окаянному Жигимонту, губителю православных? Алчной польской собаке, до наших земель охочей, ревность выказываете?

Ах, новгородцы, волчья вы сыть! Еще при деде моем все в сторону поляков рыла держали! Посадская ваша Марфа королю Казимиру челобитные слала! Что вам московский князь говорил, забыли? Так я напому! «Признав вину свою, исправьтесь. Имя мое держите честно и грозно, если хотите от меня милости и покровительства. А если нет, терпению бывает конец, и мое не продолжится!» Не послушали! Грязью словесной деда моего поливали. Понял он — только меч вас усмирить может. Силой взял ваш город, но помиловал. «Отдаю нелюбие свое, унимаю меч и грозу в земле новгородской и отпускаю полон без откупа» — вот что дед мой сказал вам. Так-то вы теперь отплатить решили?!

Голос Ивана страшно рокотал, заставляя вжимать головы в плечи даже верных ему опричников. На что Тимофей Багаев страха не ведал, но и он предпочел не встречаться с царем глазами.

— А пришел ли Казимир вашей Марфе на помощь? А-ха, поджал хвост да плюнул на вас! Сила за московским великим князем была и будет! Или ныне усомниться вздумали? Вы, новгородцы, мерзкое отродье, опять нос по ветру держите, знаю! Поляки минувшим летом с Литвой соединились. Силу Польша набирает немалую! Пасть свою скалит на города наши! Подошла — ближе некуда! Нам одни рубежи — две тысячи верст держать! А вы — что?!

На редкой бороде царя повисли клочки серой пены. Губы дрожали. Глаза его налились кровью. Иван согнулся, держась обеими руками за посох. Из горла вырывалось хриплое дыхание. Отдышавшись, Иван распрямил спину и обвел взглядом слушателей.

— Не впервой! Не впервой литовцев да поляков бить! Но удержим ли? Устоим ли, если нет внутри верности? Кто лишь о мощне заботится, у государя урвать да потуже набить свою. А иные и крамолу творят, измену готовят! Под польского еретика норовят переметнуться, коль в силе он и богатства сулит! Не вы ли на трон московский желали посадить слабосильного, послушного, чтобы плясал под Жигимонтову дудку! Меня извести хотели, да не вышло по-вашему! Не допустил Господь Вседержитель! — Иван с чувством перекрестился, крепко впечатывая пальцы в лоб, живот и плечи. — Уберег страну от гибели. Сохранил меня, государя и раба своего! А взамен прибрал весь род Старицких, извел гнездо гадючье!

Малюта встретился взглядом со стоявшим неподалеку Грязным. Васька, хоть и бледный от испуга, не удержался, на миг ухмыльнулся.

— Ну а вас, сучье племя, я с Божьей помощью сам — под корень! Довольно уже терпеть! Вытравлю саму мысль с литовцами да поляками лобызаться! Быть Новгороду землей русской навек или не быть ему вовсе!

Крестное двоеперстие царь сменил на костистый кулак. Им и грозил всей площади, устремляясь взглядом дальше — за церковные кресты и тесовые крыши хором, к Софийской стороне.

Тяжело дыша, с хрипом и посвистом, опустился в кресло. Замер — напряженный, с прямой спиной и выставленной вперед бородой, держа посох на отлете.

Раздетых бояр опричники, крепко схватив за локти, выстроили в ряд. Померкшие лица, обреченные взгляды. Прижатые к телу руки прикрывают срам.

— Что приуныли, изменнички? — подмигнул им Грязной и выжидательно глянул на Малюту.

Царский любимец обратился к Ивану:

— Прикажешь начинать, государь?

Иван величаво кивнул.

Грязной оживленно потер руки, повел плечами.

— Ох, и морозец задорный!.. Самое оно для мерзавцев будет!

Хлопнув в ладоши, Малюта коротко приказал:

— Делай!

Опричники, что держали бояр, поспешно отступили, но униженная знать и не думала разбегаться. Понуро ожидали они своей участи.

Языки студеной воды полетели из ведер и ушагов на раздетых бояр. От тех повалил пар, быстро растаявший в морозном воздухе. Люди вздрагивали, сводили плечи, трясли головами, перетаптывались, поджимали ноги.

— Глянь-ка — пляшут! — делано захохотал царь, вскинув брови. — Вот так в срамном виде и перед Жигимонтом плясать хотели? Были бы вам честь и слава на Руси, но не их вам надобно! А перед голоногими латинянами блохой скакать пожелали! Ну-ка, добавить им!

Омельян, подняв над головой бочку, накренил ее и прошелся вдоль ряда бояр, щедро поливая каждого.

— Так им, так им, предателям! — Иван в азарте притоптывал по помосту. — Один на колу руками машет, другие на снежку ногами пляшут!

Царь снова вскочил и погрозил посохом толпе горожан:

— И до вас черед дойдет! А пока смотрите, смотрите, что бывает, когда против веры идут!

Вой и плач с новой силой пронесли над толпой. Дети не умолкали ни на миг, заходились криком.

Стуча посохом по промерзшему дереву, царь спустился с помоста.

Прошелся вдоль трясущихся и плачущих знатных новгородцев.

— Холодно вам? — спросил, дойдя до конца и резко развернувшись. — Мерзнете?

Бояре дрожали, не решаясь подать голоса. Лишь дерзкий Филипп Санычев кровяно отхаркнул в снег и прошипел ругательство.

— Назарка! — рыкнул Иван, выискивая глазами боярина Вотчинникова.

— Здесь я, государь, — срывающимся голосом ответил боярин со своего места..

Царь размашистым шагом подошел к нему.

— Снесешь Фильке башку — пощажу. Выкажи верность государю, тогда поживешь еще.

Вотчинников повернулся к старику, взглянул на него испуганно.

Санычев усмехнулся:

— Руби, Назарий Степаныч! Не робей, размягчи сердце государя усердием! Заслужи милость себе! Да как бы не обжечься на этой милости...

— Молчи, наглец! — ударил старика по непокрытой голове стоявший сзади Тимофей Багаев.

Санычев стиснул зубы, презрительно хмыкнул.

Малюта кое-как спустился с помоста. Подошел к государю. Прикрыв его собой, вынул из ножен саблю и протянул Вотчинникову.

Боярин нерешительно взял оружие. Посмотрел на отточенный изогнутый клинок.

— Ну?! — требовательно стукнул посохом царь.

Над площадью повисла тишина. Детям позажи-
мали рты.

Даже испугнутые Иваном с церковных крестов
вороны вернулись на свои места и, казалось, за-
мерли в ожидании.

Вотчинникову лишь на миг хватило встретить
взгляд Ивана. Помертвев от ужаса, он завопил что
было мочи, набираясь сил. Руки не слушались его.
Кое-как замахнувшись, боярин рубанул стоявшего
перед ним на коленях Санычева.

Тимофей Багаев едва успел отскочить от ста-
рика-боярина. Вотчинников промахнулся — по-
пал по ключице, перешиб ее. Из глубокой сеченой
раны по плечу и груди Санычева полилась кровь.
Старик охнул, зажмурился, прикусил губу, но удер-
жался и не упал.

— Гордый, — хмыкнул царь и обернулся к Ма-
люте. — На Ваську Шибанова похож упрямством.

Скуратову послышалось в его голосе одобрение.

Шибанова, слугу князя-изменника Курбско-
го, Малюта помнил прекрасно. Лично пытал его
в каземате Тайницкой башни почти два дня без
перерыва. Славный был парень, не отрекся от
господина. И жаровню перенес, и «виску» много-
часовую, и когда ребра нагретыми клещами пере-
кусывать ему принялись — не сломился. Всем он
полюбился в пытошной, хотя и не поддался. Жаль,
мало таких людей в государстве, а если кто и есть,
так почему-то на сторону врагов норовят перемет-
нуться...

— Руби еще! — приказал царь трясущемуся Вот-
чинникову.

Тот взвизгнул по-бабьи и ударил Санычева сно-
ва, на этот раз взяв с испугу выше — сабля попала

по голове, рассекла скулу и ухо. Старик снова охнул, глаза его наполнились слезами.

Царь побелел от ярости.

— Ничего не умеют делать! — взревел Иван. — Только крамольные письма в Польшу слать да свою мощну набивать!

Оттолкнув закрывавшего его Малюту, царь перехватил посох на манер копья и с силой ткнул острым концом, метя в шею.

— Червяк поганый!

Царский удар оказался не в пример ловчее боярских. Вотчинников выронил саблю и схватился за горло. Между пальцами показалась кровь. Бессмысленно глядя куда-то поверх головы царя, боярин сделал пару неверных шагов. Дальше уйти не успел — по знаку Малюты подскочил проворный Тимофей, поднял его саблю и смахнул незадачливую боярскую голову. Упала она в снег вместе с обрубками пальцев возле посеченного, но живого боярина-строптивца. Рухнуло и тело Назария, загребая ногами в агонии.

Царь безгласно скривился. Посмотрел на жалких, посиневших от холода бояр.

— В голове, в голове измена гнездится! А нет головы — так и измены вроде как нет уже! Верно, сердешные?

Бояре понуро закивали.

Иван растянул губы в ехидной улыбке:

— Есть охотники заслужить царское прощение?

Один из несчастных, молодой боярин, встрепнулся. Стуча зубами, заговорил:

— Есть, государь! Есть тебе преданный слуга! Не ведаю, в чем грех мой перед тобой, но знаю одно — без причины ты гневаться не станешь! Искуплю!

Иван внимательно слушал.

— Как звать? — грозно спросил он, вглядываясь в лицо говорившего.

Боярин повалился ему в ноги. С двух сторон подскочили Федко и Тимофей с саблями на изготовку, но Иван поднял руку — не трогать.

— Рощин Никита, царь-батюшка! Пощади! Жена молодая, на сносях...

Иван пожал плечами:

— Мало, что ли, вас, изменников? Так вы еще и приплод свой тащите!

— Смилуйся, государь!

Напустив задумчивый вид, Иван с сомнением вскинул бровь:

— Если помилую, будешь на моей стороне, Никитка? Будешь верой и правдой служить делу государеву?

Рощин вскинул голову: в помутневших от холода глазах его затеплилась надежда.

— Клянусь, отец ты наш родной, защитник и спаситель! Кому же еще, как не тебе и делу твоему служить! По гроб верен буду, клянусь!

Иван кивнул. Указал на истекавшего кровью старика Санычева:

— Ну, гроб еще заслужить надо. Секи этого!

Рощина поставили на ноги. Сунули в руку саблю.

Опричник Тимофей схватил норовившего завалиться Санычева за волосы, встряхнул как следует. Лицо боярина, разрубленное с одной стороны, было страшно. Глаза закатывались. Рот кровянился сапузырями, губы слабо шевелились.

— Прости, Филипп Игнатыч... — синими губами прошептал Рощин.

Умело замахнувшись, наискось рубанул старика.

Толпа охнула.

Иван восхищенно цокнул языком — по привычке, перенятой у покойной жены:

— Эка ты его!

Малюта одобрительно поддержал:

— Красиво отделал, от плеча до печенки развалил, почти надвое!

Саблю у Рощина тотчас отобрали. Теперь он, нагой и жалкий, весь залитый кровью убитого старика, беззвучно плакал.

Иван подошел к лежащему возле ног Рощина мертвому телу. Держась за посох, наклонился и, внимательно всматриваясь в кровавый разруб, с недоумением покачал головой:

— Из одной плоти все человеки. Мясо, да кости, да требуха всякая. А вот поди ж ты! В одном верность государю и радение своей стороне, в другом — лизоблюдство врагу и предательство веры. Как различить, где кто?

Распрямившись и всем видом изображая горестное непонимание, царь обвел взглядом бояр. Остановился на забрызганном кровью Рощине.

— Тебе бы помыться. Негоже перед царем в таком виде стоять!

Малюта всполошился:

— А ну-ка, подать воды боярину!

Кирилко и Петруша, того только и ждавшие, окатили Рощина водой из обледенелого ушата. Подскочил Боган, сунул кулаком под ребра. Боярин ахнул и упал. Над ним опрокинули еще один ушат.

Больше получаса таскали воду и продолжали обливать Рощина. Тот кричал слабым прерывистым криком — челюсть его дрожала, все тело колотилось. Рощин поджал ноги к груди, пытаясь

удержать тепло, но вдруг движения его стали вялыми, будто он опился вином. Глаза его закрылись. На него продолжали плескать водой. На глазах собравшихся тело казнимого сильно побелело, потом начало наливаться синевой. Зубы боярина перестали лязгать, почерневшие губы крепко сжались. Вокруг него нарастали неровные ледяные гребни.

— Гляди, ятра втянулись! — засмеялся стоявший неподалеку Грязной.

Иван повернулся к остальным боярам. Те едва держались, коченея на морозе.

Царь ухмыльнулся в редкую бороду.

— Что, думаете — обманул Василий Иванович несчастного Никитку? Умертвил почему зря, а обещал на службу принять? Так знайте, приспешники литовские, — царское слово крепко! На службу так на службу!

Царь несильно стукнул посохом по телу боярина Рощина.

— Пусть примером послужит для всех вас! Вот что с изменниками бывает! Не выслужил себе гроб Никитка. Мерзлой кучкой до весны полежит, а там и воронам угощение!

Иван снова прошелся мимо умиравшей на морозе знати, не глядя ни на кого. Взобрался на помост и уже с высоты окинул грозным взором провинившихся бояр.

— Все ли поняли, окаянные? — насупился Иван. — Дальше мерзнуть будете или довольны с вас?

Сдавленными голосами принялись умолять:

— Отпусти, государь!

— Нет больше мочи!

— И вины нашей нет! А коли есть — искупим!

Иван подошел к креслу. Неторопливо уселся, вытянул ноги. Пристроил рядом с собой посох. Свободной рукой подпер подбородок, утвердив локоть на кресельной ручке.

— Ну... — словно в раздумье и сомнении, обронил он. — Коль не врите...

Стуча зубами, бояре крестились и клялись:

— Вернее нас не сыскать тебе, государь!

Иван махнул рукой:

— После будете божиться! Нечего в срамной нагоде кресты на себя класть. Малюта, угости-ка их из наших запасов. Согреть бояр надо бы!

Малюта неловко забрался на ступени помоста, поискал взглядом в толпе. Выцепил косматого лучшего, степенно собиравшего свои инструменты и доски.

— Игнашка! — рыкнул Скуратов. — Тащи на площадь «поджару»!

Кат вздрогнул и бросил доски от козла наземь.

— Егорушка, беги в наш подклет, отпирай его и выкатывай бочонок, что в углу возле двери, — зашептал Игнат, дергая бороду. — Кати его скорее сюда. А я пока факелами займусь.

Егорка схватил ключ и бросился к церкви.

На оцепеневших бояр вновь набросились опричники. Повалили ничком, принялись вязать им руки за спиной толстой пеньковой веревкой.

— Ноги крепить или как? — задрал к помосту рябое лицо Федко Воейков.

Царь хрипло рассмеялся:

— Не надо! Пусть побегают! На морозе поплясали, теперь от жара черед веселья пришел!

Когда последнему из бояр стянули локти, показался запыхавшийся Егорка Жигулин. Низко

склонившись, он катил небольшую бочку, быстро перебирая руками.

Игнат, уже накрутивший из бересты с десятков факелов, довольно потерябил бороду и заурчал:

— Успел, успел, Егорушка! Не ошибся я в расторопности твоей! Ну, ставь вот сюда бочоночек. На тебе пучок, подпали от костерка монашьяго, да неси сюда.

Егорка побежал к центру площади, где стонал забытый всеми игумен, все глубже проседая на кол. Вокруг него потрескивали костерки, тепло от них согревало, но Егорка постарался побыстрее зажечь берестяную скрутку и отбежать подальше — ему показалось, что монах узнал мучителя и неотрывно следит за ним взглядом.

Опричники окунали не зажженные пока факелы в откупоренный бочонок, макали в темную вязкую жижу.

— Дядя Игнат, что это такое? — шепотом спросил Егорка, держа перед собой горящую скрутку, как церковную свечу.

Кат охотно пояснил:

— Это самолично мной изготовленная, по замыслу самого государя Ивана Васильевича, «поджара»! Тут целая наука. И сера с сурьмой, и жирок свечной, и канифоль с маслом терпентинным... Много чего тут. Ни ветром, ни водой не затушишь, вот такая штука.

Кирилко и Федко сноровисто обмазывали спины и головы лежащих бояр вонючей «поджарой». Густые потеки медленно оползали с озябших тел.

— Тут главное, чтобы самому на одежду не попало, — продолжил пояснение Игнат. — Иначе не только кафтан — до кости прогоришь, не затушишься.

Государь, с нетерпением ожидавший начала потехи, подманил пальцем Малюту. Тот склонился к царю, повернул крупную голову. Государь тихо заговорил в ухо Малюты, кивая в сторону измазанных «поджарой» бояр и посмеиваясь. Ухмыльнулся и Малюта.

— Тимошка! — позвал он Багаева. — Освободи им руки! Не всем, через одного чтобы!

Тимофей кивнул. Ловко орудуя ножом, прошелся вдоль лежащих, перерезая пеньку.

Игнат понимающе усмехнулся. Уголкем рта прошептал Егорке:

— Потешиться решил государь.

Старательно обходя капли «поджары» на сбитых коврах, к Егорке подошел Тимофей с факелом и зажег его от тлеющей берестовой скрутки. Пламя, с виду несильное, будто ленивое, плавно заколыхалось, потрескивая и чадя. По воздуху поплыло дымное зловоние. Тимофей поднес огонь к факелам Кирилки и Федка.

— Жги! — в нетерпении выкрикнул царь, вцепившись в посох. — Жги изменников!

Тело его подалось вперед. Шея вытянулась, верхняя губа задралась, обнажая зубы.

Опричники ткнули факелами в ближайшие тела. Затем подбежали к следующим.

Заживо подожженные люди страшно закричали. Те, у кого руки были связаны, корчились на земле, взбрыкивали ногами, пытались сунуть головы в снег. Одному из бояр удалось вскочить, и он с воплем побежал по площади, подобный живой свече — спину и голову его обволокло огненным облачком. Не пробежав и десятка шагов, боярин упал, крик его оборвался.

Дошла очередь до тех, кому по приказу царя освободили руки. Несчастные, охваченные огнем, расползались, вскакивали, метались возле помоста. Пытаясь сбить с себя пламя, хлопали по телу руками, но лишь размазывали «поджару» и переносили ее на ладони. Пахло паленым волосом, лопалась кожа, шипела, пузырилась плоть, прогорала до кости.

Жертвы огненной потехи корчились, извивались, заходились в страшных криках.

Царь ликовал. Скинув рукавицы, указывал на горящих бояр Малюте и заходился в хохоте.

Малюта щерился в рыжую бороду и ухал в ответ, словно филин.

Вскоре все было кончено. Расплывался тяжкий смрад от догоравшей «поджары» и обугленных тел.

Иван, все еще сотрясаясь от смеха и утирая слезы, махнул рукой в сторону горожан, обреченной стеной замерших поодаль:

— Всех отсюда долой!

Дело свое царские слуги знали хорошо. С приказными и прочим мелким людом не церемонились — вязали по несколько человек разом и швыряли в сани. Огромный Омелян возвышался над толпой. Вразвалку расхаживая по площади, он подхватывал опутанных, закидывал на спину, как вязанку дров, и нес к саням. Вережки впивались в людей, резали и душили. Омелян, не обращая внимания на крики, улыбался и с размаху швырял пленных в повозку. Сверху скидывал новых. Люди бились друг о друга, кричали и плакали. Некоторые замолкали, уронив голову, из их ртов сочилась кровь. Как только одна заполненная повозка отъезжала, подавалась следующая, за ней еще одна — недостатка не было. Детей боярских рубили топорами на месте,

прямо на коврах с райскими птицами, неподалеку от посаженного на кол архимандрита. Из озорства Васька Грязной швырнул одной из отрубленных голов в монаха, попав ему в грудь.

Купцов опричники свалили возле церковной стены, выложили из их тел, как из бревен, полосу наподобие мостовой. Опутывали каждому ноги или руки, оставляя длинный конец веревки для подлетавших всадников. Те хватали веревку, крепили за луку седла и посылали коней галопом, через площадь, в сторону кривых улочек, волоча за собой несчастных. Путь их был тем же, что и у возниц со связанными горожанами — через все Городище к Волховскому мосту.

Истошно голосили женщины. Тех, кто постарше, связывали вместе с детьми, не разбирая, где чья мать. Старух кололи ножами, чтобы не мешались. Девиц тащили за волосы в ближайшие дома. Худой Петруша Юрьев никак не мог сладить с одной из девок — та отчаянно вырывалась, брыкалась. На помощь к нему подскочил Федко Воейков со своим кистенем. Крутанув в воздухе увесистым шаром, Федко ловко ударил девку под грудь — та лишь всплеснула руками и мигом обмякла. Петруша намотал ее косу покрепче на руку и поволок к распахнутым воротам купеческих хором.

— На морозце-то боятся себе хозяйство повредить! — хохотнул жадно наблюдавший за всем Иван. — Жаль, Григорий, ты подранок ныне... А то бы порезвился с товарищами, как полагается!

Скуратов покачал головой:

— Это по части Васьки Грязного. Мне, государь, женушка снится чуть не каждую ночь, как в поход вышли. Тоскую.

— Матренка-то? — усмехнулся царь и, обернувшись к Малюте, подмигнул ему ярко-зеленым глазом. — А что, хороша баба. Сидит тихо, родит много.

Скуратова словно окатило ледяной водой. Побежали мурашки вдоль хребта, к шее, затылку. Не сидел бы на лавке — не удержали бы ноги.

«Страшны царские игрушки-зверушки, — замечев, подумал Малюта. — Не ровен час, врагам попадут — несдобровать никому!»

Иван убрал руку с набалдашника посоха и внезапно помрачнел. Голова его мелко затряслась. Он провел рукавом по лицу, и Скуратов — приступ животного ужаса уже отпустил царского слугу — с удивлением заметил, что государь плачет.

— Вот и мне снятся. То одна привидится, то другая, — пожаловался Иван дрожащим голосом. — Настеньку вижу часто. Когда душа болит, является она мне. Мария — та больше, когда плотью мучаюсь, в грезах приходит.

Словно позабыв про то, что творится перед ним на площади, царь повернулся всем телом к Скуратову. Моргая слезящимися глазами — цвет их стал прежним, привычным, серым, — Иван заговорил:

— Покуда Мария жива была, сильно мучался. Привидится, бывало, Настенька — сядет на край постели, посмотрит кротко. Улыбается, а сама плачет. «Что же ты, Иван Васильевич, — говорит, — в мою светлицу поселил дикую девку? Все, что я вышивала, повыкидывала она, все мои кружева да воздухи. А взамен развесила ковры турецкие да сабли...» Проснусь — и хоть беги к Марии, лупи ее нагайкой! Да толку-то...

Царь вздохнул и замолчал, продолжая встряхивать головой.

Скуратов осторожно заметил:

— Найдем тебе жену новую, государь. Смотри-ны проведем опять.

Царь молча усмехнулся, погруженный в свои мысли.

Так просидел он какое-то время, рассеянно наблюдая за тем, что творилось на площади. Затем посмотрел на головешки, оставшиеся от боярских тел.

— Как кричали-то... Хорошо ли их было слышно, Малюта? — задумчиво спросил он.

— На славу вопили! — с готовностью подтвердил Скуратов. — Поди, не только на Торгу, а вся Софийская сторона за мостом слыхала!

Царь удовлетворенно потер руки.

— Помнишь ли вознесенского игумена? Близ Клина монастырек на холме — не запамятовал? — спросил Иван своего приближенного опричника.

Малюта пошевелил бородой и бровями, пытаясь угадать, к чему клонит государь.

— Это которого Тимоха Багаев отдал за воровку над Омелькой? — уточнил царский охранник. — Дерзкий чернец был... Почти как этот!

Скуратов мотнул головой в сторону возвышавшегося над площадью Захарова. Возле монаха, невзирая на бурлящую кровавую кашу вокруг, хлопотали косматый кат и его тощий ученик: заботливо ощупывали, поправляли накиннутую одежду, подбрасывали новый хворост в прогоравшие костерки.

— Среди монашьей братии дерзких много. Все царя поучать норовят! — сокрушенно покачал головой Иван. — Как его звали только — не припомню уж...

— А мы и не спрашивали вроде, — засмеялся Скуратов. — К чему нам...

Царь, поведя плечом, продолжал:

— Сказывал тот игумен, мол, когда человек зерно сеет или еще какой труд, Богу угодный, совершает — тихий он. А если творит непотребное, то зверем кричит — человека из себя выгоняет. А народец-то здешний, ты послушай — вон верещит как! Стало быть, огнем мы из бояр новгородских звериную натуру их выжгли? Ну а оставшихся чело-веков пожгли до углей — так сорную траву выжигают.

Малюта солидно кивнул:

— А человек и есть зверь, государь. Все остальное в нем словно одежда на теле. Сорви — и вот он настоящий. Лучший способ натуру узнать — это на мучения поглядеть. Будь он хоть знатного роду, любезный иль спесивый, а то и ума великого или силы духовной — все одно! Заеозит, задрывается, обгадит себя и таким криком зайдется, что уж и не понять, человек ли перед тобой. И боярин, и бродяга — под пыткой одинаково кричат, будто братья родные.

Царь отвлекся от созерцания площади, всем телом повернулся к Малюте и слушал с любопытством, поглаживая посох.

— Ну а правый и невиновный — они как кричат? Схоже ли? — с живейшим интересом спросил он.

Скуратов пожал плечами:

— Откуда же невиновному взяться, государь? Каждый в чем-нибудь да виноват. Один измену творит, другой ее покрывает. А если кто об измене не знает ничего, так на нем тоже вина — будь зорким да вовремя донести сумеи!

Беседу царя и его «верного пса» невольно преврал подскочивший Грязной. Глаза его возбужденно таращились, лицо было красным.

— Ждем твоего слова, государь! Как прикажешь поступить с изменниками?

Иван поднялся, оглядывая площадь. Всех живых уже свезли на санях, сволокли веревками или прогнали пешком. Лишь мертвые тела густо устилали почерневшие от крови ковры и снег, да расхаживали среди них опричники — будто ожившие покойники, набранные царем в свое войско.

— Написано в Евангелии у Марка: «Если кто соблазнит единого из верующих, то лучше ему, да обвесится на выи его камень жерновный и ввержен будет в море»! А соблазнились средь новгородцев многие! Не моим словом будем суд вершить, а Божьим. И живых, и мертвых — сажайте в воду, всех скопом!

Васька энергично кивнул, бросился к продрогшему коню. Взлетел в седло и гикнул во всю глотку:

— Гойда!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ТАЙНЫ МОНАХОВ

Где только не побывал Юрка с тех пор, как лишился родителей и дома.

Первую неделю своего сиротства провел в Вознесенском монастыре, куда бежал, спасаясь от холода и голода, из сожженной Сосновки. Облаченный в монашеские одежды, подобранные и подшитые заботливым экономом, сначала помогал Михаилу и Козьме хоронить казненную братию. Забирался на деревья, обрезал веревки, подсоблял складывать покойных и тащить на волокуше к монастырским стенам. Выдолбить могилу, способную вместить всех загубленных, не хватило бы сил и у большего числа людей. Поразмыслив, Козьма велел сложить братию в подклети. Порубленную животину вытянули со двора, сволокли под холм — есть самим мясо, поклеванное вороньем, Козьма не разрешил.

Запретил старый монах и возвращаться в Сосновку.

— Утром выдь-глянь на останки, что вниз мы стащили, — ни рожек, ни ножек не будет. Волки ведь! Слыхал, видал, сколько их вокруг монастыря шастает? Не осталось уж ничего в деревеньке твоей, дитя горемычное.

По вечерам троица сидела у печурки в игуменской келье. Батюшка Козьма читал Юрке жития

святых, а брат Михаил запекал морковь с репой, кипятил воду в котелке. Слушал вместе с Юркой чтение Козьмы, вздыхал, крестился и плакал.

Как могли, убрались в келейной и на дворе. Отскребли нечистоты и кровь, поставили двери на место. Стуча топором, Михаил дотемна провозился с воротами, поправляя их.

Завершив скорбные труды, переночевали последний раз в игуменской.

Лежа на боку под теплым подрясником, Юрка глядел на желтую щель печурки, прислушивался к ее гулу и шепоту чернецов. Склонившись друг к другу, Михаил и Козьма, казалось, о чем-то спорили. До слуха мальчика долетали лишь обрывки их разговора. «Отроч... Высокопреосвященнейший... не сыскать им... а ну как схватят...» Затем зашептали совсем тихо, о каком-то серебре, и, убаюканный теплом и непонятными разговорами, он заснул.

Путру, заколотив ворота, два монаха и мальчик отправились пешком в город.

Брат Михаил шагал впереди со свежерубленой палкой-посохом.

— На случай волков! — пояснил он Юрке.

— А если снова царских людей повстречаем? Волков-то дубьем испугаешь, а от кромешников чем отбиваться? — спросил мальчик.

Монахи переглянулись.

— Молитвами спасемся! — ответил Михаил и ободряюще потрепал по плечу.

Козьма держал Юрку за руку. По-стариковски вздыхая, семенил вперевалку.

— Бывал ли в Клину, дитя? — спросил он, вглядываясь в снежную равнину, на краю которой едва заметно темнел город.

— Разок-то бывал, с отцом на ярмарке... — ответил мальчик и помрачнел, вспомнив о своем сиротстве.

Утро выдалось тихое, безветренное. Морозец отпустил, перестал щипать лицо, зимний воздух отмякал, будто перед весенней каплейю. Торчали из-под снега сухие былки травы, синими росчерками виднелись повсюду звериные следы.

К полудню дошли до моста через Сестру.

Юрка не смог узнать наполовину сгоревший город. Серый, пустой, пришибленный, с молчаливыми людьми-тенями. Ни бойких выкриков зазывал и торговцев, ни собачьего лая, ни ребячьего смеха. Молчали и разоренные церкви. Пустые колокольни немо упирались в небо — сняли и увезли звонкую медь царские слуги.

В одном из храмов вознесенские монахи переговори́ли с попом, чудом не попавшим под опричный топор. Плача и шмыгая носом, тот рассказывал о черном воинстве, творившем по царскому приказу в городе бесчинства два дня и две ночи. Заночевав в его доме, утром чернецы посовещались и решили двигаться к Твери, а Юрку хотели оставить в поповской семье.

— Всяко лучше тебе под приглядом семейным, чем с нами в опасности. Тут тебе батюшка с матушкой новые будут. И сестрицы с братиками вон на лавке да в люльке. А наша судьба пускай тебя стороной обходит.

Но мальчишка вцепился в рукав брата Михаила и таким зверьком глянул на рассуждавшего о судьбе Козьму, что тот осекся, смутился. Отвел глаза.

— Послушником стану. Как вы, в чернецы пойду. Нет у меня родителей, а новых не хочу. Лишь Бог отец мне теперь!

Вздохнули монахи, переглянулись и велели Юрке собираться.

Старый эконо́м ворчал и жаловался, что нет сил у него на малолетнюю обузу, а брат Михаил неустанно страдал опасностями монашеской жизни — рассказывал о разоренных подворьях, сожженных скитах и сотнях замученных чернецов.

— Видел я и разорение, и пожары, и смертей повидал довольно, — упрямо твердил Юрка.

Не раз чернецы пытались пристроить мальчишку послушником в одну из обителей, то в едва живой после отъезда царя Твери, то в новгородских краях. Во многих монастырях сильно поредело число братии. Нужны были и рабочие руки, на восстановление разоренных хозяйств. Но Юрка — или Григорий, как начал его называть батюшка Козьма, а за ним и Михаил, — упрямо цеплялся за одежду одного из них, а то и обоих сразу.

— Останетесь сами — и я здесь послух приму. Пойдете куда дальше — значит, с вами отправлюсь.

Спал чутко — не удавалось монахам уйти ночью, оставив его под чужим присмотром.

Первым смирился брат Михаил, а за ним и Козьма, покрутив носом по-ежиному, вздохнул и махнул рукой:

— Прикипел ты к нам, Григорий. Да и мы к тебе не меньше. Беда у нас общая, а значит, и судьба такая же.

Михаил присел рядом, помолчал и неожиданно строго сказал:

— Все, что узнаешь о нашей чернецкой жизни — или увидишь ненароком, или услышишь от кого, — храни навсегда в тайне. А лучше бы тебе, пока постриг не примешь, и вовсе глаза и уши закрытыми держать.

— И вот что еще, — добавил Козьма. — Одежду монастырскую надо тебе снять. Достану платье крестьянское, в нем безопаснее будет.

Юрка вздумал было спорить, но снова стал говорить брат Михаил:

— Уж если ты с нами, так слушайся во всем. Глядишь, и помощь твоя понадобится. Чернецам сейчас туго, а к тебе, мальцу деревенскому, внимания меньше.

Так с монахами, пустившимися в один им ведомый путь, Юрка, дальше клинской ярмарки не бывавший, увидел Псков — город красоты небывалой. Величавый, с высокими стенами, каменными домами и церквями, огромным Торгом. Во все стороны от храма Покрова расходились улицы с лавками, амбарами, чуланами, клетями. Шли ряды кузнечные, кожевенные, шапошные, горшечные, мясные, хлебные... Глаза разбегались — сметки, сельди, моченые яблоки, кисели, квас, гороховые пироги... Сапожники зазывали на починку обуви, торговцы кричали, расхваливая товары, веселили толпу скопорохи, играли на гусях, свирелях, били в бубны...

Ученый Козьма рассказывал Юрке, щедро сыпля неведомыми для него словами:

— Товаров много разных, от голландских купцов, литовских и ливонских, и от шведских есть. А самих иноземцев не сыскать, нельзя им на Торге быть. Чтобы не шатались возле кремля, не вынюхивали секретов, всех на Немецкой стороне селят, за речкой Псковой. А наши с ними все сделки на особом мосту совершают.

Мальчишка таращился по сторонам и слушал старика, открыв рот. Город звенел мастерскими, бурлил разноголосьем гостиних рядов, веселился, затихал на полуденную дрему и вновь кипел

жизнью до темноты. Ночью спал за добротными оградами, под ленивый собачий перебрех, и висел над ним золотистый месяц, как сдобный рожок. А утром из-за лесной гребенки выкатывался каравай солнца, и воздух мягчел после ночного морозца. Нежились в начинавших пригревать лучах грудастые голуби на карнизах амбаров. Зевая, крестились лавочки, почесывались, гремели замками. Поднимался дым и пар над стряпными избами.

Казалось, нет смертей и разбоя вокруг псковских земель, лишь дурной сон и кровавый морок.

Но Юрка, быстро освоившийся в городской жизни, начал подмечать знаки тревоги. Пустовали на Торге тверские ряды. Не приехали новгородские купцы, а вместо них пробирались в город разрозненные кучки людей, растерянных и перепуганных насмерть. Беспokoйно было среди церковных. Остановившись в гостинной келье Снетогорского монастыря, Михаил с Козьмой целыми днями ходили по городу, встречаясь с чернецами и церковными людьми. О чем они говорили, Юрке расслышать не удавалось, разве что выхватывало ухо знакомые слова о серебре да имя какого-то Николки.

Разрастаясь с каждым днем, по городу поползли слухи о великой беде в Новгороде. Стихла на Торге скоморошья музыка, помрачнели лица горожан. Вскоре прибыл обоз из пяти саней, а в них под накидками — умученные монахи, по монастырским надобностям ездившие в Новгород да застигнутые там царевыми людьми.

Возницами сказано было, что государь отправил тела для погребения и сам вот-вот прибудет с войском, а если падет его гнев на псковичей, то быть великому истреблению.

Храмы заполнились молящимся о спасении народом.

К вечеру стало известно — царь уже близко, встал на ночлег в Любятовском монастыре и поутру будет во Пскове.

На всех колокольнях и звонницах загремели трезвоном колокола, приветствуя государя, но людям, тревожно жавшимся друг к другу в церквях, слышались набатные удары.

Еще страшнее стало, когда вернулись те, кто по схваченной льдом Великой пытались покинуть город и рассказали, что на другой стороне наткнулись на царский дозор. Никого не выпустили. Погнали беглецов обратно, а некоторых и в прорубь скинули, чтобы другим неповадно было. Вскоре стали видны огоньки по всему берегу — грелась опричная стража.

Тряслась городская знать, дрожало купечество. Прятались украшения, монеты. Мазались сажей молодые женщины и девушки, растрепывали волосы, выискивали одежду поплоче.

Юрка, отстояв с Козьмой и Михаилом полунощную в монастырской церкви, увидел, что те направились к воротам, и увязался за ними.

— Куда тебе с нами?! — вскинулся встревоженный Козьма, но Михаил взял его за плечо и что-то шепнул. Козьма недовольно нахмурился, разом став похожим на сердитого ежа. Но, поразмыслив, кивнул:

— Пришло время, Григорий, помочь и церкви, и всем православным, — склонившись к мальчику, зашептал ему в ухо Козьма.

Юрка удивленно слушал.

— Повсюду во Пскове царские люди, следят за монастырями и церквями. Схватить нас могут на улице. Нам же попасть раньше времени в их руки

никак нельзя. Благое дело должны свершить — для того, видать, и уберег Господь в прошлый раз.

Оба монаха размахисто перекрестились. Брат Михаил спросил:

— Знаешь ведь, где Святой Троицы храм стоит?

Юрка кивнул.

— Сейчас отправляйся туда. Отец Козьма тебе даст узелок. Пройдешь к колокольне, подле нее сыщешь пристройку без окошка. Там юродивый Никола живет. Уже ждет тебя.

— Меня? — изумился Юрка.

Михаил потрепал его по затылку.

— Того ждет, кто ему принесет важную вещь.

Козьма дернул монаха за рукав. Михаил отмахнулся:

— Пусть знает!

Вручая Юрке узелок — небольшую шкатулку, перевязанную платком, — Михаил заглянул ему в глаза и тихо сказал:

— Теперь все от тебя зависит. Пройди незаметно, не попадись никому, не оброни нигде.

— Если боишься — скажи сразу. Придумаем, как тогда быть, — настороженно блестел глазами Козьма.

— Про нас в деревне так говорили: «Отрепье носят, а храбрости займы не просят!» — запальчиво ответил Юрка. — Так и прозвали, Отрепьевыми.

— Отчего ж не Смельчаковыми? — улыбнулся брат Михаил.

Юрка пожал плечами.

— Ну, хватит пустопорожничать, — насупился отец Козьма. — Ступай. Передашь и бегом сюда. К утру из монастыря все вместе выйдем, царя встречать.

Мальчик спрятал за пазуху ценный сверток и кинулся за ворота.

Темные улицы казались бесконечными. Тянулись высокие заборы с наглухо затворенными воротами. В колокола бить перестали, и на город опустилась звенящая морозная тишина. Не слышны были молитвы из-за плотно подогнанных ставень. Собаки — и те не лаяли. Юрка бежал, прижимая к боку шкатулку. Останавливался, переводил дыхание, прислушивался и снова мчался вдоль домов, серых в ночи, как волчья шерсть. Вдруг в конце улицы черным пятном мелькнула чья-то фигура. Мальчик бросился в сторону, нырнул в сугроб. За-таился. Совсем рядом раздался торопливый скрип снега.

— Вроде шнырял кто? — глухо раздался голос.

— Померещилось, — ответил другой.

Снова снежный скрип, затихающий. Посидев для верности еще немного, Юрка осторожно выбрался из снежной кучи, прокрался к повороту в узкий проулок и побежал к Детинцу.

Вскоре показался на черном фоне неба силуэт колокольни.

В кремле, не в пример замершему в пугливом ожидании городу, было оживленно. Входные ворота распахнуты, площадь освещена кострами. Псковский воевода, тучный и свирепый лицом князь, расхаживал среди суетившихся стрельцов. Все, кроме князя и стражи, были безоружны. Тащили длинные столы и скамьи, расставляли возле ворот. Подбегали люди с ворохами скатертей, несли гремящую посуду. Два дородных стрельца катили винную бочку.

Улучив момент, когда один из стражников отвернется, Юрка прошмыгнул в ворота, никем в общей

суматохе не замеченный и не остановленный. Келью юродивого он отыскал без труда — прилепленная к каменной колокольне сараюшка бросалась в глаза. «Меньше, чем у Федюни, даже», — подумал мальчик и потянул хлипкую дверь.

Внутри мерцало два огонька — слабый от лампы перед одинокой иконой и второй, поярче — от свечи на полу.

На голой лавке сидел заросший, словно леший, старик. Из одежды на нем был лишь дерюжный мешок с дырами для головы и рук. Ноги он поджал под себя, виднелись только костлявые, с мозольными наростами колени. Юродивый отрешенно смотрел на стену и не обращал внимания на вошедшего.

— От отца Козьмы и брата Михаила, — тихо сказал Юрка, шагнув в келью.

— Подавай, что принес! — выкрикнул резким голосом старик и повернул голову. Один глаз его сильно косил, другой был закрыт сплошным бельмом. — Подавай, подавай, подавай!

Юрка поспешно сунул руку под одежду, вынул сверток и протянул юродивому.

Никола цепко схватил принесенное и рассмеялся:

— Не то денежки, что у бабушки, а то денежки, что в запазушке!

Неожиданно лицо его будто затвердело. Блекло-голубой глаз, не покрытый бельмом, перестал косить. От всей фигуры Николы повеяло силой и собранностью. Точным движением размотав платок, юродивый щелкнул замком шкатулки. Выудил из ее нутра блестящую фигурку птицы. Поднес к опывшей, почерневшей от нагара свечи и тщательно рассмотрел.

— Что же это, дедушка? — робея, но изнемогая от любопытства, подал голос Юрка.

Николка вздрогнул. Засмеялся, обнажив темные десны. Свел глаз к носу и затряс головой:

— Летела птица орел, садилась на престол, говорила со Христом: «Гой еси истинный Христос! Дал ты мне волю над всеми: над царями и царевичами, королями и королевичами. Не дал ты мне воли ни в лесе, ни в поле, ни на синем море!»

Юродивый зажал принесенную ему вещицу в кулаке, вскочил и принялся подпрыгивать, размахивая руками, словно крыльями. Мальчик попятился к двери. Николка подбежал к нему почти вплотную, склонил голову набок. Юрка увидел, что зрячий глаз старика стал ярко-васильковым.

— Беги скорей, пока не пришел Ларион, да не выдрал всю травушку вон! — завохтал юродивый, приплясывая вокруг мальчика. — Да никому не рассказывай, что видели глазки, что слышали ушки, дам за то тебе полушку!

Не помня себя, бежал Юрка обратной дорогой в монастырь.

Монахи, нетерпеливо поджидавшие его в гостинной келье, принялись расспрашивать. Мальчишка лишь дышал часто, отходя от беготни, и хлопал глазами. Брат Михаил принялся было сердиться, но Козьма, присмотревшись к Юрке, улыбнулся довольно, шепнул что-то на ухо молодому монаху и велел обоим прилечь на час, отдохнуть.

— Трудный день нас ожидает. Справится если Николка, сразу отправимся в путь.

— Ну, а если не сможет он? Тогда что? — тревожно спросил Михаил.

— На все воля Божия...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ИЗГНАНИЕ ИЗ ПСКОВА

Еще затемно вновь ударили во все городские колокола. Воздух наполнился холодной и звонкой тревогой.

Чуть серые краски утра проредили ночную черноту, как на площади перед кремлем собралась псковская знать. Рядом встало духовенство с иконами и хоругвями. Впереди всех — настоятель храма Святой Троицы, возле него замерла церковная братия в торжественном облачении, диаконы с кадилами, пономари со свечами. Трепыхались в рассветном сумраке огоньки, руки церковников бережно прикрывали их, лелеяли, словно зыбкую надежду.

Поодаль столпилось купечество. Вышел из домов ремесленный люд. Возле каждого ворот собрались семьи с хлебом-солью в руках.

Молчаливые вороны сидели на ветвях и церковных крестах. Чистили крылья, поглядывали вниз, на площадь, уставленную щедро накрытыми столами, но не решались слететь.

Юрка стоял с отцом Козьмой и братом Михаилом неподалеку от ворот детинца, посматривал на колокольню, у подножия которой был сегодня ночью. Вспоминал Николку, его жалкий вид, диковинный глаз да чудные слова. Тело мальчика

дрожало от холода и страха. Вот-вот крикнет с колокольни служка, известит — едет к городу царь со своим войском. Из Любятова путь совсем короткий, их колокола хорошо слышны во Пскове.

Жутко было представить мальчишке, что скоро воочию увидит самого большого человека в стране, грозного и немилостивого царя. Того, по чьей воле потерял он семью и дом, а двум приютившим его монахам пришлось хоронить свою братию и скитаться по чужим обителям, в которых тоже царили скорбь и разруха. «Душа у царя больна, — пояснил отец Козьма, увидев в глазах подопечного немой вопрос, когда случилось им остановиться в очередном разоренном монастыре по пути во Псков. — Разум его смущен. Радеет о государстве и намерен благие дела вершить, да только путь избрал страшный».

Положив руки на плечи мальчика, стояли позади два монаха, ставшие для него самыми близкими людьми на всем свете. Общее горе свело их судьбы, а общее дело сплотило накрепко. После минувшей ночи Юрка почувствовал, как изменилось к нему отношение отца Козьмы. Брат Михаил и до того был близок, опекал по-отцовски, а вот Козьма ворчать перестал лишь сегодняшним утром. Разбудил, велел собираться — царя встречать. Взглянул испытующе и сказал: «Коль живы будем, в Москву с нами поедешь. В Чудовом послух примешь. Грамоте тебя учить сам буду».

— Е-еде-ет! — прорезал воздух заполошный крик с высоты.

С испуганным карканьем сорвались со своих мест вороны и метнулись в сторону реки.

Вздрогнули истомившиеся страхом и ожиданием горожане. Пронесся над головами многоголосый

робкий шепот, замелькали у лбов и плеч сложенные пальцы. Качнулись в руках духовных тяжелые хоругви. Троицкий настоятель прошептал что-то, прерывисто выдыхая паром, сжал святой крест и выступил на шаг вперед.

Царь Иван ехал верхом, неспешным шагом.

Держался государь в седле с трудом. Взгляд его, неподвижный, был направлен поверх конской головы, но видел ли он дорогу, сказать было трудно. Малюта, обеспокоенно наблюдавший за государем, в конце концов кивнул племяннику. Бельский соскочил с коня, подбежал к царскому аргамаку, взял под узды и повел, гордый выпавшей честью, вышагивая торжественно и грозно.

Рядом с царем восседали на конях оба Басманных. Старший то и дело норовил оттереть Малюту, как бы невзначай подъезжая все ближе, а Федька крутился вокруг государя с самого выхода из Любтовского монастыря, белозубо скалясь и гарцуя.

Иван отрешенно покачивался в седле, погруженный в тяжелые воспоминания. Усталость и пустота испепелили его лицо. Щеки глубоко ввалились, отчего нос казался точно выросшим вдвое. Истоиво промолившись всю минувшую ночь, но так и не найдя душевного успокоения, царь под утро в ярости вцепился в свою и без того негустую бороду. Рванул что было сил, наслаждаясь болью. Швырнул клочья на пол монастырской церкви и велел собираться выступать на Псков.

Бессонные ночи измучили тело и ум. В голове плыли и наслаивались друг на друга звуки. Внешние — суматошный колокольный звон, шумное фыркание лошадей и холодное бряцанье оружия —

и внутренние, всплывающие на поверхность, как болотные пузыри. И тогда слышались Ивану тяжелые всплески холодных вод, треск льда, булькающие крики, хруст и чавканье топоров, кромсающих плоть, хрип сдавленных глоток, вороний грай да протяжный вой...

К седлу царского коня был приторочен посох с серебристым украшением, подарком простоватого нравом, но коварного умом черкесского князя. Как и от кого попал к нему Волк, неизвестно. Но чуял осторожный горский дикарь — не по Сеньке шапка. Сменял вещицу на царские полки, чужими руками на своих горах утвердился и кого желал из соседей извести — всех победил. Впрочем, со временем князь позабыл, кому обязан, да и жадность азиатская взяла свое. Как узнал от Марии, что у русского царя свое серебро имеется, так принялся подучивать дочь, чтобы разнюхала да прибрала, с отцовским подарком вместе. Не сразу Иван заподозрил неладное. Уж больно сладка была ее прелесть женская, уж слишком искусна и затейна оказалась в утехах его жена. Чувственным мором обволакивала, горячей дикостью завораживала. Даже когда принялась Машка требовать, чтобы брата ее, Салтанкула, пожаловал стольничьим званием, — Иван не задумался, лишь посмеялся: «Хоть и принял он христианское имя, Михаилом назвался, а все одно — нехристь душой. Как и ты, впрочем. Но ты царицей через постель царскую стала. А братцу твоему к московской жизни приучиться бы следовало для начала. А то шатается по улицам, людей задирает!» Мария, вспылив, пригрозила себя убить, если царь не исполнит просьбу. В ответ Иван совсем развеселился, махнул рукой

и вышел из царицыных покоев. В ту же ночь едва успели вынуть Марию из петли — смастерила из полотенца и почти удавилась до смерти. Иван, впечатленный упорством жены, поддался уговорам, и стал задиристый горский разбойник вхож в ближайший круг царя.

Но все больше зрело в душе Ивана недоброе чувство, что неспроста, не из любопытства бабьего выпытывала Мария о *серебре*. Откуда-то узнала о бабкиной книге, подбиралась и к ней — подыскивала, кто ей надписи разберет и растолкует.

Медведя же, с той самой охоты, когда впервые о нем узнала, Ивану не вернула. Носила под одеждой денно и нощно. Не проходило недели, чтобы не устраивал царь, по ее требованию, потраву зверьми. В выстроенный для Машкиных забав зверинец тащили воров да разбойников, а то и просто кого попало — прохожий люд. Мерцая разноцветным огнем глаз, неотрывно смотрела Мария на казни, с трудом отрываясь от залитой кровью площадки, когда уже все заканчивалось.

Вскоре царица начала тяготить Ивана. Но была она молода и крепка здоровьем. Не скоро подталяли ее силы. Сгубила Машку жадность, жестокость и бабья дурь. Понравилось ей видеть вместо карей темноты в глазах колдовское свечение, когда любовалась собой в натертое до блеска серебряное блюдо.

Так и отдала Богу душу, красавицей и дикаркой. Из поездки в Вологду, где строили по приказу царя огромный кремль и судоходную верфь, везли Марию в беспамятстве в Александрову слободу. Там Иван снял с ее тонкой шеи шнурок с Медведем, а лекарь Бомелий, исполнявший самые тайные

и деликатные поручения царя, приготовил снадобье на случай, если царица пойдет на поправку. Его и дал Иван супруге, когда та ненадолго очнулась. Обнимал, целовал влажный лоб и запавшие глаза, припадал к обмякшим губам, сжимал ее в объятиях, жадно ловя последнюю телесную дрожь и вслушиваясь в затихающее дыхание.

Умерли обе жены его. Настенька словно забрала с собой Иванову кротость — всю, что так терпеливо возвращала в нем и укрепляла. По-звериному дикая Мария унесла остатки человеческого из его сердца.

Что-то сдвинулось в нем, опрокинулось. Осталась внутри ледяная пустота. Иван боялся засыпать. Казалось, снова подступает знакомая болезнь, что повергла его когда-то в лихорадку кошмаров и держала душу на зыбкой грани между жизнью и смертью. Те редкие часы, когда он все же засыпал ненадолго, без снов, облегчения не приносили. Стянутый непонятным ужасом по рукам и ногам, он беспомощно лежал после тяжелого пробуждения, пытаясь омертвевшим горлом позвать на помощь. Но некого было звать. Давно нет людей рядом. Лишь псы с разбойничьими рожами. Вырядились в черное, навешали собачьих голов да метелок на седла, изморили людишек столько, что небо того и гляди прогнется под тяжестью принятых душ...

Перед мысленным взором Ивана плыли страшные картины.

Вот стоит он, хохочущий, на широком Волховском мосту, где недавно встречали новгородцы своего государя, а теперь — смерть свою. В середине моста рубят перила, ломают крепкую ограду, растаскивают бревна и жерди. Жадно,

с удовольствием и любопытством смотрит Иван, как швыряют в прореху связанных людей и те летят с высоты в черную воду, ухает и смыкается она над ними. На кого веревки не хватило, тех кидают так, толкают с моста, и многие сразу уходят под лед. Некоторые же мечутся в воде и кричат, лезут на ледяную кромку. Была поначалу забава — рубить им пальцы или целиком руки, но как оступились несколько человек, провалились и оскользнулись сами — одумались. Утоп так Федко со своим кистенем, и балагура Петрушу утянуло течением. Тогда Ваське Грязному пришла в голову затейная мысль посадить опричных с топорами на лодки, пустить в полыньи. Кто сразу не тонул, к тому подплывали и по темени «окрещали».

По всем посадам новгородским стоит треск, вой, стоны и плач. Крушат, по приказу государя, «все красивое»: рубят резные ворота, ломают лестницы, выворачивают ставни и бьют окна. Вскрывают амбары, грузят на сани все: хлеб, ткани, воск, — тащат из домов одежду и мебель, везут все к берегу и выбрасывают на замерзшую реку. Туда же сгоняют купцов с семьями, обрубают кругом лед, и под тяжестью свезенного он трещит, ломается и погребает под собой всех несчастных с их добром.

«Так их! Так их всех! — распаляется царь, сжимаемая посох. — Сажай в воду изменников!»

Тащат под руки первого новгородского богача, купца Федора Сыркова, раздетого до порток. Ноги его волокутся по настилу моста, голова мотается, из разбитого лица хлещет кровь на бороду, голую грудь и мерзлые бревна. «Ага! — кричит царь, тыча пальцем в избитого. — Вашу породу крамольную мой дед изводил, не довывел! Из Москвы вас гнал,

так вы и здесь за свое взялись! — Иван возбужденно поворачивается к Малюте. — Смотри, Гришка, вот кабан матерый, битый! Весь род у них таков — против трона всегда!» Скуратов согласно кивает: «Сырковы — известное дело, государь. Мошна велика, а власть не мила. Торгаши!»

Иван приказывает не топить купца сразу, а обвязать сначала веревкой и окунуть в полынью. Ловкий Тимоха Багаев свистит в пальцы, созывает людей, отдает приказы. Царь одобрительно смотрит на удальца, толкает локтем Малюту: «Глянь, Гришка, каков орел подрастает!» Скуратов морщится — полыхнула болью рана в животе, а душу обожгла вспышка ревности, но терпит «верный пес» государев. Недоверчиво смотрит из-под насупленных бровей на бойкого опричника и ворчит: «Поживем, тогда и увидим...» Испуганно осекается, взглянув на Ивана. У того померкли глаза, сжались губы — бледным рубцом прочеркнули лицо. Как ни часты такие перемены, а никак не привыкнет к ним Малюта. А уж причину искать и вовсе не решается. Одному Богу ведомо, что в царевой душе творится.

Иван же, случайным словом напомнив себе об Орле, мрачнеет. Удалось попам-лиходеям увести вещицу, выскользнула она из рук. Ну да ничего. Растрясет он купеческие да поповские мошны, а там и до потайных ларцов доберется. На рубежах с поляками теперь каждый сажень под охраной. Не вылетит Орел из клетки, рано или поздно — на Иванову ладонь сядет. Одно жаль — если бы раньше порядок в государстве успел навести, глядишь, и Павлин не упорхнул бы, и Курбский, собака, не голоногому Жигимонту ноги бы лизал, а на колу глаза пучил...

Купца Сыркова тем временем подвели к разбитой ограде моста, поставили на край, придерживая с обеих сторон. Толстой смоленой веревкой его обвязали под плечи, а длинный ее конец взял в свои лапищи Омелька. «Смотри, не упусти карася!» — напутствовал силача Тимоха. Великан, вопреки своей обыкновенной привычке, не улыбался, а морщил лицо в тягостном усилии что-то сказать. «Что, Омелюшка?» — насторожился Багаев, заглядывая ему в лицо. «Пя... пянчики бещал. Ишь!» — обиженно проорчал опричник. Тимоха оторопел. «Да как же тебе не стыдно! Не я ль тебе лавку тверского купца на разорение отдал? Не ты ль в муке у него извалялся, как порося в грязи, да тех самых пряников мешка два сожрал и животом опосля маялся?» — под общий хохот принялся он отчитывать товарища. Омельян задумчиво склонил голову, пытаясь припомнить, но потом снова на его зверское лицо напоззла глупая улыбка: «Ищо хочу...»

Тимоха кивнул: «Будут тебе пянчики, а пока лови рыбку!»

Несчастливого купца столкнули с моста. Вербка стремительной черной полосой заскользила в широких ладонях Омельяна. Сырков ушел с головой под воду, скрывшись среди месива из ледяного крошева. Тимоха перегнулся через перила моста неподалеку от пролома, шарил глазами по колыхавшейся поверхности полыньи. «Тяни!» — крикнул он наконец. Омельян, ухмыляясь, принялся перебирать веревку, без усилий поднял хрипящего купца на мост и швырнул на бревна. Опричники поставили Сыркова на ноги и снова подтащили, мокрого и безвольного, к пролomu. Волосы купца налипли на побелевший лоб, с бороды капало,

порты облепили бессильные дрожащие ноги. Вновь полетел несчастный в воду. «Тяни!» Мелькают Омелькины руки, ползет в них черная веревка, поднимается из воды поникшее тело. Купец глухо падает на мокрый скользкий настил, кашляет и хрипит. Иван подходит ближе, наклоняется и с любопытством спрашивает: «Ну, что видел там? Чертей разглядел?» Губы Сыркова дрожат, взор блуждает. Неожиданно, собравшись с силами, он выплевывает царю в лицо дерзкие слова: «Разглядел! Много их там, и все для тебя место готовят!»

Горло Ивана клокочет от ярости, в глазах меркнет свет. В иступлении он бьет купца посохом, железное острие с хрустом вонзается в незащитное тело. Забрызганный кровью, царь отступает, бешено глядя по сторонам. Подлетевшие опричники кромсают Сыркова на части — рубят ноги и руки, летит вниз его голова, сталкивают сапогами иссеченные останки... Иван подбегает к краю моста и плюет, метя в полыню. Вдруг из черноты выныривает отрубленная голова купца, раскрывает полный крови рот и булькающе хохочет: «Многие лета тебе, государь!..»

— Многие лета тебе, государь!

Иван очнулся и вздрогнул так сильно, что конь его беспокойно фыркнул и выгнул голову, фиолетовым глазом уставился на хозяина.

— Многие лета!

От колокольного звона, криков толпы и громкого пения псалмов кружилась голова.

— Твори волю свою с нами, православный царь! Все, что имеем, и мы сами — твои, самодержец великий!

Взметнулись хоругви в дрожащих руках.

В полумертвом утреннем свете царь плыл на коне мимо верениц склоненных людей, невидяще глядя перед собой.

Вдруг из-за согнутых спин выпрыгнул старичок-оборванец. Весело задрал голову, всю в колтунах, потряс всклокоченной бородой и поскакал верхом на палочке рядом с царем, цокая языком. Одет он был в драный мешок, с грязной шеи свисала толстая ржавая цепь. Босые ноги старичка прытко месили снег. Бельский, на миг растерявшись, перехватил узду царского коня левой рукой, а правой потянул из ножен саблю. Иван скосил глаза на юродивого и взмахом руки остановил Малютиного племянника и заодно остальных — уже и Федька спрыгнул, готов кинуться был, и Малюта конем зашибить собрался.

Старичок заржал по-лошадиному, вытаращил на царя увечные глаза — один кривой, другой сплошь затянут бельмом, зашлепал черным слюнявым ртом:

— Иванушка, покушай хлеба-соли, а не человеческой крови!

Тут уж свита не утерпела. Бросились все разом хватать дурачка, да пока толкались и мешали друг другу, тот юркнул обратно в людскую гущу и словно сквозь землю провалился.

Гневаясь не столько на выходку оборванца, сколько на бестолковых опричников, устроивших кутерьму не хуже скоморошьей, царь остановился возле ворот кремля. Спешился, снял с седла посох и, не глядя ни на кого, молча направился в собор Святой Троицы. Растерянные настоятель, воевода, знать и духовенство топтались на площади.

Шагнули было следом, но остановились перед остриями пик и сабель. Опричники споро разоружили кремлевскую стражу, живой стеной перекрыли ворота. Несколько отрядов пробежало внутрь кремля, расставляя всюду свои дозоры.

Федька Басманов, глянув озорным глазом на выставленное угощение, крутанул коня и послал его шенкелями прямо на столы. Вороной взметнулся, перескочил через кувшины и блюда, влетел в стоявшую рядом толпу, а задними копытами опрокинул один из столов.

— Гойда! — захохотал Васька Грязной и по примеру Басманова направил своего коня крушить и топтать псковские пироги да закуски.

— Гойда! Гойда!

Народ закричал, заметался по площади, хлынул вдоль стен детинца. Черными тенями неслись за толпой всадники с саблями.

Упал с рассеченной головой настоятель собора, рядом с ним грузно рухнул проткнутый пикой псковский воевода. Из опрокинутого кувшина выливалось густое вино, ползло багряным змеистым ручейком к натекавшим кровавым лужам.

Иван, не обращая внимания на то, что творилось за его спиной, неторопливо шагал к собору. Поднялся по оледенелым ступеням, толкнул высокие двери.

Прислушиваясь к гулкому отзвуку своих шагов, прошел к царским вратам. Долго стоял перед иконостасом, не молясь, с пустым лицом, в холодном сумраке пустого храма.

Резко развернулся и вышел на церковное крыльцо, дернул ворот расшитого золотом кафтана, чувствуя,

как густеет воздух и уходит из-под ног твердь. На миг померещилось, будто барахтается он в ледяной полынье, камнем тянет ко дну намокшая одежда, заходится в немом крике рот...

С колокольной звонить перестали — добравшиеся до верха опричники скинули служку вниз и ожидали приказа, выбивать ли клинья из балки, сбрасывать ли следом за звонарем и колокол.

Щурясь после темноты собора, Иван смотрел на ставшее светло-серым небо, и не было в его глазах ни мольбы, ни вопроса. Одна пустота.

— Не голоден ли, Иванушка?

Царь опустил взгляд и попятился к дверям собора.

Позвякивая цепью, перед ним скособочился недавний знакомец — бельмоглазый дурачок, что скакал на палочке возле коня Ивана. Теперь же в руке старика вместо «лошадки» лежал кусок сырого мяса. Нелепо выворачивая голову, чтобы кривым, но зрячим глазом видеть государя, надоедливый безумец кивнул:

— Покушай, Ивашка!

Царь в страхе схватился за набалдашник посоха, впечатал ладонь в волчью голову. Закипая гневом, взглянул из-под сведенных бровей на оборванца. Но тот лишь рассмеялся — будто курица закудаhtала — и принялся твердить свое, протягивая мясной кусок:

— Покушай, покушай!

Чувствуя, что силы покидают тело и вот-вот он упадет к красным от холода ногам малоумного, Иван вяло ответил:

— Не ем мяса в пост, ибо христианин.

Юродивый тонко захохотал:

— Ты хуже поступаешь! Человеческую плоть вкушаешь!

Старик подскочил к Ивану поближе — забренчала свисавшая с шеи цепь — и назидательно прошептал:

— Ступай отсюда, прохожий человек! Не то к вечеру не на чем будет ехать.

Опять по-куриному заклохотал, сжал мясо в руке и побежал, кривясь набок, прочь из кремля.

Потрясенный Иван стоял на крыльце.

Со всех сторон через соборную площадь мчались к царю опричники, но стоило тому взглянуть на них, как попадали все разом и затряслись, принялись извиваться, ползти прочь — будто кто швырнул огромных пиявок на промерзший булыжник.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В МОСКВУ

— Ну, пошла! Хоп-хоп!

Брат Михаил управлял дровнями, время от времени хлопая вожжами по крупу пегой лошаденки и покрикивая на нее.

Сани скользили по неширокой дороге сквозь заснеженный ельник.

Юрка поглубже зарылся в густой собачий мех огромной дохи, раздобытой батюшкой Козьмой в Снетогорском монастыре. Сам старый монах завернулся в стеганую накидку и пристроился рядом. Бороденка на его вытянутом ежином лице покрылась инеем. Козьма дремал и во сне беспокойно дергал носом и веками. Мальчишке же не спалось, несмотря на ранний час их выезда. Еще затемно покинули они Псков и вот уже полдня в пути. Плыли над санями широкие еловые лапы, а наверху, по темным пушистым верхушкам, катилось прихваченное морозом солнце.

От мысли, что путь их лежит в Москву, в Чудов монастырь в самом московском Кремле, захватывало у Юрки дух. Мальчишка пытался представить себе город, красивее и больше которого, по словам монахов, не сыскать в русской земле. «Кто в Москве не бывал, красоты не видал!» — приговаривал батюшка Козьма. «В Москве вся сила!» — вторил ему молодой монах.

— Хоп! — снова взмахнул вожжами брат Михаил, подгоняя и без того резвую лошаденку.

Отец Козьма спал и забавно подрагивал носом.

Юрка высунул голову из дохи, огляделся.

Еловый лес закончился, будто оборвался, и сани выехали на широкое снежное поле. В ельнике было тихо и мертво, а на открытом месте ветер дымил понизу белой поземкой. Дорога прорезала поле и вела в низину, к сереющему во влажном воздухе березняку.

Мальчик снова спрятался от холода в мех и задумался о вчерашнем дне.

То, что смерть была совсем рядом, не сильно напугало его — за эту зиму натерпелся и навидался всего. Когда царские люди принялись опрокидывать столы, спрятался за одним упавшим набок, накрылся широким краем скатерти, одним глазом подсматривая в узкую щелку. Видел гибель больших псковских людей, как корчились они на снегу, израненные, и затихали. Видел, как затоптали копытами упавших попов и окрасились красным их золоченые одеяния. Куда подевались Козьма и Михаил, он не знал. Лишь надеялся, что удалось им сбежать или спрятаться. Потому и перепугался, когда увидел, как к выскочившему из кремлевских ворот Николке бежит брат Михаил, а за ним гонится коренастый детина в черном кафтане, замахивается топором. И лежать бы монаху среди тел на соборной площади, да успел его спасти Николка — прикрикнул на душегуба. Опричника будто водой из ушата окатили — замер с поднятой рукой, потом обмяк весь, топор выронил и побрел назад, ошарашенный. Никола же времени не

терял — бросил мясо под ноги и протянул ладонь брату Михаилу. Тот уже держал наготове тряпицу, ей и взял осторожно с руки юродивого что-то блестящее, будто кусочек начищенного серебра, быстро обернул и спрятал в одежде. Тут Юрку цепко схватили за ноги и потянули из-под стола. Мальчик уцепился за скатерть, закричал и зажмурился, ожидая удара острым железом, но вместо смерти от царского слуги получил шлепок по лбу от взъерошенного, как сердитый еж, отца Козьмы. «Ищу тебя повсюду, ползаю, как мокрица, прости Господи!» — Старый монах ухватил Юрку за руку и поволок с неожиданной для него прытью прочь от собора...

...Ночь провели в монастыре, без сна, готовясь к раннему отъезду.

Чернецы долго о чем-то беседовали в игуменской келье с собравшимися седобородыми старцами.

Отец Козьма уложил мальчишку на жесткое ложе, укрыл потеплее, велел набраться сил перед дорогой. «Не бойся, дитя, и постарайся уснуть. Великую опасность мы отвели, не тронет теперь государь ни эту обитель, ни какую другую». Юрка поджал ноги, обхватил колени. «А деревеньки с городами? Будет жечь или помилует?» — спросил он. Козьма не ответил, лишь потрепал его волосы и вышел из кельи вместе с братом Михаилом, готовить сани и лошадей.

Штаден тоскливым взглядом окидывал унылый заснеженный пейзаж и вспоминал родной уютный Ален с его аккуратными домиками, мельницей у реки и простой церквушкой на площади. Как-то

там поживает старина Хейнс... Напоминает ли старая рана ему о пропавшем недруге-школяре Генрихе или давным-давно зажила, лишь крохотный шрам остался на пухлом плече? Наверняка былой обидчик раздобрел еще сильнее за прошедшие годы от скучной неспешной жизни. Возможно, работает себе на мельнице, у отца, копит деньги на свадьбу или уже женат и наделал кучу маленьких толстых хейнсов. Как знать, не полезь тогда Генрих с ним в драку, не пырни как следует шильцем — быть бы и ему, фон Штадену, обыкновенным пастором.

Но вот как сложилась судьба!

Хоть и взгрустнется порой по крохотному Алену, особенно когда качаешься в седле среди бескрайних московитских снегов, когда и не разобрать, где твердь, а где небо — такое все дикое, серое, однообразное и жутко холодное, — но все равно не променял бы Генрих свою жизнь ни на какую другую. И земля у него есть теперь, и дом, и слуги — вон кругломордый Тешата за хозяина готов в огонь и в воду, лишь бы удача стороной не обходила. А фортуна к Генриху благосклонна стала, едва он пересек русскую границу. А уж обжился когда да язык московитов выучил — и вовсе хорошо зажил. Правда, не всем был доволен Штаден. Взять хоть этот зимний поход великого князя Ивана. Жаловаться вроде и грех — вышел с ним Генрих на одной лошади, а теперь у него табун в три десятка голов, да еще две дюжины лошадей в Москву отправил запряженными в сани, каждые доверху всяким добром заваленные. Но рискованно стало — раньше русский царь сквозь пальцы смотрел, кто из слуг что тащит к себе, а в этой экспедиции

словно помешался. Жечь, рубить, топить приказывал, а сам любовался охотно на костры да кучи загубленного. Остальное все, что не уничтожалось, своей казне принадлежащим объявлял. Золото, серебро и камни с монетами забирал и соглядате-ев повсюду рассылал. Кто пытался утаить от царя хоть крупицу — тех уж нет. А уж когда выдвинулись из Новгорода в Плескау, или, как москвиты этот город называют, Псков, так и вовсе странные вещи стали с их великим князем твориться. Город сытный, жирный кусок, лакомый — веселись, казалось бы, сколько влезет! Так нет же — снова эти дикарские местные предрассудки да обычаи. Говорят, тот старенький дурачок, что возле царя на въезде в город скакал, к нему опять вскоре явился, да так застрашал, что к вечеру, когда неожиданно царский конь издох, Иван бросился в церковь искать вещуна. Не нашел, всю ночь промолился, а утром дал приказ озорство прекратить и выступать назад, в Александровскую слободу. Это Штадену совсем не понравилось, да и в отряде его молодцы были не прочь поживиться еще напоследок. Раз в городе не удалось, так хотя бы окрестности обшарить, потрясти.

— Никак сани бегут? — подал голос Тешата, подъезжая к хозяину и указывая меховой рукавицей на поле.

Генрих прислонил руку ко лбу, взгляделся сквозь поземку.

— Чернецы, что ли? Двое?

Тешата привстал на стременах и похлопал глазами, как филин.

— Не разобрать. Похоже, так. Мешок везут, иль еще кто едет с ними. Поближе надо.

Штаден еще раз обвел взглядом пустынные окрестные снега и угрюмый мертвый лес вдали. Тоска и холод.

Немец поежился, потер руки и погладил пищальное ложе.

— Как там у вас говорится? «Не догоним — так хоть согреемся».

— Верно, — гыкнул Тешата, радуясь предстоящей потехе. — Гойда ли?

Штаден, оживляясь, кивнул:

— Гойда!

...Выскочивших из жидкого перелеска всадников брат Михаил заметил сразу же.

Обернувшись, крикнул:

— Беда!

Вскочил на колени, огрел вожжами лошадиный круп:

— Пошла, пошла, родимая! Выручай!

Перепуганное животное несло во весь опор, из-под копыт летели снежные комья.

Сани мотало из стороны в сторону. Козьма, вцепившись в толстую жердь, испуганно оглядывался. Стеганую накидку с него сдуло. Грузно взмахнув серым краем, она слетела на дорогу и вскоре оказалась под копытами лошадей преследователей.

— Неужто выследили?! — крикнул старик молодому монаху, но тот не отвечал, лишь нахлестывал лошадь.

Сквозь тряску Юрка разглядел, как один из всадников склонился чуть вбок и стянул с плеча что-то длинное.

— За пищалью полез! — воскликнул старый монах, очередной раз оглянувшись..

Схватив мальчишку за голову, прижал к настилу саней.

— Пригнись, пригнись!

Глухо треснуло — сквозь ветер, крик возницы и лошадиный топот звук был едва слышен, — и в тот же миг Козьма тонко вскрикнул и отлетел к передку саней, будто невидимый бык поддел его рогом. Тело монаха ударилось о спину брата Михаила. Тот, не переставая взмахивать вожжами, оглянулся — оскаленный, белоглазый, весь запорошенный. Что-то прокричал, но Юрка не смог разобрать. Мальчишка подполз ближе, не отрывая взгляда от черной дыры в груди Козьмы.

Михаил снова принялся кричать, выворачивая шею. На этот раз Юрка слышал почти все:

— Под одеждой! Снимай скорее с него... Нателный пояс снимай!

Мальчик испуганно взялся за одежду монаха. Потянул, пачкаясь в липкой крови. Пытаясь не вылететь на полном ходу из саней, принялся шарить под тканью. Нашупав тесьму, потянул, но узел не поддавался.

— Дергай сильнее! Рви! — раздался крик Михаила. — Скорее! Нагонят!

Юрка вскинул голову и совсем близко от саней, саженьях в десяти, увидел оскаленные конские морды и обнаженные сабли в руках всадников.

Всхлипнув, отчаянно дернул тесьму, так что все тело Козьмы встрепенулось, будто он ожил. От страха рванул еще раз и упал навзничь с длинным белым лоскутом в кулаке. Внутри было зашито что-то небольшое на ощупь.

Михаил оглянулся и оскалился еще сильнее.

Юрка подполз к передку, протянул сорванный с тела Козьмы пояс, но монах мотнул головой:

— Не уйти! Прыгай с саней... В лес беги, в чащу! Там на конях не пройдут!..

— А это? — крикнул мальчик, крепко сжимая пояс.

— Вернись в монастырь... Игумену отдашь! Он перешлет в Чудов!

Юрка намотал концы пояса на кулак и крикнул:

— Сам доставлю!

Михаил оглянулся. Времени спорить не было.

— Прыгай! Прыгай и в лес!

— А ты?

Ни слова больше не говоря, монах схватил его за воротник и вышвырнул из саней.

Белая пелена кувыркнулась перед глазами Юрки. Совсем рядом горячо всхрапнул конь и взметнулось копыто. Мальчик прокатился по снегу, поднял голову, отплевываясь. В следующее мгновение он уже бежал, проваливаясь по пояс, к спасительным деревьям.

Один из всадников, скакнувший было следом, вдруг вылетел из седла. Конь его, громко заржав, подломился в ногах, угодив копытом в заснеженную колею. Браня на чем свет стоит мальчишку и Бога, опричник поднялся и захромал к безуспешно пытавшемуся встать животному. Оглядев его ногу, разразился новыми проклятиями.

Сбросив Юрку в снег, брат Михаил отпустил вожжи. Сани почти сразу остановились.

Штаден, взбудораженный погоней и радостью от меткого выстрела, чуть не проскочил мимо. Загнанная лошадка монахов, покрытая пеной и паром, хрипела и заваливалась, выворачивая оглобли.

Круто осадив коня, немец подъехал вплотную и с любопытством взглянул на возницу. Тот, казалось, не боялся за свою жизнь. Увидев, что выпавший из саней подросток скрылся в густой березовой роще, монах перекрестился и сгорбился, устало свесив длинные руки.

Удивленный внезапным безразличием недавнего беглеца, Штаден резко обернулся на чей-то громкий крик и увидел хромавшего к саням Тешату с искаженным от злобы круглым красным лицом. Другие члены штаденского отряда посмеивались из седел над незадачливым слугой немца.

— Коня покалечил! — ревел Тешата, сжимая кулаки и с ненавистью глядя на возницу. — Кто такие?! Почему от людей государевых удирали?!

Михаил, обернувшись и посмотрев на убитого Козьму, твердо ответил:

— Потому что мы — люди Божьи.

Немец без лишних слов взмахнул саблей, и расчеченный монах повалился на тело другого.

Порывшись в скудных пожитках чернецов и прирезав из жалости подыхавшую в оглоблях лошадь, опричники разочарованно влезли на коней. Штаден с усмешкой взглянул на топтавшегося в растерянности пешего слугу.

— Ты зачем, дурак, коня погнал наугад? Тебе на кой ляд малец тот сдался? Ты, не иначе, сундук с золотом у него на горбу приметил, раз коня загубить не пожалел...

Тешата хлопал глазами:

— Так ведь... Решили ж созорничать... согреться. В пылу-то не сообразил...

— Ну вот садись теперь в сугроб да соображай, где коня раздобудешь. У меня лишнего нет.

Генрих, проклиная московитскую тупость, махнул всем рукой, приказывая следовать за ним. Бросив Тешатку посреди поля, отряд тронулся по дороге, высматривая, не курятся ли поблизости дымки деревень.

Задыхаясь и утопая в снегу, Юрка бежал вглубь леса.

Снова смерть за спиной, как тогда, на льду возле полыньи.

Вновь он продирается через кусты и деревья. Колотится сердце, пересохший рот беспомощно ловит воздух, на ногах словно гири...

Когда сил не осталось совсем и он заметил, что барахтается на месте в сугробе, опустил лицом в колкий снег и заскулил обреченно.

Но погони не было.

Юрка перевернулся на спину. Долго смотрел на черные ветки и серое небо.

У кромки леса он успел на ходу оглянуться и видел, как брат Михаил бросил вожжи. Что ожидало монаха, заменившего ему отца, Юрка знал.

Ветви над головой расплылись — на глаза навернулись слезы. Снова он остался один. Нелепые, ненужные смерти, сколько их еще будет...

Юрка сел, утер лицо рукавом.

Пояс!

На кулак был по-прежнему намотан замызганный нательный пояс Козьмы.

Мальчик размотал его, пощупал через ткань спрятанное внутри. Пальцы плохо слушались, но он почти не сомневался — в поясе именно та вещичка, что относил он псковскому Николке.

Подцепив зубами нитку на грубом шве, Юрка оборвал ее и потянул края, расширяя прореху. Подышал на пальцы, запустил внутрь, чувствуя, как ухватил что-то очень холодное. Осторожно, чтобы не выронить в снег, достал и положил на озябшую ладонь.

«Летела птица орел, садилась на престол...»

Вытряхнул из валенок снег, тщательно замотал странную фигурку в пояс и сунул за голенище.

Это — все, что осталось на память от батюшки Козьмы и брата Михаила.

Сам он отныне не Юрка, а как называли его монахи — Григорий.

Выбрался из сугроба. Еще раз взглянул на небо. Увидел, где оно наливается синевой близкой ночи.

Ему — туда. Там Москва, там монастырь с красивым именем Чудов. Он дойдет, не испугается. Отрепье носим, да храбрости взаймы не просим.

А вещичка пока побудет при нем. Пусть не дает она воли ни в лесе, ни в поле, ни на синем море. Зато дает воли над всеми царями и царевичами, королями и королевичами.

Так уверял блаженный Николка. А он, похоже, знал, о чем говорил.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Сумрак и холод.

Лишь трещат под киотом лампы. В тусклых чашах прыгают огоньки с черными хвостиками, копоть жирной струйкой тянется к тяжелым наборным окладам. Некому убавить фитиль, никто не подойдет. Только бесы и прозрачные тени наполняют царские покои — ползают по стенам, склоняются над постелью, беззвучно колышутся. К ним Иван за последние годы почти привык и перестал бояться, как раньше — когда вскакивал посреди ночи и бежал по дворцу, истошно крича, падал или повисал на руках слуг, а потом остаток ночи молился до ломоты в теле и хрипоты в голосе. Теперь и бежать не может, и поклоны бить не в силах. Тяжкий недуг разъедает изнутри, точит, словно холодный могильный червь.

Стынет больное, распухшее тело. Царь хватается за край ложа, пробует сесть. Слишком немощен. С горечью смотрит на свои безобразные руки. Кожа слезает кусками, обнажает влажную смрадную плоть. Не царь — оживший утопленник копошится и стонет на перепачканом покрывале, пытается перекреститься и с испугом глядит в черноту угла. Кто нынешней ночью явится оттуда, как станет терзать его измученную душу, чей настал черед тащить Ивана в омут страдания?

— Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей...

Не так страшны безмолвные и бестелесные демоны, как те, кто возникает в царских покоях во плоти.

Прошлой ночью приходил новгородский купец Федор Сырков, такой же раздутый и гнилой, как его погубитель-царь. Держал деревянное блюдо, а на нем свою голову, черную и страшную. «Разглядел ли чертей, Иванец?» — вопрошала голова и хохотала, изо рта ее текла кровь, и вместо языка шевелился рачий хвост. Отвалились от купца обрубленные руки, упала голова на пол, подкатилась к Ивану, норовя цапнуть за ногу.

— Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать...

Вслед за купцом потянулась из угла вереница покойников — безглазые, безъязыкие или изрубленные на части, как богач-новгородец. Словно увечные на паперти, показывали они царю свои раны, проходя мимо его ложа, — сплошь страдальцы, опаленные жаровнями, с перебитыми хребтами и разъятыми ребрами. Умученные «виской», ошпаренные кипятком, подранные зверьем. Утопленники, давленники, зарубленные и затоптанные...

— Вошел во глубину вод, и быстрое течение увлекает меня...

Почти каждую ночь приходит к нему сын Иван, несчастный мертвый царевич. Нарядный, умытый, расчесанный и бледный — ни кровинки в лице. Смотрит пристально, любит отцовским плачем. Иван пытается ползти к нему, тянется в надежде обхватить его колени и молить о прощении. Но с начала зимы отказали ноги государя, а из рук

ушла былая сила — та самая, что извела со света царевича. Бежал Иван из Александровской слободы, вернулся в Москву, в надежде, что останется дух убитого сына там, в проклятом опричном дворце, но нет — является он и под кремлевские своды. Два года длится эта лютая мука, и знает царь — ни на этом, ни на том свете не сыскать ему прощения. «Больно тебе, Иванушка?» — шепчет трясущийся старик. «Больно, батюшка», — отвечает сын, и тотчас на всю спальню слышится страшный костный хряск. На челе царевича кровенеет глубокая вмятина. Царь воет, впивается ногтями себе в лицо, трясет головой. Но снова раздается косяной треск, а вместе с ним и чавканье терзаемой плоти, и не умолкнет, пока не сочтется число ударов, что нанес он своему наследнику в припадке ярости.

— Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя...

Нет больше у царевича лица — сплошная рана, и набрякает тяжелой влагой его борода, и капает с нее на белый атласный зипун. Кланяется ему сын Иван, обильно заливая кровью ковры в спальней, пятится в угол. Царь смотрит вслед, и, едва видение исчезает, отцовское раскаяние меняется вспышкой гнева — зачем строптивый отрок шел супротив, дерзил в глаза, укорял сдачей Полоцка и порывался во главе войска встать в Ливонии! Довел до греха страшного. Своими руками государь лишил себя наследника, обрек страну на разруху — разве малоумному Федору справиться... Сгрызут его бояре, едва на трон посадят. Погибнет все, ради чего Иван себя не щадил и других в жертву приносил без колебаний. И без того тяжелое

время настало — Бог уже явил знак нынешней немилости, лишив побед на Западе. Но сохранились пока былые успехи — покорение казанцев и астраханцев, строптивного Кучумку удалось оттеснить и множество крепостей в Сибири возвести. Все русские земли вокруг Москвы собрал, княжеские распри пресек и боярскую грызню усмирил. Сколько злобы, крамолы и противления себе испытал! Разве довелось бы достичь всего, коли тех, кто мешал, не пустил бы под топор? Поддерживал его Бог, помогал покорять народы и земли, да неожиданно отвернулся. Может, все из-за проклятого подарка, что всучил ему черкесский князек вместе с дочерью-дикаркой своей? Ведь с каждым годом все реже складывал перста царь для крестного знамения и все чаще хватался ими за холодного, как сама смерть, Волка. Неужели и впрямь правы те, кто уверял — бесовские это зверушки?..

Молится старый больной царь, отражаются в его блеклых глазах коптящие огоньки лампадок, но нет душе покоя.

С прошлой зимы дьяки кропотливо пишут списки на помин отделанных за минувшие годы людей. В минуты просветления всплывают в памяти Ивана имена загубленных, и, возлежа на подушках, тихим голосом диктует он усердному писцу. Скрипящее перо выводит букву за буквой: «Благоверную княгиню Ефросинью, мать князя Владимира Андреевича, да два человека и старицы, которые с ней были... По Малютиной грамоте новгородцев отделил тысячу четыреста девяносто человек ручным усечением, а из пищали пятнадцать... Подьячих новгородских: Федора Маслова с женою и детей его: Дмитрия и дочь его Ирину; Ивана

Лукина с женою да их детей: Стефана, Анну, Катерину; Семена Иванова с женою, детей их: Федора, Данило...»

Трепещет в страхе государь, велит во всех монастырях служить за упокой душ погибших и просить Господа за прощение и исцеление его. Дождем из монет и украшений осыпает он разоренные раньше обитатели, тысячи рублей жертвует чернецам, лишь бы возносили они свои молитвы громче и чаще.

В спальне чуть светлеет — уходит холодная ночь, сползает ее темное покрывало с кремлевских башен, и выкатывается бледное солнце. С отчаянием Иван вспоминает былые дни, когда тело и дух были несломлены и мчался он на вороном аргамаке наперегонки с женой и ветром на Поклонную гору, чтобы увидеть, как умывают рассветные лучи купола Москвы.

Теперь же под утро являются ему из черноты угла угрюмые опричники. Афонька Вяземский, казненный предатель, новгородский пособник. Басманов-воевода, зарезанный беспутным сыном по приказу Ивана. Сам Федька, удушенный на суку за ненадежность — раз отца смог убить, так и на государя посягнуть сможет... И хоть выделил Иван на помин Федькиной души сто рублей, а вот поди ж ты — скалит, пес такой, белые зубы и вводит в отчаяние. Мишка Черкасский, братец почившей Марии Темрюковны, на кол посаженный, злобно сверкает глазами на смуглом лице... Но этот сам виноват в муке посмертной, не впустил Христа в сердце, дикарем предстал перед Господом. Понуро смотрит на царя Тимошка Багаев, в наказание

утопленный в том же Волхове, куда швырял связанных новгородцев, спустя год. А с ним еще десятки таких же кровопийц...

Ивану удастся повернуться на бок, чтобы не видеть вылезающих из темноты харь. Он машет рукой, сплошь покрытой волдырями и язвами, и кричит:

— Чур! Чур меня! Сгиньте, душегубцы!

Потом ему удастся вздремнуть. Спустя несколько часов он пробуждается посвежевшим и желает принять горячую ванну. Слуги несут царя в мыльню, где с величайшей осторожностью протирают его болячки, тешат его пенопениями, одевают в свежее и возвращают в постель. Ночные кошмары позади. Иван чувствует прилив сил, даже смрад от тела поутих, как ему кажется. Приходит верный Богдан Бельский, скуратовский племянник — единственный человек, кому царь доверяет с тех пор, как пал Малюта при штурме ливонской крепости.

Государь велит подать шахматы. Не таков мастак в них Богдан, каким был Афонька Вяземский или немчура Генка Жаден, но один околел в оковах, другой вовсе сгинул бесследно. Кроме как с Бельским, не с кем Ивану душой отдохнуть за премудрой игрой. Претят ему остальные, да и видит он — тайком носы воротят, гнойного вида и запаха его сторонятся.

— Ну что там кудесники эти, Богдашка? — весело спрашивает царь, расставляя фигуры на полированной ореховой доске. — Они ведь мне мертвому быть напророчили на сегодня. А я вот он, живой и, Бог даст, здоровый скоро стану. Ступай-ка передай

им, чтобы сами готовили шеи — раз проку в их прорицаниях никакого.

Бельский поспешно встает, кланяется и спешит в темницу, где вторую неделю сидят северные волхвы, привезенные в Москву во время приступа болезни царя и нагадавшие ему на сегодняшний день кончину. Разъяренный Иван приказал держать их под замком до назначенного времени, пообещав казнить за лжепророчества.

Похоже, сегодня так тому и быть. Не отвернулся Бог от царя, утешил за долгие ночные страдания, даровал облегчение!

В приподнятом настроении, что случается с ним в последнее время совсем редко, Иван тянется к резной фигурке короля из слоновой кости. С удивлением шевелит пальцами и никак не может дотянуться, ухватить за шишковатую голову, оправленную в серебро. Гневаясь, подается вперед всем телом и грузно падает, опрокидывая черное и белое воинства.

Верный Бельский, возвратясь от волхвов — дерзкие пройдохи оттягивают казнь и выклинивают время до захода солнца, уверяя, что лишь с окончанием дня будет видна их правота, — застает его уткнутым лицом в доску. На миг Богдан застывает в ужасе, затем бросается к телу царя. Тот тянет руку к изголовью кровати — Бельский оборачивается, но ничего, кроме приставленного там царского посоха, не видит. Иван хватает своего любимца и доверенного советника за голову, шепчет в ухо несколько слов, каждое из которых дает с невероятным трудом.

Царская палата наполняется криками и суматохой — кидаются за врачами, духовниками,

поднимают по тревоге кремлевскую стражу, запирают ворота.

Прибежавший митрополит Дионисий торопится исполнить последнюю волю государя — тот возжелал перед смертью принять постриг. Над остывающим телом, от которого отходят растерянные лекари со своими уже бесполезными снадобьями, читают молитвы, наскоро совершают обряд пострижения, облачают в монашеские одеяния и нарекают усопшего Ионой.

Столпившись у смертного одра, испуганно и недоверчиво поглядывают на покойного бояре — а ежели восстанет он, как уже было раз, и уличит их в неверности или неусердной скорби?..

Лишь к исходу следующего дня решаются известить народ, выкрикнув с Красного крыльца слова, в которые трудно поверить: «Государя больше нет с нами!»

Полвека провел на троне Иван Васильевич, первый царь всея Руси.

Тягуче и печально плывет над Москвой колокольный звон на исход души.

У Кремля собирается огромная толпа. Народ волнуется, плачет, скорбит.

На третий день тело государя в монашеской схиме, с крестом на груди и с вложенным в руки царским посохом, усыпанным драгоценными камнями и увенчанным серебристой фигуркой волка, помещают под присмотром Бельского в каменный саркофаг. С громким шорохом задвигается тяжелая плита, на веки вечные. С почестями относят «монаха Иону» в Архангельский собор, где предадут погребению рядом с телом убитого им двумя годами ранее сына Ивана.

Россию ожидают новые времена, которые назовут Смутными.

И как знать, какую роль в них сыграет монах Чудова монастыря брат Григорий, молчаливо стоящий во время похорон государя в толпе возле собора.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая. «Царские пироги»	7
Глава вторая. Охота	15
Глава третья. «Гойда!»	46
Глава четвертая. Бунт.	62
Глава пятая. Монастырь.	89
Глава шестая. Беседа	121
Глава седьмая. Медведь	139
Глава восьмая. Серебро	153

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая. Остаться в живых.	166
Глава вторая. «Мало!».....	177
Глава третья. Лагерь.....	206
Глава четвертая. Штаден.....	216
Глава пятая. Тверь.....	236
Глава шестая. Явление новгородцам.....	249
Глава седьмая. Мастерство.....	277
Глава восьмая. Казни.....	289
Глава девятая. Тайны монахов.....	321
Глава десятая. Изгнание из Пскова.....	332
Глава одиннадцатая. В Москву.....	346
Глава двенадцатая. Четырнадцать лет спустя...	357

www.etnogenez.ru

Литературно-художественное издание

Вадим Чекунов

ТИРАНЫ

Страх

Руководитель проекта Константин Рыков

Редактор Полина Волошина

Корректор Наталья Витько

Выпускающий редактор Дмитрий Гусев

Арт-директор, автор обложки Алексей Гонтов

Вёрстка Эрик Брегис

Аудиоверсия: Андрей Градобоев, Роман Галушкин

Хранители идеи: Елена Кондратьева, Александр Шмелев,

Сергей Пименов

Правовое сопровождение: Юлия Полянцева,

Алексей Наказной-Хоменко

ООО Издательство «Этногенез»

Россия, 127055, г. Москва, Угловой переулок, д. 4

тел. / факс: +7 (495) 660 04 67

www.etnogenez.ru

Подписано в печать 15.04.13 г. Формат 84x108 ^{1/32}
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура CharterC 11 pt
Условных печатных листов — 12

По лицензии ООО Издательство «Этногенез»

ООО Издательство «Этногенез»

Россия, 127055, г. Москва, Угловой переулок, д. 4

тел. / факс: +7 (495) 660 04 67

www.etnogenez.ru

ЗАО «Аргументы и факты»

Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д. 42

тел. / факс: +7 (495) 783 83 55

www.aif.ru



Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая образцовая типография, филиал
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова д. 14